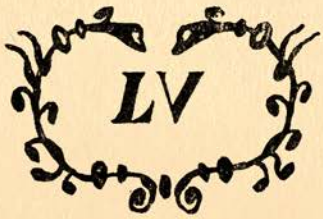
Новый Журнал



THE NEW REVIEW

Нью-Йорк

Statement required by the Act of August 24, 1912, as amended by the Acts of March 3, 1933, and July 2, 1946 (Title 39, United States Code, Section 233) Showing the Ownership, Management, and Circulation of The New Review, Inc. Published Quarterly at New York, N. Y., for October 1, 1957.

1. The names and addresses of the Publisher, Editor, Managing Editor, and Business Managers are:

Publisher, New Review, Inc., 2700 Broadway, New York, N. Y.; Editor, Prof. Michael M. Karpovich, 898 Memorial Dr., Cambridge, Mass.; Managing Editor and Business Manager, Roman B. Goul, 506 West 113th St., New York, N. Y.

2. The owner is: (If owned by a corporation, its name and address must by stated and also immediately thereunder the names and addresses of stockholders owning or holding 1 percent or more of total amount of stock. If not owned by a corporation, the names and addresses of the individual owners must be given. If owned by a partnership or other unincorporated firm, its name and address, as well as that of each individual member, must be given).

New Review, Inc. No stocks. 2700 Broadway, New York 25, N. Y.; President, Michael M. Karpovich, 898 Memorial Drive, Cambridge, Mass.; Secretary, Alexis Goldenweiser, 523 West 112th St., New York 25, N. Y.; Treasurer, David Shub, 920 Riverside Drive, New York 32, N. Y.

3. The known bondholders, mortgagees, and other security holders owning or holding 1 percent or more of total amount of bonds, mortgages, or other securities are: (If there are none so state).—None.

4. Paragraphs 2 and 3 include, in cases where the stockholders or security holder appears upon the books of the company as trustee or in any other fiduciary relation, the name of the person or corporation for whom such trustee is acting; also the statements in the two paragraphs show the affiant's full knowledge and belief as to the circumstances and conditions under which stockholders and security holders who do not appear upon the books of the company as trustees, hold stock and securities in a capacity other than that of a bona fide owner.

5. The average number of copies of each issue of this publication sold or distributed, through the mails or otherwise, to paid subscribers during the 12 months preceding the date shown above was: (This information is required from daily, weekly, semiweekly, and triweekly newspapers only).

Roman Goul, Managing Editor

Sworn to and subscribed before me this 4 day of September, 1958.
Irving Light, Notary Public, State of New York, No. 31-2362800, Qualified in New York County, Com., Expires March 30, 1959.

THE NEW REVIEW
НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Основатели
М. АЛДАНОВ и М. ЦЕТЛИН

Семнадцатый год издания

Кн. LV
1958

Редактор М. М. КАРПОВИЧ
Секретарь редакции РОМАН ГУЛЬ

NEW REVIEW, December, 1958
Quarterly, No. 55,
2700 Broadway, New York 25, N. Y.
Subscription Price $7. — for one year
Publisher: New Review, Inc.
Second Class Mail postage paid
at New York, N. Y.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

Бор. Зайцев — Разговор с Зинаидой 5
Н. Берберова — Мыслящий тростник 11
Л. Ржевский — Рябиновые четки 50
Н. Ульянов — Солнца свет 57
Г. Андреев — В дни короткого отпуска 87

СТИХИ:

Георгий Иванов — Посмертный дневник 101
Ирины Одоевцевой (103), *А. Величковского* (49, 56, 129), *Ивана Елагина* (105), *Д. Кленовского* (106), *Вл. Корвин-Пиотровского* (110), *Н. Туроверова* (10).

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

Роман Гуль — Победа Пастернака 111
М. Коряков — Термометр России 130

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

Письма М. Горького к Л. Андрееву 142
А. Седых — Бальмонт 154
Н. Алексеев — В Толстовском доме 160
Вяч. Новиков — Мои адвокатские воспоминания 176

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

Ю. Денике — Политический кризис Франции 201
М. Вишняк — Устои демократии в свете новой французской конституции 219
С. Волин — Смоленские документы 238
Д. Шуб — Бакунин, Нечаев и Ленин 254
Г. Аронсон — Из истории фальсификаций в СССР 270

БИБЛИОГРАФИЯ:

М. Карпович — С. Л. Франк. Этюды о Пушкине. *Н. Ульянов* — С. Н. Плаутин. Слово о полку Игореве. *С. Зеньковский* — **Georg von Rauch. A History of Soviet Russia.** *Роман Гуль* — Александр Галин. Израиль. *Петр Ершов* — **V. Zavalishin. Early Soviet Writers.** *Б. Прянишников* — Н. Хохлов. Право на совесть. *П. Шпилевой* — **Soviet Espionage. By D. Dallin.** *Ю. Трубецкой* — С. Прегель. Встреча. — *Книги для отзыва.* 279

Copyright 1958, by "New Review". All rights reserved.

PRINTED BY RAUSEN BROS., 142 EAST 32ND STREET, NEW YORK 149

РАЗГОВОР С ЗИНАИДОЙ

De profundis clamavi

Ты явилась в наш прочный деревенский дом как вихрь. Просто прискакала на коне — была осень первой войны — примчалась из имения соседа, твоего двоюродного брата. Высокая, тонкая, с довольно широким лицом, несколько сумасшедшими глазами. Говорила без умолку, восторженно целовала мою мать, жену. Все кипело в тебе и бурлило. Трудно было усидеть покойно.

Странное время, грозное время. Оно вспоминается в осенних холодных зорях, в свисте ветра, гуле берез на въезде в усадьбу, в роковых сумерках надвигавшейся ночи Европы.

В тебе всегда была удаль и отчаянность. Сколько сил, сколько жизни! Ты не могла просто разговаривать, ты должна была пылать, и твои зеленоватые, не весьма красивые глаза над широковатыми скулами дико горели, чаще всего восторгом.

Ты, конечно, не могла просто ехать на лошади. Надо мчаться. И кони твои всегда были сумасшедшие. Раз, на заре, вылетая от нас из усадьбы, ты и слетела со своего дамского седла — лошадь шарахнулась от вскочившей собаки. Ты хлопнулась оземь, но ничего, вскочила, догнала и опять поскакала.

Мы и вместе скакали, помнишь, верхом по окрестностям?

— Нет, уж рысцой не могу! Ехать так ехать!

Гонка в красной заре заката, по опушке какой-нибудь Рытовки называлась у нас: бегство Карла Смелого после битвы при Нанси.

— Я и понятия не имею, какой это Карл Смелый, но если вы говорите, что он Смелый, то уж он мне нравится.

В тысяче верст от нас, в стороне кровавого заката шли бои, много погибало смелых. До нас еще не дошло. Судьба только еще подводила нас к театру: участия мы пока не принимали.

Но усидеть долго в тульской глуши ты не могла. Слишком гремело **там.** Мы немного с тобой поскакали по полям и опушкам каширским. Тот же ветер, что гудел в старых березах у въезда в усадьбу, унес тебя в самое пекло: ты пошла на войну, сестрой милосердия.

***

Тебя давно уж нет. Это ничего не значит. Вижу тебя и слышу, и вот говорю с тобой, какою ты была много лет назад, полоумной девченкой в деревне, позже другом на чужбине.

Вот и слушай, что я скажу: прямо передо мной, под Распятием на стене, два маленьких металлических образка: св. Серафим Саровский и Христос Вседержитель — это ты нам оставила, помнишь? — вечную память о себе, о России: в смертный час тебе передал это русский солдат, умиравший у тебя на руках. Знаю руки эти, знаю сердце твое. «Неизвестный солдат» снял нательные образки и тебе передал — как сестре, истинной сестре, и не ошибся. Твои зелено-мокрые глаза смотрели на него. Он не ошибся. Передал кому надо. И на скромных образках тайно запечатлелась кровь мученическая. Чувствую тебя, Россия. Безымянная и безответная Россия.

Слежу твой путь, Зинаида. Вижу тебя в госпитале, такую же бурную, неукротимую, как и на коне, как в беседе.

На улице, под твоими окнами, лежит старенький раненый, генерал. Идет стрельба. Госпиталь обстреливают, лежать генералу и ждать, пока и его добьют? Кто вызовется спасти? Нужны серозеленые сумасшедшие глаза, но вот они есть, они нашлись. Только такая могла выскочить из дверей госпиталя и под огнем домчаться до старичка, дотащить, укрыть, спасти. «Рысцой не могу!» Тут надо вскачь. Святым Георгием отмечена за это твоя грудь.

Во тьме гражданской войны теряю тебя, не вижу и не знаю. По каким степям ты кочевала с лазаретами своими, чьи стоны слышала, кого напутствовала, я не знаю.

— Но что замужем была, в Киеве, знаете? Ах, лучше не вспоминать! Его убили через несколько месяцев.

Это я как раз и знал. Да, ее нет, но как будто слышу ее голос, всё такой же, быстро-восторженный. Это и есть разговор с тенью — в тени этой часть прежней жизни, прежнего очарования. Ты явилась затем не как тень, просто Зинаидой — из Югославии, в Париж двадцатых годов. Так же бросилась к нам на шею и душила в объятиях, такая же полоумная, как прежде. Десять лет закалили тебя. Ты прошла ад войны, революции, междоусобицы, беженства. Не была уже той беззаботной девченкой из барской семьи, какой носилась со мной верхом по полям тульско-каширским. Руки твои загрубели, руками этими ты теперь умела делать шляпы, разрисовывать платочки, шить, убирать, стряпать.

Всё это ты сама знаешь. Но мне хочется вслух вспомнить, я и обращаюсь к тебе.

Но вот этого, может, не знала тогда: в тебе сидел уже тонкий яд — злой яд болезни, возбуждавший и отравлявший, зажигавший и подтачивавший: легкий кашель, смех, румянец, острота и упадок.

Ты и по Парижу металась как раньше по полям российским. Полюбила ли кого по-настоящему? Полковника давно уже не было. Ты вышла здесь в Париже замуж за знакомого своего по Загребу, — из «стрелков императорской фамилии». Хороший человек, простой и немудрящий, слабый. Как и император и все в полку его, носил небольшую бородку. Но теперь заведывал гаражем. Русские шоферы ставили туда свои машины. Был среди них и командовавший армией Западного фронта.

***

Хорошо ли ты жила здесь со своим стрелком? Не знаю. Думаю, так себе. Не знаю подлинных твоих романов и влюбленностей, но думаю, что всего этого было немало. Ну, да чертá вечности отделила уже от всего «такого».

Стрелкá, впрочем, иногда дико ревновала и вскипала на него. Выкидывала штуки, вполне на тебя похожие: поссорив-

шись, могла уйти утром на целый день, заперев в шкафу его ботинки: пусть посидит дома! И стрелок со своей императорской бородкой так и просидел весь день дома, в бессильной ярости (глупость и пустяк, вспомнившиеся из твоей бурной жизни).

Здесь, в Париже, как и на полях сражений, как и в лазаретах, ты вечно кому-то помогала, бегала, поддерживала, горячилась. Но и на шляпы, над которыми корпела, и на выяснение отношений, и на любовь, и на сцены, нужны силы. Ты сильно кашляла. Замечала ли сама? Не знаю. В таких случаях, как у тебя, больные склонны к оптимизму. Но худела, и твои зеленоватые глаза ярче и болезненней горели. Ты попрежнему душила в объятьях друзей, которых знала еще по России, молодости. Но твоя молодость явно уходила.

И из тесной квартирки с незаконченными шляпами, манекеном в углу, разбросанными лоскутами материй, тусклым воздухом, где ты кашляла, сгибаясь над работой, в некий час тебя услали в санаторию, далеко, на границу Италии.

Стрелок остался один. Ты сидела в горах — вот след жизни той, снимок: с приятельницей санаторской, на утесе, те же восторженные глаза, длинные ноги, широкие скулы, сзади ели, кругом дикие горы. Это всё так твое! Так тебе подходит. Может быть, ты сейчас полезешь на отвесный утес, поросший лесом, может быть прыгнешь вниз — так, из молодечества, чтоб что-то доказать кому-то. Бог тебя знает. Вероятнее всего выкинешь что-нибудь неподходящее.

Но в твоей судьбе, как в твоих глазах, длинных ногах, быстрых движениях было всегда что-то неподходящее. Ты отмечена была странным, диким полетом и бескрайностью России.

А стрелок жил один. В одиночестве постреливал, как будто благодушно и невинно. Ходил, конечно, и в гараж, но чаще выпивал. Играл по вечерам в карты, дам угощал. Попал в круг знакомств двусмысленных. Денежки, денежки, на всё нужны денежки. Понемногу слабел, распускался — и опускался.

Иногда приезжала и ты в Париж, но редко, ненадолго. Замечала ли что? Наверно. Но не говорила ничего, даже близким.

Туча не заходила, черно-зеленая. Пока ты кашляла, дышала горным воздухом рядом с Италией, туча росла, надвигалась. Наконец, и надвинулась.

***

Она съела всю твою, еще молодую всё-таки, жизнь без остатка. Однажды некая молния, озарение, пронзили тебя там, в горном убежище, ты стремглав вылетела и внеслась к нам — не на коне, как прежде, но такой же пулей. В нашей квартирке в полу-бреду и жару ты лежала, а стрелка́ уже не было: денежки, денежки, водочка, кабачки. Своих не хватало, стал тратить чужие. Не много-то и растратил. Но вернуть уж не мог. И позора не пережил. Газ отвел от него позор, перевел в вечность. В газе этом заснул стрелок с императорской бородкой.

Это вот ты и почувствовала в своем Бриансоне. К кому ехать в Париж? Ни отца у тебя не было, ни матери, ни сестры. Как к матери ты прижималась к моей жене, меня обняв рыдала. Но вокруг тебя была любовь, не только наша. Приходили, тоже обнимали, целовали, утешали. Более женщины: женские сердца обширней.

Страшна́ жизнь. Твой стрелок незамеченный пролежал три недели, никто к нему не заглянул. Только когда на лестнице запахло газом, догадались. Как не взлетел на воздух дом? Всё-таки взрыва не было. То, что осталось от стрелка, упокоилось в земле латинской.

Ты уехала назад, в горы. Случай с мужем твоим — таких сотни в Париже, Франции, мире. Поплакали, успокоились. Ты жила там одна, опять. Одна, средь полуобреченных и чужих, среди утесов, диких гор, диких елей по склонам, дыша тем воздухом, какого мы тут и не знаем. Может быть, вновь взбиралась со случайной подругой на кручу, как тогда, и сидела, плакала или хохотала, и писала нам восторженно-отчаянные письма.

Смотрю вновь на образки, завещанные тебе солдатом. И опять ты, Россия, солдат, всё сливается в одно: в стон, в молитву о всех страждущих — вот как ты, умиравшая в этом Бриансоне в одиночестве. Из одиночества этого, «из глубины воззвах», написавшая нам. «Вы моя родина, вы для меня Россия, и отец, и мать. У меня больше никого нет».

Но мы были за тысячу верст, когда в некий день хлынула наконец у тебя из горла кровь фонтаном, с тою бурностью и стремительностью, как всегда всё было в твоей жизни. Не остановишь, нет, не остановишь.

Скромная твоя подруга, подлечившись там и возвратившись оттуда, принесла мне эту о тебе весть. Я ее принял. Я знаю, что ты лежишь одна в Бриансоне, в горной земле, но забыть нам тебя нельзя. Да, всегда ты с нами. По словам Апостола: «Поглощена смерть победою».

Бор. Зайцев

***

Милый мальчик с грустными глазами,
Милый пальчик ангельской руки, —
Никого знакомых между нами
Нет, напоминающих таких.
И хмельней вина моя отрада,
Знать, и негодуя и любя,
Что, когда мне жить не станет надо,
Жизнь едва начнется для тебя.

Н. Туроверов

МЫСЛЯЩИЙ ТРОСТНИК

1

В жизни каждого человека бывают мгновения, когда внезапно и без всякой видимой причины захлопнувшаяся было дверь вдруг снова приоткрывается, решетчатое окошко, только что опущенное, приподнимается, резкое, как будто бы окончательное «нет» превращается в «может быть», и в эту секунду мир вокруг нас преображается и мы сами, как новой кровью, наполняемся надеждами. Дана отсрочка чему-то неотвратимому, окончательному; приговор судьи, доктора, консула отодвинут. Чей-то голос объявляет нам, что не всё потеряно. И на дрожащих ногах, и со слезами благодарности мы переходим в следующее помещение, где нас просят «немного обождать» прежде чем столкнуть в пропасть.

Так было и со мной в тот вечер, когда я стояла рядом с Эйнаром в хвосте перед посадкой пассажиров, увозимых автобусом на аэродром Бурже для полета в Стокгольм. Он уезжал, я оставалась. В толпе, на темном парижском перекрестке (было 2-ое сентября 1939 года), в девять часов вечера, кроме меня, провожающих не было — им всем велели остаться в зале, уже завешенном черными шторами. Там были прощания, объятия, даже слезы, и, как полагается, отцепление детских рук от чьих-то рукавов и карманов. Я вышла с Эйнаром, почти машинально, через вертящуюся дверь. В одной руке он держал толстый портфель, в другой — кожаный несессер. Через его правую руку было перекинуто пальто. Моя рука держала его пальцы под этим пальто, и я касалась холодного замка несессера. Время от времени Эйнар взгля-

дывал на меня. Лицо его в полумраке казалось чужим, усталым, расстроенным, пропали твердые очертания скул и подбородка, которые я так любила; в глазах было беспокойство и рот был полуоткрыт. «Он некрасивый», — подумала я и почувствовала, что слезы сейчас брызнут у меня из глаз, и не будет голоса ему сказать: «Я не знала, что ты такой некрасивый». С билетом и документом в руках пассажиры поднимались в автобус. Эйнар перебросил пальто на левую руку, я сняла свою, подхватив несессер. Он протянул документы.

— А вы? — Я молчала, я боялась своего голоса; каждому было ясно, при взгляде на меня, что в Стокгольм я не лечу.

— Хотите прокатиться в Буржэ? — спросил меня служащий в форме.

— Я...

— Полезайте, не задерживайте других.

Этим словам я и сейчас не верю. Возможно ли, что такое действительно произошло? Почему именно на мою долю выпало это? Я ни о чем не просила, да и разве кому-нибудь могла придти в голову мысль просить чиновника о чем-либо подобном? Я вскарабкалась по ступенькам, мы молча (Эйнар впереди, я — за ним) прошли к последним местам и сели. Он обнял меня за плечи, и я замерла у его плеча, у его груди, которая была такая широкая и спокойная, и где билось сердце Эйнара, которое я слушала все мои последние бессонные ночи.

Автобус медленно наполнился; в окно было видно, как сновали носильщики, грузя чемоданы на крышу. Над нашими головами гремели шаги, кто-то темный подбежал к одному из окон, спросил что-то, и из автобуса ему ответил голос по-шведски. Шофер в белой фуражке прошел по проходу и по пальцам пересчитал сидящих, пропустив меня. Включили мотор, захлопнулась дверь. Несколько человек выбежали из зала и замахали платками, и мы медленно двинулись. Я еще теснее прижалась к Эйнару. «Ты сейчас некрасивый», — наконец выговорила я, и вдруг мне захотелось смеяться. Он вероятно подумал, что я плачу, и пальцем провел по моим векам. Я

схватила его руку и прижала к губам его ладонь. Эти минуты были мне подарены! была пожалована отсрочка! Один час всего, но как в те мгновения это показалось много.

Темный Париж, мертвый Париж, но не черный в ту ночь, а какой-то темно-зеленый, весь город, и небо над ним, и река, и то что было внутри автобуса — всё было темно-зеленым, бутылочного цвета: наши лица, и лица других пассажиров, и здание Большого Дворца, мимо которого мы прогремели, были окрашены одной краской, толстое темное стекло заключило нас в себе, его и меня, и город вместе. Эти улицы, которые мы оба так хорошо знали и которые теперь бежали мимо нас, принадлежали к странному темно-зеленому миру, в котором и Эйнар, и я были вместе; и тут выяснилось, что о многом мы еще не сказали друг другу ничего в спешке последних дней, особенно же этого последнего дня; мы столь многого не договорили, и нашего с ним общего, и мирового, связанного с войной и будущим — опять же мировым и нашим, и вообще мы как будто еще и не начали ничего, мне показалось, что у нас с ним вовсе нет и не было никакого прошлого, а о будущем и говорить нечего — призрак впереди, призрак позади, мы оба — призраки, и всё вокруг — призрачно, и только всего и есть реального, что эта сила, которая разъединяет нас: сейчас ты здесь, со мной, сейчас мы вместе, а через час — тебя здесь нет, и ты один, и я одна, и ничего вообще нет, что соединяло нас, кроме разве что мысли — твоей обо мне, моей — о тебе.

— Ты и Париж, — говорил Эйнар, но что именно он говорил, я не слушала. — Обещай мне... — О чем он? Он знает, что я обещаю ему всё, о чем он ни попросит. Может быть и мне сказать: обещай мне. Еще есть время. Потом.

— Париж, и ты, и всё что было, — и опять он говорил что-то, чего я не могла воспринять разумом, зная, что, собственно, надо бы сделать усилие, что другого случая не будет — завтра не будет, и послезавтра не будет, и через год, может быть, тоже. Дальше я не умела заглянуть. Бутылка темно-зеленого цвета и толстого стекла, в которую я попала (и из

которой он сейчас выйдет), долго не разобьется, настанут осенние и зимние дни, черные военные ночи, когда я буду одна.

— ...и в постоянной опасности, — говорил Эйнар, словно, как всегда, читая мои мысли, — с постоянной нехваткой самого необходимого; обещай мне...

И я, всё держа его руку у своих губ, шептала: ну, конечно.

Я помню раньше, много лет тому назад, я смотрела на Париж как бы отстранясь от него, с чувством отрешенности, холодка, с мыслью: «сколько здесь истории!» или «сколько здесь красоты!» или даже: «сколько здесь природы!» (неба, птиц, цветов). Или: сколько здесь памятников и книг, могил и мраморных досок: «здесь жил такой-то». Но сейчас я смотрела на плывущие на меня деревья набережной и думала: «сколько здесь страдания было, есть и будет, и не только страдания вообще, но русского страдания, в общем русле которого и я нахожусь сейчас: от страданий Тургенева в квартире на улице Дуэ, и страданий Достоевского в гостинице на бульваре Сен-Мишель, через страдания давно забытого автора строк про реку, которая образовала свой самый выпуклый изгиб, и который покончил с собой здесь, еще до «той» войны (могилу его я видела однажды, камень стоит прочно, но куст диких роз совершенно завил его), через страдание одного заблудившегося в европейских столицах художника (помнит ли кто-нибудь еще его имя?), который приехал и остался здесь, и говорил: проклинаю, но остаюсь, — пока не проглотил какие-то порошки и его, как это иногда бывает, не откачали, — вплоть до моего самого маленького и самого большого страдания сейчас, когда мы поднимаемся к Опере.

— А ведь тут подъем, ты чувствуешь? — сказал Эйнар. — Я никогда не замечал, что тут подъем, а уж как эти места знаю!

Всё было мертво. А еще вчера вечером всё здесь гремело и сияло в огнях и темно-зеленый мрак был новостью для этих

улиц, и зданий, и неба, и мостовой, которые столько лет для меня были цвета сирени и мальвы.

— Всё другое сегодня, — сказал он опять, совсем тихо, — смотрю на тебя и смотрю в окно, и не верю, понимаешь, не верю, что всему этому наступает конец.

Он посмотрел мне в глаза и улыбаясь спросил:

— А какое об этом есть стихотворение?

Это он смеялся надо мной: он говорил, что по-русски непременно на все случаи жизни имеется стихотворение.

— Одно уже было, — сказала я, — с тех пор, как мы отъехали. Но я тебе его не скажу.

— Нет, ты мне его скажешь!

— Это когда я сказала тебе, что я и не знала, какой ты некрасивый.

Мы замолчали. И Северный вокзал, темно-зеленый в темной зелени бульвара, остался позади.

— Когда ты приедешь в Стокгольм, — это была одна из его сказок, которые он мне иногда рассказывал. Другая была: когда мы поедем с тобой в Бразилию. И третья: когда мы вернемся в Россию. Русского языка он не знал, никогда в России не был, был коренным шведом, но отец его в молодости живал в Петербурге, говорил по-русски, и теперь, вдовый, жил в своем доме с русской нянюшкой, каким-то не совсем понятным мне образом попавшей к ним в семью, с иконами и самоваром. На фотографии, которую я хорошо знала, он сидел, парализованный, в кресле, худой, длинный, его можно было принять за короля Густава, а рядом, чуть отступя, в платке и расшитом переднике, стояла грузная телом, но со сморщенным маленьким лицом нянюшка, подперев подбородок ладонью и опершись плечом о дверной косяк.

— Когда ты приедешь в Стокгольм, — говорил Эйнар, и пойдешь гулять в королевский парк, ты увидишь в одном из окон дворца, левом верхнем, как кто-то как будто дири-жирует одной рукой — это наш король вышивает крестиком.

— А когда мы поедем в Бразилию?

— Когда мы поедем в Бразилию, там необходимо будет осведомиться, существуют ли еще бриллнантовые россыпи, которыми владел отец моей матери. Одно время они приносили много денег, потом приносить перестали, а теперь они вообще, видимо, заросли бурьяном, давно ничего о них никто не слыхал.

— Ты уверен, что это в Бразилии, а не в Родезии?

— Так мне рассказывал брат.

— А когда мы вернемся в Россию?

— В Россию необходимо поехать из-за няни. Она из села Курганы, Лукинской волости, Весьегонского уезда. Ее надо туда доставить, она очень скучает иногда.

— Теперь волостей нет.

— Весьегонского уезда, Тверской губернии.

— И уездов нет, ты ей скажи.

— А что же есть?

— Районы, области, республики.

— Хорошо, я ей скажу.

А широкая прямая дорога, вынеся нас из города, бежала под нашими колесами, и время тоже бежало, навстречу и мимо.

Северо-восток. Почему то мне давно уже кажется, что северо-восток несчастное, грозное, зловещее направление. Пора доискаться, откуда это ко мне пришло. Аэроплан летит на северо-восток и не возвращается. Нет вестей с северо-востока. Враги приходят с северо-востока. Кто-то ушел на северо-восток и больше его никогда не видели. Довольно! Останови мою мысль, пожалуйста, я не могу сама этого сделать. Поговорим о Бразилии, о Родезии. Или поговорим о войне.

— Она началась сегодня утром.

— Неужели только сегодня утром? Мне кажется это длится уже так давно.

Две его руки, две мои, и все четыре крепко держатся друг за друга. Всё равно не поможет. Пока мы качаемся в этом автобусе, — да, а потом — нет. Осталось еще двадцать минут, может быть восемнадцать.

Рекруты толпой шли в полной тьме и мы обогнали их, тяжело качнувшись на сторону, так тяжело, что я всем телом легла на Эйнара и мы опять взглянули друг на друга.

— Не забудешь меня? — спросил он вдруг.

— Неподходящий вопрос, тебе не подходящий.

— Обещаешь?

— Обещаю. Что еще обещать?

— Всё что хочешь. Я всё возьму.

Он крепко прижал меня к себе. Больше мы не говорили. С автобуса мне сойти не позволили. Я прижала лицо к стеклу, как когда-то писали в романах:

«Графиня полулежала на кушетке, а граф прижимался пылающим лбом к холодному стеклу»...

Синие фонари, точно громадные ночники, горели в темно-зеленой ночи. Не подводное ли это царство? Не затопило ли нас? Эйнар машет мне рукой, поставив несессер на землю, он — последний, все уже вошли в широкие ворота.

— Эйнар! — я бегу к выходу, чтобы выскочить, добежать до этих ворот и крикнуть ему: Эйнар! Прощай! Живи счастливо на твердой суше, мы тонем, Эйнар, мы тонем и утонем, а если и выживем, то всё равно мы будем не те, не такие...

Но дверь автобуса заперта снаружи, они сделали вид, будто меня в нем нет, и никого вокруг. Я сажусь на первое попавшееся сиденье, опять смотрю в окно: никого, ничего. Пока не подходит шофёр, тот самый, который считал пассажиров по пальцам и меня пропустил. Он ничего не говорит, заводит мотор, осторожно поворачивает, делает круг, и мы спокойно, ровно, катим обратно. Я открываю окно, ветер шумит у меня в волосах, темно-зеленая с оливковым оттенком городская даль начинает приближаться. С долгой судорогой в груди брызжут из глаз моих слёзы, но я останавливаю их, я будто сама останавливаюсь вся, и стою, и смотрю на всё, что случилось со мной. Но реальность в прошлом и настоящем вся перекошена, уродливо сплющена, чего-то в этой картине нет,

а чего-то слишком много. Ветер шумит в волосах и вот уже бежит мне навстречу та каланча, а вот и тот перекресток. Скоро опять потекут те же улицы, те же здания, скоро вся эта фантастическая поездка (которой никто не поверит, которой я сама не верю) кончится. Окошко закроется, дверь, прищемив чью-то живую лапу, захлопнется, и потечет жизнь, как темно-зеленая река.

А рекруты толпой в темноте всё идут и идут.

2

Семь долгих лет разлуки. Эйнар прав: у русских, у нас, на все случаи жизни есть стихотворение. С того вечера, когда я вернулась домой в большую, тихую квартиру Дмитрия Георгиевича, где я жила не то в качестве племянницы, не то секретарши, не то жилицы, до того дня, когда я снова увидела Эйнара, прошло семь лет.

Вернувшись домой, я бесшумно прошла по комнатам и постучалась в кабинет Дмитрия Георгиевича. Он сидел под лампой, укутав ноги пледом, в своей старой верблюжьей куртке и маленькой шапочке. Ему тогда было семьдесят девять лет. «Он не похож на Густава шведского, он похож на китайского богдыхана», — подумала я. Он сказал, что ужинал и работал, а теперь читает и ему ничего ненужно, и я прошла к себе и легла не раздеваясь, и пролежала так до утра — без сна, без сил, без слез, только всё думая: как всё было, и как всё будет.

Женившись на сестре моей матери, Дмитрий Георгиевич — еще задолго до моего рождения — заставил всю семью своей жены подтянуться, и когда я появилась на свет, самым страшным грехом в доме считалось ничегонеделанье. Если Дмитрий Георгиевич писал книги, ездил на съезды, читал лекции и имел прямое отношение ко многим академиям мира, то и нам всем тоже следовало делать что-то полезное. Первое мое воспоминание: мне едва исполнилось три года, я стою посреди комнаты с чувством огромной вины, раздавившим меня, а моя мать серьезно спрашивает меня: чем ты занята?

— Ничем.

— Пойди, займись чем-нибудь. Как можно без пользы терять время!

Теперь от всех этих деятельных, сильных, здоровых, не любивших понапрасну терять время людей, остались только мы двое — я и китайский богдыхан, кроткий, тихий, молчаливый, всегда всем довольный, иногда печальный, с двумя парами очков на носу, пледом, шапочкой, весь кругом заставленный книгами, лампами с зелеными козырьками; обложенный бумагами, письмами, переводами своих и чужих сочинений. Вокруг него живут коробочки с использованными марками, с неиспользованными марками, с остатками карандашиков, с кнопками и скрепками; вокруг него лежат подушечки «времен покорения Крыма» (не помню, которого) и записные книжечки с малиновыми закладками, на одной из которых с буквой ять вышито: «книгу бери, на место верни».

В первый год войны, до падения Парижа, от Эйнара приходили письма, и он даже писал, что может быть ему удастся приехать весной по делам «и вот видишь, как всё хорошо получается». Но он не приехал. Весной начались события; попрежнему, и даже больше прежнего, Дмитрий Георгиевич, укрытый пледом, сидел в кресле и читал, по-прежнему говорил тихо и только необходимое; всё чаще дремал или сидел, закрыв глаза, сложив на коленях маленькие сухие руки, пальцы которых, с аккуратно подстриженными ногтями, были искривлены ревматизмом, и эта несимметричность кистей его рук была для него очень характерна.

В день взятия Парижа, в часы, когда немецкая армия проходила его с северо-востока на юго-запад, жизнь у нас в квартире продолжалась — как между прочим продолжалась она и во многих других местах города: кое-какие кинематографы были открыты, и метро не остановилось ни на минуту. Странно было позже себе представлять этот день: вражеская армия берет столицу, а под землей мчатся поезда, в Национальной библиотеке кто-то сидит над эстампами и мы, Дмитрий Георгиевич и я, завтракаем яичницей, салатом и сыром,

заплаканная прислуга ходит из кухни в столовую и обратно; мы оба молчим, но может быть не больше, чем мы молчали вчера или третьего дня. И китайский богдыхан, положив вилку, подходит к окну и смотрит на улицу, на густые деревья бульвара де Курселль, под одним из которых немецкий солдат остановился для естественной надобности.

До этих дней я работала в газете, но теперь я осталась с полными сутками свободного времени на руках. Я не знала, что с собой делать, пока не отпустила прислугу. Тогда хозяйство стало заполнять мой день. Я боялась остаться в пустоте и бралась то стирать, то красить переднюю, то переписывать что-то для Дмитрия Георгиевича, только бы не сидеть сложа руки. Иногда приходили гости: две старушки, когда-то, вероятно, поклонявшиеся Дмитрию Георгиевичу, его дальняя родственница, Елена Викентьевна, тяжело работавшая в мастерской дамских шляп. Она называла Дмитрия Георгиевича «Девятнадцатый век».

— Девятнадцатый век наш здоров?

— Как вы тут с Девятнадцатым веком справляетесь?

— Девятнадцатый век спит, — иногда говорила я, и она уходила, оставив торт.

Четыре года — четыре посещения. Первое: генерал в сопровождении молодого адъютанта, который пришел «поклониться великому человеку» и спросить, не может ли он быть чем-нибудь ему полезен. Дмитрий Георгиевич по своему обыкновению больше молчал; я стояла за дверью и подслушивала. Генерал предлагал выписать нужные книги, прислать ящик продуктов, рекомендовал усовершенствованную грелку для ног. Когда он ушел, почтительно расшаркавшись и попросив автограф, я удивилась тишине, наступившей в квартире. Дмитрий Георгиевич лежал у себя, отвернувшись к стене. Я принялась чистить серебро, и это было как раз то занятие, которое мне было нужно. В окне кухни треугольником, как гуси, летели аэропланы. «А ведь так можно и отупеть, — сказала я себе, — может быть начать перечитывать какие-нибудь хорошие старые книги?» О том, чтобы читать какие-нибудь но-

вые книги, мне не пришло тогда в голову. «Например, «Возвращенный Рай» или «Историю Государства Российского», или «Путешествия Гулливера»?

Второе посещение было во второй год. Утром, часов в одиннадцать, у входной двери раздался долгий, какой-то веселый звонок, будто кто-то наконец добежал до нас. Я никогда до этого не видела доктора Венгланда. Сорок лет, каждый раз как Дмитрий Георгиевич бывал в Берлине, он останавливался у доктора Венгланда, доктор Венгланд мне по имени был знаком с детства. Я помнила по рассказам, что во время «той» войны, доктор Венгланд какой-то тонкой хитростью давал о себе знать Дмитрию Георгиевичу кружным путем через Данию. Доктор Венгланд был неотъемлемой частью жизни нас всех. В последний раз они виделись на каком-то съезде в Гейдельберге, лет десять тому назад («в эпоху электрической разведки нефтяных месторождений», — как сказал бы шведский издатель Дмитрия Георгиевича, Ольнерс). Старый, огромный, радостный, доктор Венгланд ринулся в комнаты и заключил Дмитрия Георгиевича в свои объятия, и вытирая слезы, бегущие из глаз, и громко сморкаясь, пошел в кабинет. Двери закрылись, стало тихо. Я ушла к себе и медленно начала протирать сначала свое зеркало над туалетом, потом окна внутри, а когда и это было сделано, вылезла наружу и вымыла оба окна, стараясь не смотреть вниз. И всё время меня беспокоила вполне законная мысль: а почему бы собственно и не посмотреть вниз (со всеми вытекающими отсюда последствиями), почему, собственно, стоя на карнизе пятого этажа, бояться каких-то там головокружений?

Обедала я в тот день одна. Доктор Венгланд ушел, а Дмитрий Георгиевич сел в гостиной к камину, который никогда не топился, и из которого дуло; гостиной этой никто никогда не пользовался. Дмитрий Георгиевич стал смотреть в этот камин, повернувшись спиной ко всему остальному, словно здесь играл огонь. С этого дня он как-то внезапно потерял интерес к своим бумагам и книгам, и несколько раз я заставала его перед книжным шкапом в прихожей, где на полках было

всё то, что в начале этого столетия было привезено из России. Эти книги давно стояли без всякого употребления.

Третье посещение было совсем коротким: два высоких, стройных красавца с нашивками на рукавах, со значками на груди и железными птичками на фуражках прошли по квартире в быстром и довольно поверхностном обыске, едва заглянули в мою комнату, взяли две папки писем различных ученых друзей к Дмитрию Георгиевичу, отстранили его, (он приходился им по грудь), когда он хотел защитить средний ящик своего письменного стола, который они выдвинули так, что он свис вниз. Быстро перебрав коробочку с мятными лепешками, коробочку со старыми резинками и даже коробочку со стальными перьями всевозможных фасонов, они поблагодарили, коротко извинились, объяснили, что искали оружие, и ушли. И в этот вечер я заметила, что Дмитрий Георгиевич находится в тяжелой тоске, и я посидела с ним до одиннадцати ночи, открыла ему постель, сложила его плед; когда он вернулся из ванной, я увидела, что он, всегда такой аккуратный, на этот раз не запахнул халата, ночная рубашка доходила ему до колен и из-под нее торчали худые, желтые ноги в венах и буграх. Я отвернулась. Не обращая на меня внимания, он лег под одеяло, положил челюсти в чашку с водой и потушил свет. Я вышла на цыпочках.

Стирать я больше не могла — мыла было в обрез; красить стены тоже — слишком дорого стоила краска, все деньги шли на питание; шить мне было нечего, да и ниток не было, когда надо было пришить пуговицу или зашить дырку, я выдергивала нитки из старого, стараясь их не порвать. Мне нечего было делать, мне некуда было девать себя. Электрический свет давали вечером, ночью его выключали, и мы жили в полной тьме. Иногда я зажигала свечу, читала полстраницы «Истории Пугачевского бунта» и откладывала книгу.

В марте 44-го года было четвертое и последнее посещение. Случилось это в семь часов утра. Я вскочила, проснувшись от сильного звонка. Это была французская полиция — двое штатских и двое городовых, таких, какие обычно стоят

на углах улиц и управляют движением или отвечают на вопрос прохожего, как пройти на такую-то улицу. Городовые были самые обыкновенные, краснолицые, плечистые, но в квартирах я их до того никогда не видела, как не видела в квартирах лошадей или овец, которые принадлежат улицам и дорогам, но никак не комнатам. Они попросили разбудить Дмитрия Георгиевича, ждали пока он оденется, и мирно и спокойно, и даже с какой-то терпеливой вежливостью попросили его захватить с собой одеяло. Чемодан, который я наполнила лекарствами, фуфайками и носками они не позволили ему нести, а понесли сами. Он вдруг стал совершенным карликом, весь съежился, спрятал шапочку в карман, надел шляпу, которую я ему подала, и осторожно поцеловал меня в щеку, а потом в руку, и я тоже поцеловала его сначала в бороду, а потом в руку. Полицейские в это время разглядывали потолок.

Через несколько минут (я еще была в передней, не зная, куда мне теперь идти), опять раздался звонок; помню, что я никак не могла повернуть замок, дрожали не только руки, я сама вся дрожала. Наконец, я отперла.

— Господин профессор спрашивает, положили ли вы строфант? — спросил городовой. Я не помнила. Я не могла вспомнить, уложила ли я строфант среди лекарств. Я побежала в кабинет Дмитрия Георгиевича, увидела, что всё содержимое ночного столика вывалено на пол и стала на коленях перебирать коробки и пузырьки. Строфанта не было. Между тем, в эти мгновения мне стало казаться, что строфанта не было и раньше, когда я укладывала чемодан. Я побежала в ванную. Там на полочке, над умывальником, стоял строфант. Но городового больше не было, он видимо не мог так долго ждать. Я побежала на лестницу; один этаж, другой, пятый; повисший между этажами лифт (висел уже много месяцев), наконец — открытая дверь на улицу: «Утро на бульваре де Курселль», картина кисти художника Икс: хвост у молочной, вывеска цветочного магазина, ребенок играет собачьим калом, уехав-

ший автомобиль заворачивает за угол; а пешеходы еще не нарисованы.

Как я узнала позже, его поместили в роскошном номере роскошной гостиницы, реквизированной для крупных ученых, но, видимо, не рассчитали его возраста: в восемьдесят три года трудно менять привычную обстановку, и хотя к нему приставили доктора, но и это не помогло.

За его книгами приехали перевозчики и в один миг смахнули их с полок.

— Вот ордер, — сказал один из них хмуро.

Подошли они и к шкапам в передней.

— Это — мои, — сказала я с истерикой в голосе, удивившей меня самое. — Прошу оставить эти в покое.

Они ушли. В кабинете стало странно пусто. Я туда перестала ходить.

Он умер через две недели, во сне. Когда я позвонила Елене Викентьевне и сказала ей, что случилось, она стала причитать:

— Бедный, бедный Девятнадцатый век!

Тогда же было вскрыто завещание. Ей досталась дача под Версалем, мне — всё остальное. Я стала приводить в порядок его бумаги, сдала гостиную и столовую, стала жить дальше.

Много позже, уже после войны, я узнала, что все три ящика его книг сгорели где-то по недоразумению.

3

Прошло два года после смерти Дмитрия Георгиевича, война кончилась и я начала получать письма из разных стран мира по поводу различных дел, связанных с его работами. Слава его была велика. Калифорния запрашивала о покупке его архива, из Лондона было письмо о переиздании его работ; были письма из Норвегии, Голландии и Канады, и я уже стала привыкать к этим запросам, и так естественно было получить письмо из Стокгольма, но когда пришло письмо со шведской

маркой, на меня нашло какое-то затмение, я сказала себе: это от Эйнара! Наконец-то это от Эйнара! Но письмо было от Ольнерса, шведского издателя; он спрашивал меня, не напишу ли я биографию Дмитрия Георгиевича, или еще лучше — книгу о нем, о моей с ним жизни (Min liv med...) и о его смерти, и не приеду ли я для переговоров в Стокгольм, где, между прочим, лежат в банке авторские Дмитрия Георгиевича, за все сочинения его, изданные и переизданные за последние не то восемь, не то девять лет. Деньги эти переслать нельзя, но их можно получить лично. Я ответила, что как только будет возможно, я приеду.

Два мои письма к Эйнару вернулись за ненахождением адресата. Это показалось мне странным. Больше я не писала ему. Но я думала о нем всё время. Я теперь опять работала в газете, и опять вокруг меня было много людей, друзей — близких, или просто знакомых, начиналась опять прежняя деловая и разнообразная в своей текучести жизнь, прерванная событиями. Я разучилась стирать, шить, гладить и готовить, иногда вздрагивала от телефонного звонка, от прихода почтальона. И с холодным, тяжелым любопытством думала о своей поездке в Стокгольм. Мне казалось, что если он переехал в Бразилию, я там об этом узнаю.

Мне с самых ранних лет юности думалось, что у каждого человека есть свой *no man's land*, в котором он сам себе полный хозяин. Видимая для всех жизнь — одна, другая принадлежит только ему одному, и о ней не знает никто. Это совсем не значит, что, с точки зрения морали, одна — нравственна, а другая — безнравственна, или, с точки зрения полиции, одна — дозволена, а другая — недозволена. Но человек время от времени живет бесконтрольно, в свободе и тайне, один или вдвоем с кем-нибудь, пусть час в день, вечер в неделю или день в месяц, он живет этой своей тайной и свободной жизнью из одного вечера (или дня) в другой, эти часы существуют в продолжении.

Эти часы либо что-то дополняют к его видимой жизни, либо имеют самостоятельное значение; они могут быть радо-

стью или необходимостью, или привычкой, но для выпрямления какой-то «генеральной линии» они необходимы. Если человек не пользуется этим своим правом, или вследствие внешних обстоятельств этого права лишен, он когда-нибудь будет удивлен, узнав, что в жизни не встретил самого себя, и в этой мысли есть что-то меланхолическое. Мне жаль людей, которые бывают одни только у себя в ванной комнате, и больше нигде и никогда.

Инквизиция или тоталитарное государство, к слову сказать, никак не могут допустить этой второй жизни, ускользающей от какого-бы то ни было контроля, и они знают, что делают, когда устраивают жизнь человека таким образом, что всякое одиночество, кроме одиночества ванной комнаты, не допускается. Впрочем, в казармах и тюрьмах часто нет и этого одиночества.

В этом *no man's land*'е, когда человек живет в свободе и тайне, могут происходить странные вещи, могут случаться встречи с другими такими же, как он, или может быть прочтена и особо остро понята какая-нибудь книга, или услышана музыка, тоже не по-обычному, или может прийти в тишине и одиночестве мысль, которая впоследствии изменит жизнь человека, погубит его или спасет. Может быть в этом *no man's land*'е люди плачут, или пьют, или вспоминают что-нибудь, о чем никому неизвестно, или рассматривают свои босые ноги, или стараются на лысой голове найти новое место для пробора, или листают иллюстрированный журнал с изображениями полу-голых красавиц и мускулистых борцов, — я не знаю, да и не хочу знать. В детстве и даже в юности (как вероятно, и в старости) мы не всегда имеем потребность в этой другой жизни. Только не надо думать, что эта другая жизнь, этот *no man's land* есть праздник, а всё остальное будни. Не по этой черте проходит деление, оно проходит по линии абсолютной тайны и абсолютной свободы.

Наша с Эйнаром встреча произошла в *no man's land*'е. Затем случилось то, что иногда бывает: вторая жизнь выросла и начала заслонять первую. Мы были с ним тогда в той стадии

любви, когда мысль о чем-либо другом не допускается. И мы оба знали, что такое абсолютная тайна и абсолютная свобода. В начале наших отношений мы уже говорили об этом, о заповеди: «помни день субботний; шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмый — суббота», — бери его у самого себя для самого себя; и у каждого из нас была эта «суббота» (одна для обоих), которую мы для отличия шутя называли «вторником». «Право на вторник» — было наше тогда выражение. А ведь люди борятся за свой «вторник»! Пусть декретом всем, всем, всем будет дарован «вторник»! И мы смеясь говорили друг другу: ты — мой «вторник», пока не увидели однажды, что вторник становится всей неделей.

Сейчас мой *no man's land* по-прежнему был населен мыслями об Эйнаре. Всё сводилось к трем вопросам: жив ли он? увижу ли я его когда-нибудь? любит ли он меня еще? Я старалась не давать этим мыслям разрушить мою основу — мою работу, мои взаимоотношения с другими людьми, часто не совсем простые, и на эту борьбу уходили все мои душевные силы. А внутри меня, в пределах моей второй жизни, эти часы тревоги, отчаяния и надежд продолжали оставаться моей тайной собственностью. Я была, как всегда в жизни, полной и единоличной хозяйкой моего *no man's land*'а.

Наконец, пошли поезда, открылись границы, установился порядок приездов и отъездов. Через оживавшую, деловитую, чистую Бельгию, через разбитые города Германии — словно посудная лавка после землетрясения были для меня тогда и Кельн, и Дюссельдорф, и Гамбург, — в туманы поздней осени, встретившие меня в Дании, со всей поэзией ночной жизни спального вагона, когда просыпаешься в голубом свете поющего фонарика и под мирное поскрипывание чего-то совсем домашнего или даже детского, будто летишь в бездну — уже не домашнюю и не детскую, а очень даже страшную, которая никогда не забудется и сыграет таинственную и железную роль в твоей судьбе. И вечерний пароход в огнях, отплывший из Копенгагена в Мальме, где я сидела, над стаканом вермута, жуя какие-то солёные печенья, глядя на тёмное

холодное море подо мной, а три датчанина, севшие еще днем во Фленсбурге в мое купэ и принимавшие меня за француженку, говорили мне, что я не могу оценить всей прелести севера, тумана, дождей, и напрасно еду в Стокгольм, где в это время года меня ждет дурная погода, скука и хмурые люди.

В эту последнюю ночь я не сомкнула глаз. Проводник время от времени громко кричал в корридоре: Линчопинг! Норчопинг! Нючопинг! Поезд на минуту останавливался и мчался дальше. В окне мелькали пятна снега под черными елями, деревни и города, где люди крепко спали, под северными звездами, которые сияли и горели во сто раз ярче, чем над Парижем. Начался слабый, северный рассвет, воздух осторожно из черного стал серым; деревянные дома и сараи, крашенные в темно-красную краску, под елками, замелькали огнями, шел дым из труб; и вот в корридоре началось движение, люди вставали, шли умываться, запахло кофеем; румяная женщина, улыбаясь и приседая, принесла мне плетеную плоскую корзинку с завтраком, и когда я открыла ее, в ней, на маленькой сковородке еще шипела глазунья, обложенная копчеными сосисками, которые прыгали, как живые, в кипящем масле.

В утренних сумерках, вдоль улиц, горели фонари, и трамваи, светясь розовыми огнями, шли вверх и вниз по Вазагатан, не переставая звонить. Такси вынес меня на набережную и справа, за мостом, вся суровая, гранитная, строгая красота Стокгольма мелькнула на минуту у меня в глазах. Вода была темно-серая и небо было темно-серое, и ярко одетые дети, идущие в школу, казались нарочно рассыпанными по всему городу, чтобы сделать его веселей, пестрей, не таким серьезным. Мое безумие тех минут доказано тем волнением, которое охватило меня при входе в Гранд-Отель, когда великан в галунах подал мне записку: вчера вам звонили по телефону. Уже через секунду я сказала себе, что никто, кроме Ольнерса, не мог знать, что я приезжаю, что этот укол в сердце был чистейшим сумасшествием, и конечно, так оно и было. Ольнерс

желал мне «вилкоммен» и сообщал, что он в моем распоряжении завтра с одиннадцати часов утра.

Освободилась я только в три часа, после завтрака с Ольнерсом, с тем, чтобы вечером быть у него и познакомиться с его женой и сыновьями. Выйдя из издательства, я свернула на Кунгсгатан, перешла через мост и медленно стала спускаться к Мэлару, где на набережной, в огромных, видимо, не так давно отстроенных домах, занимавших целый квартал, жил Эйнар и где он теперь явно не жил, раз мои письма до него не дошли. Летом, вероятно, здесь, во внутренних дворах, холят и стригут крошечные квадратики яркого газона, сейчас, в тишине и пустынности, здесь не было ничего, дул сильный ветер, набережная была величественна и сурова, на противоположном берегу, в сыром осеннем тумане, горели цепью фонари, впереди, в черноте ноябрьского дня, висел мост, длинные баржи выходили из-под него, уплывая в Балтийское море, и свет, качавшийся на них будто капал в черную воду, капал, и пропадал, и возникал опять в воде, и пахло северным приморским городом, какая-то петербургская ностальгия была разлита в этом ампире родственных нам дворцов, в этом холодном молчании широкого водного пространства, и в благородстве набережной, и в тяжелом небе. Северо-восток. Письма не доходят до северо-востока. Люди не возвращаются с северо-востока. Враги пришли с северо-востока и ушли на северо-восток. И я сама сейчас на северо-востоке. И вся моя воля уходит на то, чтобы не сделать, не ступить какого нибудь окончательно непоправимого шага.

Подъезды А, В, С и так далее. Наконец, я нашла подъезд К. Там, налево от широкого входа, у лифта висела доска и, как это иногда бывает, прежде чем в самом деле прочесть его имя на ней, среди сорока других имен, я уже увидела, что оно там есть. Да, Эйнар жил здесь по-прежнему и квартира его была номер 16; но к его имени на доске было прибавлено «ок фру», что означает «и госпожа», что означает «э мадам», что означает «энд миссисс», что означает «э синьора». И еще это означает «унд фрау». Когда я исчерпала все

языки, какие знала, я должна была сесть на длинную бархатную скамейку, которая стояла здесь для удобства ожидающих лифта, потому что несмотря на современность и так сказать «модерность» постройки этого дома, лифт, как мне показалось, был устройства несколько старомодного: он спускался и поднимался очень медленно, время от времени в нем что-то щелкало и даже вздыхало. Только не надо делать поспешного заключения, что я на нем куда-то поднялась, я просто слышала, сидя на скамейке, как он действовал, когда в нем спускались какие-то три барышни, одинаково одетые, в чудных калошах, которые были так совершенны в калошном смысле, что удивительно, как до сих пор этот предмет не был воспет в поэзии. Поэты, где ваши глаза? Шведские калоши ждут от вас поэмы, так же, как и непромокаемые плащи с удобнейшими капюшонами и прорезиненными чудо-перчатками. Не забудьте за одно и теплые штаны, которые здесь все носят с августа по июнь — они тоже ждут от вас оды.

Когда я вышла из оцепенения и перестала бормотать пошлейшие глупости, я взглянула на часы. Было четверть пятого. На улице теперь было совершенно темно, шел дождь пополам со снегом и мне необходимо было немедленно вернуться к действительности: ехать в Нордиск Компаниэт покупать себе калоши, перчатки, плащ — одним словом, всё, что полагалось. Я это и сделала, взяв такси, и вернувшись домой с покупками я долго лежала в горячей ванне, испытывая странное чувство абсолютной уверенности, что никто не придет, никто не позвонит, что никто никогда не узнает, о чем я сейчас думаю и какие решения принимаю.

В тот вечер я вернулась домой около часу, кроме семьи Ольнерса было еще человек шесть гостей, и, кажется, все пригласили меня к себе, фамилии и адреса были записаны у меня в календарике. Это была гостеприимная Швеция, которая хотела развлекать, кормить, ласкать и одаривать меня.

Однако, никаких решений принимать было не надо. Привыкнув жить в громадном городе, жить — когда того хотелось — совершенно незаметно, я не представляла себе какой

небольшой город Стокгольм, я не могла знать, что в нем всего два или три места, где принято ужинать или бывать вечерами, что если остаться в нем на неделю, то кое-кто из жителей даже может примелькаться, и что здесь часто видишь, как знакомые встречаются на улицах, что бывает в Париже так редко. Свои дела я закончила через неделю, побывав за семь дней, вернее, вечеров, в семи различных домах, на семи различных приемах, на которых, впрочем, встречала всё одних и тех же людей; получила на руки большие (по моим понятиям) деньги и даже получила разрешение на их вывоз. В этот последний вечер я была в опере на «Риголетто » со всей семьей Ольнерса — женой, сыновьями, невестками и внуком — и была вся с ног до головы одета во всё новое, только что купленное: белье, чулки, туфли, платье и даже меховую шубу. После спектакля мы всей гурьбой и довольно шумно прошли в ресторан, тут же в здании Оперы, огромный полутемный и уютный, где среди нарядных и тоже шумных людей нас усадили за длинный стол. Когда все мы расселись и перед тем, как метр д'отель принес карточки, я не только увидела Эйнара совсем близко от себя, но я совершенно естественно встретилась с ним глазами. Он, не спуская глаз с моего лица, начал вставать со стула, медленно, держа в руке салфетку, растянув рот в противоестественную, неприятную улыбку, совершенно для меня новую; потом он уронил салфетку на стул и пошел ко мне, и тут я увидела что он овладел с собой: на слегка постаревшем лице его изобразилось то, что он хотел, что старался изобразить: приятная неожиданность при встрече со старой знакомой. Лицо его стало снова прежним.

Разговор за его столиком замолк и мне в те мгновения показалось, что вокруг меня тоже внезапно воцарилась тишина. В этой тишине я увидела себя со стороны — это бывает со мной очень редко и я не люблю этого, это длится обычно несколько секунд, но ощущение бывает мучительным: вот я сижу в новом платье, моя новая сумка лежит у прибора, черные волосы парикмахер остриг коротко и зачесал назад, открыв лоб и уши, от меня пахнет новыми духами, я их чув-

ствую; моя левая рука лежит на скатерти, правая трогает стакан, я вижу кольцо с топазом. «Сейчас она улыбнется и заговорит», — думаю я о самой себе и стараюсь прекратить это раздвоение. Оно проходит само.

Очень полная, очень крупная дама и человек за столиком Эйнара обернулись на меня. Я увидела ее и еще лучше я разглядела ее, когда мы обе встали и встретившись на полпути между столиками, как то развязно и радостно поздоровались. Начались восклицания: Ольнерс прекрасно знал Эйнара, но давно (т. е. месяца два, кажется) его не видел. После недолгого беспорядка, когда все метались и стулья скользили между столами, столы сдвинули, все разместились, улыбаясь и пожимая друг другу руки; ломаная французская речь полилась вокруг и подняты были рюмки — за меня, за Россию, за Францию, за будущую книгу о Дмитрии Георгиевиче, которого Ольнерс сравнил с Менделеевым в короткой, но очень ловко импровизированной речи.

Жена Эйнара была русая, голубоглазая великанша с круглым кукольным лицом, с круглыми большими щеками, выдававшимися немного вперед, напоминающими толстого ангела или — пожалуй — ангела, дующего в трубу. Соединение Рубенса и Беллини. Она двигалась медленно, как подобает женщине, которая не только больше всех остальных женщин, но и больше многих сидящих вокруг мужчин. Она несколько мгновений рассматривала меня и потом, без малейшей тени смущения, громко сказала:

— Эйнар, почему ты мне сказал, что она похожа на китаянку? В ней вовсе нет ничего китайского!

На следующий день я не уехала, а уехала только через четыре дня. Четыре вечера я приходила к ним, днем мы бродили с Эммой по городу, ездили в Скансен, были на могиле Стриндберга и смотрели на громадный деревянный крест с золотой надписью. Мы даже забрели однажды под вечер в Тиволи, где стреляли в цель, играли на биллиарде и смотрели уродов. Она мне призналась, что оба мои письма она отпра-

вила обратно потому, что не хотела, чтобы Эйнар, который так счастлив с ней и для которого, со времени встречи с ней, прекратились все душевные бури, возобновил со мной переписку. Они оба дружно постарались устроить свою жизнь в мире и любви, «мы принимаем осень и принимаем весну», — выразилась Эмма, — «как всё в природе, и оба любим хорошую погоду и радугу в небе». Они были женаты уже пять лет, и не думайте, сказала она, держа в руке сладкий пирожок, что мы погрязли в нашем разумно устроенном семейном счастье и никогда не вспоминаем о прежних друзьях, у меня у самой в Италии есть очень, очень близкие люди, дорогие люди, друзья моей безгрешной молодости (она не шутила), и все эти годы войны и Эйнар, и я столько беспокоились, столько терзались... особенно эти лишения, и когда бомбардировки... Ведь у нас здесь всё было всегда; конечно, винограда весной не привозили, но разве это важно? Скажите мне, я хочу знать, важно ли для вас, что весной нет винограда?

Вечерами я приходила к ним и мы сидели все вместе — Эмма, Эйнар, доктор Маттис и я, в жарко натопленной комнате, в низких креслах. Говорила больше всех я: об этих годах, о Дмитрии Георгиевиче и холодном камине, перед которым он часто сидел в последнее время, — а тут пылал камин толстыми березовыми поленьями, такими сухими, что они занимались от одной единственной спички, — о четырех посещениях, о сгоревших по недоразумению книгах, о нашем чтении вслух вечерами, при свечах, о том, что не хватало жиров и бывало зимой очень холодно, о важной роли, которую играют шерсть и сало в человеческой жизни. Потом я спохватывалась, мне вдруг казалось, что не надо вдаваться в такие подробности, что лучше рассказать им о докторе Венгланде, и о том разговоре, который был в кабинете Дмитрия Георгиевича при закрытых дверях. Донес он или не донес? — это оставалось для меня загадкой. «Конечно, донес», сказала Эмма твердо. Доктор Маттис сказал: «Может быть, проговорился», а Эйнар молчал и курил. И так я говорила и говорила, а они слушали, и я рассказала про строфант, и сказала, что Дмит-

рий Георгиевич мог бы прожить дольше и, может быть, дожить до конца, если бы я положила тогда строфант в чемодан. «Ни в коем случае!» — сказала Эмма. «Очень сомнительно», — сказал доктор Маттис. Поздно ночью мы ужинали холодными цыплятами и белым вином, и свежей клубникой, которая в это время года была еще бо́льшей редкостью, чем виноград весной. И всё это было возможно тогда потому, что там, у лифта, в первый день стокгольмской жизни, я приняла решение никогда Эйнара больше не видеть.

С Эйнаром за все эти четыре дня она меня вдвоем не оставила и телефонного звонка от него тоже не было, и если я, несмотря на принятое решение, ждала ее разрешения на это, то его не получила. Они все трое пришли провожать меня на вокзал, и мы гуляли с Эммой по перрону, в то время, как доктор Маттис и Эйнар пошли искать по вагонам, не едет ли в этом поезде какой-то Густафсон, который как будто собирался сегодня в Антверпен. Эмма и я ходили по перрону и говорили о том, что через год, может быть, можно будет поехать в Италию, пожить во Флоренции, в Венеции, в крайнем случае — через два года. Она смотрела на меня пристально, будто примериваясь ко мне, будто что-то в уме прикидывая и соображая, и успела мне сказать, что я «ужасно» понравилась ей, что она не ожидала, что я такая милая, веселая и еще какая-то, и я чувствовала, что все происходит и будет происходить в дальнейшем так, как решит она; потом мы смеялись над какой-то ее французской ошибкой и она меня учила, как надо протестовать по-шведски, если ночью проводник опять будет мешать мне спать криками: Линчопинг! Норчопинг! Нючопинг! Густафсона они не нашли, я стала на площадке и пожала руку всем троим, и в последнее мгновение перед отходом поезда вдруг появился посыльный с горшком белой сирени от Ольнерса — белой сиренью в ноябре, что было драгоценнее и земляники, и винограда весной.

Итак, едва знакомая женщина, с лицом херувима, улыбаясь и угощая меня, не дала Эйнару ни минуты остаться наедине со мной, не дала ему позвонить мне (я подозреваю, что все

эти дни он не был у себя в конторе); ничуть не смущаясь, она объявила мне, что она отослала оба мои письма обратно, приглашала меня к себе, уговорила Эйнара и доктора Маттиса приехать на вокзал — и результаты этого отношения были совершенно те же, как если бы она заперла своего Эйнара на ключ, или посадила бы меня в подвал гестапо, или под замок в роскошный номер роскошной гостиницы. В то время, как я бегала по музеям, магазинам, чужим гостиным, я была у нее под стражей; среди всей этой осенней меланхолической красоты черного Мэлара, в огнях несущего петербургскую ностальгию «полу-китаянке, полу-француженке» (так она смеясь называла меня), у меня здесь было не больше *no man's land'a*, чем у Дмитрия Георгиевича, где-нибудь в «Мажестике» или «Бристоле»; только я не умерла, как он, потому что была вдвое моложе и питалась земляникой, осетриной и рябчиками, запивая всё это пуншем.

Но от бессильной злобы теперь, в жарком ночном вагоне, я чувствовала, что перехожу к жестокой обиде на Эйнара за то, что он ничего не сделал, чтобы побыть со мной хотя бы один час где-нибудь, свободно и тайно, чтобы сделать меня опять своим «вторником» на один единственный раз. Разве нужно было что-либо объяснять мне? Разве и так всё не было ясно? Ждал два года, война затянулась, женился, устроил свою жизнь (она вчера сказала: пришлось мне переехать к нему, здесь у нас ни за какие деньги вот уже сколько лет нельзя найти квартиру, вот и живем в тесноте, часть мебели на складе); женился, и теперь, с Эммой вместе, «принимает и осень и весну».

Нет, объяснять ничего не надо было, и вспоминать прошлое не надо было, но может быть можно было побыть вместе? И я представила себе вдруг это «побыть» и поняла, что оно было ему совершенно не нужно. Оно было нужно только мне, чтобы сказать ему: а знаешь, Эйнар-дружок, ты ведь под башмаком у своей Эммы, она и писем-то твоих тебе не передает! И в это время, в бессильном и горьком отчаянии, я

почувствовала, что вся горю от злобы, горя, обиды. А в коридоре кричал проводник, и мы где-то стояли.

И всё-таки я любила его, я только его и любила, и сколько я ни повторяла себе, что он меня совершенно не хочет, я от этого меньше его не любила. Я может быть еще больше любила его после свидания в Стокгольме, вся жизнь была полна моей безнадежной к нему любовью, которая мешала мне устроить собственную судьбу и накладывала на все мои дни и ночи тяжелый груз, от которого я не могла, а может быть и не хотела, отделаться.

4

Вернувшись домой, я сразу окунулась в деловую послевоенную жизнь и почувствовала, что эту жизнь надо разумно построить. Прежде всего, я решила отделаться от старой квартиры на бульваре де Курселль, где вполне естественно было жить Дмитрию Георгиевичу до «той» войны, но где мне жить совершенно не годилось. Я обменяла это огромное, темное, старое, русское жилье на маленькую, светлую квартиру на Левом берегу, и с помощью Елены Викентьевны разобрала старые русские вещи.

Квартира эта была снята еще до «той» войны («в эпоху электрических фильтров и волнового метода», как выражался Ольнерс), и сюда тогда же были перевезены кое-какие вещи из Петербурга женой Дмитрия Георгиевича и моей матерью.

— Всё это — археология! — говорила Елена Викентьевна, продавшая версальскую дачу, открывшая собственную шляпную мастерскую и собиравшаяся замуж. — Тут наслоения целых эпох! русское серебро пудами! картина Коровина с надписью! подарок Чичибабина — мраморный мальчик, вынимающий знаменитую занозу из пятки... У Ипатьева был совсем другой вкус: ведерко для крюшона, выгравированы какие-то даты... Люди, что называется, жили! Бенуа — этюд Фонтенбло, это уже после «той», между «той» и «этой».

— Он бывал у нас. Я его помню.

— Кто тут не бывал! Воображаю!.. Подушка вышитая...

— Это подарок вдовы Мечникова, всего каких-нибудь двадцать лет тому назад. В день его рождения.

— Смотрите: группа! Две дюжины старушек!

— Это «университетские женщины».

— Царица небесная!

До писем и рукописей она не дотрагивалась, она с трепетом смотрела, как я складываю их в ящики, но книги, стоявшие в шкафах, в передней, она помогла мне разобрать. Здесь были многие с надписями, — книги его современников, родившихся, как и он, в 60-ых, а то и в 50-ых годах прошлого века. Многих из тех, что их когда-то писали, я знала, кое-кто умер совсем недавно, кое-кто умер перед самой «этой» войной. Живых уже не было. А. А. Плещеев, позже ослепший, ходивший с белой палкой, в лохмотьях, в детстве видавший Достоевского, на своих «Воспоминаниях» надписал «Солнцу нашей науки!» и поставил длинную кляксу. Елена Викентьевна даже прослезилась: «Я помню, как он ходил по городу, сказала она со вздохом, останавливался на углах и говорил «траверсе муа», и как один раз ему подали милостыню... Солнце нашей науки!»

Всё пошло легко и споро с того дня, как я решила одну из трех комнат будущей квартиры отдать целиком прошлому Дмитрия Георгиевича. Труднее всего было с двумя огромными картинами неизвестных художников: «Прием посетителей губернатором» и «Похороны купца второй гильдии» — их в конце концов забрал старьевщик и их не было жаль, но кое-чего было жаль, и я умолила Елену Викентьевну взять себе и вышитую подушку — копия гладью Сикстинской мадонны — и крюшонный сосуд, и мальчика, вынимающего занозу. Тележка старьевщика стояла внизу, на улице, и на нее «антиквар» (как величал он себя) грузил протертые до основы ковры, просиженные кресла, звенящие люстры, драпировки с кистями, бронзовый письменный прибор, медную посуду, на моей памяти никогда не употреблявшуюся. Потом Елена Викентьевна

на такси увезла две корзины, и уже в сумерках явились перевозчики и повезли ко мне то, что еще могло мне служить в двадцатом веке. На новом месте я вечерами, когда приходила из редакции, убирала и раскладывала по шкапам всё, что должно было позже уйти в Калифорнийский университет. И так как на новом месте не было ни камина, ни настоящей кухонной плиты, то все двадцать два аккуратно перевязанных пакета писем (главным образом — семейных) мне пришлось отвезти однажды вечером к одним друзьям, у которых была в старом доме настоящая печь, и в ней мы долго их жгли, меланхолически помешивая кочергой легкий, тлеющий пепел.

Потом побежала жизнь. И только мой *no man's land* оставался тем же, чем был: мысли об Эйнаре, мысли о далеком прошлом и о совсем недавнем, мысли об Эмме, о Стокгольме, о моем будущем, которое мне казалось невозможным без него и неосуществимым с ним.

Эмма иногда писала мне. Ее письма были смесью французского с немецким и главным образом были связаны с временами года: снегу много, во дворе у нас дети вылепили бабу — какой симпатичный обычай, неправда-ли? Дни становятся длиннее — это нам всем дает энергию и бодрость, зима не вечна, говорим мы себе. Скоро Пасха, желаем вам веселых праздников! Наступают теплые дни и мы едем на месяц в шхеры — чудно будет отдохнуть от суеты города, пожить среди природы, со своими мыслями; иногда полезно бывает глубоко подумать о чем-нибудь, я уверена, что вы тоже любите это. Белые ночи, если бы вы были здесь, напомнили бы вам ваше детство, но к ним вам надо было бы привыкнуть. На некоторых они действуют дурно. Доктор Маттис с нами, мы купаемся и катаемся на лодке и очень приятно проводим время. Эйнар говорит, что ему немножко скучно, но я не верю ему, он выглядит прекрасно и завел большую собаку, датскую, породистую, — не кажется ли вам, что в животных есть что-то облагораживающее? Сегодня затопили, были уже заморозки. В городе туман пятый день, я сижу с насморком дома. В болезни есть то хорошее, что вдруг находится время про-

честь хорошую книжку... Поздравляем с Рождеством! Желаем все трое счастливого Нового Года! Надеемся в новом году увидеться!.. И потом опять: Желаем веселой Пасхи! Думаем ехать летом в Италию. И еще через месяц: решили прожить месяц в Венеции. Берите отпуск, приезжайте к нам. И письмо от начала июля: Мы сняли квартиру около Сан-Заккариа, для вас есть комната.

Я села к столу, взяла лист бумаги, перо, и чувствуя, как лгу каждым словом, написала:

«Дорогие Эмма и Эйнар! Спасибо за приглашение. Рада буду увидеть вас обоих и провести неделю у вас. Взяла отпуск и буду пятнадцатого; кажется, поезд приходит вечером. Если доктор Маттис с вами, передайте ему привет. Ваша...»

Я так и написала «ваша» и сделала это совершенно машинально. Я вообще в те дни старалась не думать: если начну думать, то непременно благоразумно останусь в Париже и потом буду себя казнить. Это судьба ласково опускает мне подножку в своем старинном экипаже и просит меня садиться, а если думать и думать всерьез, то додумаешься до скверного каламбура: судьба просто дает мне подножку, чтобы повалить, положить на обе лопатки, прижать... Я даже говорила себе иногда: не слишком ли я всю жизнь много думала? Другие не думают и живут счастливо. Дай-ка дам себе волю раз в жизни не думать. Примем за чистую монету это приглашение, не будем задумываться, зачем оно, примем Венецию, как принимают подарок — без того, чтобы непременно из коробки конфет или букета цветов выползла змея или вылетела летучая мышь.

У меня о Венеции было единственное детское воспоминание, было это до «той» войны и мне было лет пять. Кстати, это пожалуй единственное воспоминание детства, непосредственно связанное с Дмитрием Георгиевичем. Правда, ребенком я всегда слышала: Дмитрий Георгиевич приехал, Дмитрий Георгиевич работает, Дмитрий Георгиевич ушел по делу, но прямо с ним я никаких отношений не имела. Между

тем в Венеции я помню один вечер. На небольшом балконе, вероятно, не слишком высоко, но мне казалось, что мы сидим на высокой башне, было поставлено два стула. На одном сидела я, на другом — в чесучевом пиджаке и панаме Дмитрий Георгиевич, с толстой книгой в руке. Вероятно, это была гостиница на Лидо, где мы тогда оказались: он, его жена, моя мать и я. Вероятно, это был вечер исключительный, когда меня оставили с ним одну, потому что я не помню, чтобы это когда-нибудь повторилось. Широко открыв рот и вытаращив глаза, я слушала, как он читал мне вслух «Руслана и Людмилу». Вероятно, он решил, что мне пора познакомиться с русской литературой.

— Я прочту вам, то-есть тебе, — так приблизительно начал он свое предисловие, — гениальное произведение гениального русского поэта. У Лукоморья дуб зеленый. Вы, то-есть ты, поймешь когда-нибудь, так сказать, всю силу этого выражения: Лукоморье! Мы сейчас у моря, проводим время, так сказать, летние каникулы, но это еще не есть Лукоморье. Златая цепь на дубе том. Об этом в свое время было много споров, потому что есть две теории откуда, так сказать, могла эта цепь появиться. Друиды, как вы знаете, т. е. знаешь, м-да, жили под дубами. Но тут имеется кот, который с одной стороны — кот народный, древний, о котором много интереснейших фактов сообщил мне в свое время покойный Александр Николаевич, а с другой стороны — кот этот символический. Продолжаем: И днем и ночью кот ученый всё ходит по цепи кругом.

Дальше пошло уже без комментариев, но зато и дошло до меня очень немногое. Ученый кот остался в памяти и вся картина запечатлелась приблизительно таким образом: на высокой башне, у какого-то Лукоморья, сидим мы с Дмитрием Георгиевичем, у меня не закрывается рот и внутри всё пересохло от восторженного удивления и благоговения, так как Дмитрий Георгиевич сообщил мне новость: в Венеции, с древних времен, проживает некий ученый кот. И видимо, этот кот прекрасно известен Дмитрию Георгиевичу.

Кроме этого я о Венеции не помнила ничего, и когда пароходик повез меня от вокзала по Большому Каналу, и слева и справа от меня стало мне открываться почерневшее от времени каменное кружево дворцов, я почувствовала себя заброшенной в иное измерение, где все вдруг стало легким, кружевным, воздушным, где нельзя было (да и не хотелось совсем) мерить жизнь и себя в ней прежними мерками, где всё вдруг стало другим, невозможное — возможным, тяжелое — легким, безнадежное — печальным и радостным вместе. То тут, то там между домами открывались узкие каналы, крошечные над ними мосты, церкви, тающие в сумраке; бледно-розовые, в розовом воздухе, огни неподвижно сияли или будто реяли над водой; какие-то совсем не наши, волшебные, звездно-зеленого цвета огни скрещивались с ними. Чувство странной подводной медлительности наполнило меня всю, чувство особенного, никогда прежде не испытанного замедленного ритма, где слились с движением пароходика мое дыхание, все мои движения, где проплывала мимо нас в грустной созерцательной неподвижности старость и нищета дворцов, смотрящих на воду и на меня в непостижимой прелести и задумчивости.

Когда слева, всё в том же удивительном ритме скрещивающихся огней и теней, открылась широкая набережная с дворцом Дожей, а справа — полная неведомого ночного смысла лагуна, я почувствовала прилив почти нестерпимого счастья при мысли, что через несколько минут увижу Эйнара и он будет со мной в этом колдовском сумеречном мире. Когда пароходик остановился у пристани, меня повлекло к выходу. Мальчик-носильщик одной рукой схватил мой чемодан, а другую положил мне на плечо и повел меня перед собой. Я ступила на землю. Эмма раскрыла широкие объятия, доктор Маттис стоял рядом с ней. «Это — Марио», — сказала она, представляя мне кого-то. Я взглянула, за ее плечом стоял Эйнар. «Ах, как хорошо, что вы приехали! — закричала она. — Ах, как всё будет чудесно! Эйнар, поцелуй же ее, ты же ужасно ей рад! И мы так давно не виделись!»

Он послушно нагнулся и поцеловал меня в щеку. Это

случилось так быстро, что я не успела ни сказать что-нибудь, ни сделать движения в сторону. Доктор Маттис стоял и смотрел на нас обоих. Он показался мне не в духе.

Квартира выходила одной громадной комнатой на тихую площадь с церковью, большая спальня Эммы и Эйнара — в игрушечный сад за домом. Доктор Маттис, прислуга и я помещались в крошечных комнатах по корридору, смотревших во внутренний двор, где журчал маленький фонтан, у которого день и ночь стирала белье какая-то жещина. Из комнаты в комнату вели ступеньки, казалось, что часть квартиры — дом, каменный, старый, а другая часть — только пристройка, прилепившаяся к нему. В большой комнате, где мы ужинали и где долго потом сидели, был тот же спокойный порядок и прочный северный уют уже обжитого места, который Эмма, видимо, всюду возила с собой. Но что было новым, так это присутствие Марио, про которого Эмма сказала мне, что он давний друг ее молодости, что еще до войны она знала его во Флоренции, где она одно время училась живописи; было это до «этой» войны, и теперь он приехал в Венецию, чтобы повидаться и вспомнить прошлое; «У него уже четверо детей, — кричала Эмма, — Марио, покажи ей фотографии!»

Позже Марио ушел и Эйнар (куривший теперь трубку, что позволяло ему говорить всё меньше) очень основательно, как подобает гостеприимному хозяину, стал расспрашивать о моей жизни, о новой квартире, о новых знакомых, о работе. Эмма слушала, во взгляде ее появилась рассеянность. Доктор Маттис, который собирался завтра рано утром уехать в экскурсию, наконец ушел к себе, и скоро после этого я простилась тоже. Оставшись одна в своей комнате, где слышно было журчание фонтана, я зажгла свет, осмотрелась, увидела свои вещи, наполовину опустошенный чемодан, белые стены, половичок на полу, кисею на окне, какие-то милые, чистые предметы на комоде: пепельницу, бутылочку странной формы, пеструю салфетку, стакан радужного стекла. Завтра. Что будет завтра? Я присела на кровать и, еще раз взглянув вокруг, сказала себе, что приехала сюда в надежде остаться, нако-

нец, с Эйнаром наедине, сказать ему, что я писала ему, спросить его, любит ли он меня, заставить его сказать мне, как всё произошло; приехала сказать, что я по-прежнему люблю его, что я больше не могу продолжать так жить, не услышав от него ни слова. Неужели так-таки он смахнул меня, вытолкнул из своей жизни, без единого слова? А теперь? Почему они захотели, чтобы я приехала? Или он всегда хочет того же, что и Эмма?

Был десятый час, когда я проснулась и внимательно прислушалась к непривычным звукам: легкий звон посуды, женское пение, — должно быть прислуга поет, — шаги по коридору вперед, назад; фонтан журчит, ведра гремят; голубь воркует где-то совсем близко. Я вскочила, умылась, оделась и вышла в столовую.

— А я вас поджидаю, — сказал Эйнар из кресла у окна, с английской газетой в руках, — будем пить кофе.

Мы сели друг против друга и шведский завтрак появился на столе, всё, что полагается, без чего Эйнар не мог жить и в Париже. Но подожди, подожди, сказала я себе, вдруг напав на какую-то совершенно новую мысль, разве так уж нужно было броситься тогда вон из Франции, 2-го сентября того страшного года? Разве необходимо было непременно, во что бы то ни стало, кинуться со всех ног домой к отцу (похожему на короля Густава), русской нянюшке, брату, собиравшемуся в Бразилию, в мирную Швецию из загремевшей всеми пушками Европы? Разве никто тогда не остался среди нас из «нейтральных»? Разве был такой закон, что всякий должен водвориться на свое место? Нет, не было, по моему, такого закона, он пришел гораздо позже. Я хорошо помню одного знакомого швейцарца, который никуда не уехал, я встретила его на Рождестве, было это в 39-ом году, а может быть даже в 40-ом. И была семья одного американского адвоката, которая продолжала жить на нашей лестнице, как это раньше не приходило мне в голову. Эта семья жила так до осени 1941 года, когда, наконец, уехала. Много позже на двери были наложены печати.

— Сейчас мы пойдем гулять и я покажу вам все, всё, всё, — говорил Эйнар, — так до вечера и буду вас водить всюду.

— Где Эмма?

— Эмма уехала с доктором Маттисом на Торчелло.

— Уехала! На весь день? Разве она собиралась?

— Она собралась в одну минуту, они и Марио с собой взяли.

Мне показалось, что мне расставлена какая-то ловушка, с самого начала была расставлена, в тот день, когда она писала: мы сняли квартиру, для вас есть комната. Нет, гораздо раньше, когда в Стокгольме, на вокзале, она, кажется, сказала: «И почему бы и вам не приехать на время в Италию, когда мы там будем?»

Мы вышли с Эйнаром и неторопясь пошли по Рива дельи Скиавони к площади. В том напряжении, в котором я жила в тот день, я всё время чувствовала его полное спокойствие, его внутреннюю свободу, уверенность, что всё, что он делает — правильно. Признаюсь, не противясь ему, я сама через час или два стала спокойнее и свободнее. Мы даже несколько раз посмеялись вместе. После завтрака, когда мы сидели у Флориана, он совершенно просто спросил, нет ли русских стихов, в которых бы говорилось про это.

— Про что? — спросила я, и почувствовала внутренний испуг, что будет что-то похожее на объяснение.

— А про Венецию, — сказал он.

— Много есть, очень много, — ответила я, — когда-нибудь, не сейчас, я вам их все скажу.

— Я так и знал, — сказал он очень довольный, улыбаясь счастливо.

Под вечер Эмма вернулась домой одна.

— Мы не ездили на Торчелло, — сказала она равнодушно. — Когда мы пришли на пристань, не было мест и доктору Маттису пришлось ехать одному, а мы с Марио поехали на Лидо, купались там и обедали. И меня ужасно обожгло, — она спустила платье с плеча, предплечье было воспалено.

Эйнар ушел куда-то, а мы с Эммой сели у стола и пили кофе. Она была весела, говорила много, мерила себе температуру (она любила мерить себе температуру ежедневно) и уверяла, что если у нее жар, так это от солнечного ожога. Но жара не было.

На следующее утро Эмма и Марио уехали на Торчелло («я свое всегда доберу», — сказала она), и мы опять остались с Эйнаром одни.

Этот день и три последующих дня я вспоминаю теперь со смешанным чувством: в них было ожидание чего-то, чего я хотела так страстно, ради чего приехала, и какое-то неуютное, почти тревожное предчувствие, что то, чего я так жду, не должно произойти, что я не могу его принять, что в нем есть что-то от милостыни, которую мне кто-то протягивает, в удобную для него минуту, и протягивает не мне одной, но нам с Эйнаром вместе. К этому примешивалось впечатление от всего виденного: пестрой толпы на площади св. Марка, вечного праздника огней и теней; сумерек школы св. Рока; сотен картин, виденных тогда — разверзтых туч с парящим Саваофом, и туфелек Урсулы, и уже хорошо знакомых мне ангелов Беллини, дующих в трубы. Эйнар был со мной, мы бродили в залах Академии, говорили и молчали, поднимались на горбатые мостики, сидели на площадях, иногда безымянных, на ступенях Фрари, опять бродили, и я уже твердо знала теперь, что всё это нужно Эмме, которая всё это устроила: и приезд краснолицего, широкоплечего Марио, и мой приезд.

На пятый день моего пребывания уехал доктор Маттис. У него было недовольное лицо и он стал говорить со всеми нами как-то резко, почти грубо. «У него несчастный роман с англичанкой, — сказала Эмма насмешливо, — она кажется вчера уехала в Рим». Но я не поверила ей. Его отъезд ставил меня в тягостное и одновременно чуть-чуть смешное положение: мне не хотелось оставаться с ними втроем. «Вы не знаете, как мы относимся к вам, — сказала мне Эмма вечером, будто отгадав, что я собираюсь ускорить свой отъезд, — вы стали за эти дни совсем своя, и Эйнару так хорошо с вами. А я просто

ужасно вас люблю». Она любила слово «ужасно», а я совсем не люблю его. Поверила ли я ей? Нет, не поверила ни на минуту, но поверить было бы тяжело, а не поверить еще тяжелее. Мне теперь было ясно: с первой минуты моего приезда она дрессирует меня. Кот ученый жил в Венеции, вспомнилось мне, и мне не захотелось быть похожей на этого ученого кота.

Нельзя позволять ей трогать мою судьбу, давать или не давать мне пропуск в ту или иную часть моей вселенной, устраивать, как ей покажется удобным, мой собственный *no man's land.* Они уходят вечером с Марио в театр Фениче и она небрежно, с напускной рассеянностью говорит, что сегодня будет полная луна и мы могли бы проехаться на Сан Джорджио Маджиоре. Если я послушаюсь ее, то, с ее разрешения, я наверное буду менее несчастна, но я не могу послушаться ее, уж как-нибудь я сама всё решу, и уеду отсюда. Она указывает мне дорогу, но я пройду другим путем. У меня есть мое, тайное и свободное, которым я владею и буду владеть, и там я не допущу ее вмешательства.

Я сижу у Флориана и долго смотрю на гуляющую толпу. Как когда-то, глядя на темный, военный Париж, я думаю: сколько здесь было страданий, мировых и русских страстей; есть тут капля и моего, самого маленького и самого большого страдания. Эйнар подходит к моему столику, у него счастливое лицо, он загорел, похудел и, помолодев, напоминает того, прежнего Эйнара. «Поедемте на Сан Джорджио Маджиоре, — говорит он, — у нас по крайней мере два часа свободы, пока они в театре». Эти слова ударяют меня, мне от них больно, меня от них коробит. «Два часа свободы, — повторяю я. — Свободы для чего?»

Он садится, и прежде, чем заказать что-либо, жадно пьет из моего стакана остатки лимона и льда.

— Очень хочется пить, — говорит он. — Я всё хочу вас спросить, почему вы ни разу не написали мне?

— Как вам сказать, — говорю я, — сама не знаю. Время прошло, всё изменилось. Не легко было писать. Впрочем, я писала вам, но не отсылала писем.

Он смотрит на меня долго, он давно так не смотрел на меня.

— Что вы смотрите так на меня, Эйнар? Вы не знаете, можно или нельзя? Конечно, можно, раз вам позволили.

— Я не понимаю, о чем вы говорите.

Но я не отвечаю и он, вероятно, по моему лицу видит, что я не поеду на Сан Джорджио Маджиоре. Он осторожно берет мою руку и держит ее в своих теплых, больших руках. Где-то играет оркестр, кругом продолжается праздник, здесь ходят люди, которым весело, но мне не весело, и... «ропщет мыслящий тростник».

—Вы знаете, Эйнар, — говорю я, не отнимая у него руки, — у меня в юности было однажды тяжелое разочарование (это я вам рассказываю о русских стихах), когда я узнала, что наш великий поэт Тютчев свою лучшую строку украл у одного француза. Я, собственно, до сих пор от этого не оправилась.

Он смеется, и я смеюсь, и тихонько отнимаю у него свою руку и придвигаюсь ближе к нему:

— Я завтра уеду, Эйнар, — и я смотрю на него внимательно, и близко вижу его глаза, — и я хочу вам сказать на прощанье, что я кое-чему научилась за эти годы. Теперь, когда приоткрывается дверь или приподнимается решетка — слезы благодарности больше не душат меня, нет, не душат! Я не всякой возможностью пользуюсь и не всякому разрешению кланяюсь. После всего, что я видела, мне не хочется быть, даже в самом малом, той серой скотинкой, которую мобилизуют, муштруют, гонят куда-то, кормят пломбирами или морят голодом, наказывают или дают орден за хождение по струнке.

— Вас никто не наказывает и не кормит пломбирами.

— Я хочу сказать вам еще: если кому-нибудь дать разрешение устраивать твой *no man's land*, то в конце концов, логически рассуждая, дойдет до того, что тебя посадят в роскошный номер роскошной гостиницы, и сожгут твои книги, и прогонят от тебя всех, кого ты любишь. Только уступи — и

не будет границы, где остановится, всё будет отнято; где предел, Эйнар? Где тогда будут тайна и свобода? Два городовых (один, между прочим, был чем-то похож на Марио!), следователь и судья — все поселятся на твоем участке.

Теперь он понял, я это вижу по его глазам. Он понял всё, до конца, я слишком хорошо его знаю. Он даже понял, что я писала ему, что я люблю его. И что меня коробит от его спокойной радости, что ему всё позволили. Вот проходит минута, другая, но он не отвечает мне ничего. Но я и не жду ответа: я ни о чем не спросила его.

Мы возвращаемся домой, и я начинаю укладывать свои вещи, а он молча сидит на подоконнике. Я ставлю будильник на половину восьмого, чтобы завтра утром не опоздать на поезд.

Когда они возвращаются из театра, Эмма удивлена:

— Вы дома? Вы никуда не ездили?

— Нет, — говорю я, — это как-то не вышло. Мы посидели у Флориана, а потом я укладывалась.

Мы все четверо идем в столовую и там я замечаю, пока мы закусываем, что Марио и Эмма с плохо скрываемой неприязнью смотрят на меня. Я замечаю тоже, что между ними обоими пробегают какие-то искры. Когда она передает ему стакан, он кладет свою руку на ее пальцы, а Эйнар в это время говорит:

— Они расчистили первый слой, сняли краску, а под ней оказался святой Себастиан... Кто мог предположить такую историю!

«Как только они надоедят друг другу, или жена потребует возвращения Марио, Эмма с наслаждением прогонит меня, — думаю я, и пью свой четвертый стакан. — Этой радости я ей не доставлю».

Я ухожу от них, говоря, что хочу лечь рано. Спасибо за всё. И мы, может быть, когда нибудь еще увидимся в Париже, если они приедут — не в этом году, конечно, и не в будущем, но, может быть, года через два? Эмма обнимает меня, мы звон-

ко целуемся в обе щеки. «Прощайте, Марио, прощайте, Эйнар», — говорю я.

Утром пароходик везет меня на вокзал мимо дворцов, по зеленой воде Большого Канала; я едва поспеваю к поезду, носильщик впихивает меня в вагон. Свойство Венеции: исчезать мгновенно, не бежать за поездом, не кивать то слева, то справа, как делают другие города, которые оставляешь, а куда-то проваливаться в один миг, будто ее нет и никогда не было.

Н. Берберова

***

Пушком тумана абрикосным
Заботливо окружена,
Как за бумагой папиросной,
Плывет бессоннная луна.
Речные тускло светят воды
Огнями темного моста,
На древние свои места —
Созвездья первые выходят.
И чисто в мире и прекрасно,
Но в этом воздухе ночном,
Где солнце только что погасло,
Живет и дышет смерть во всем.

А. Величковский

РЯБИНОВЫЕ ЧЕТКИ

Эту Ульрику, сиротку, воспитанницу нашей хозяйки, мы воспринимали, главным образом, как шум: сосчитать немыслимо, сколько раз на дню оттопатывала она вверх-вниз по нашей скрипучей лестнице кожемитовыми от вечной босоногости пятками. Добро бы только пятками — были у нее еще и пантофли на деревяшке. Обычно они дежурили внизу, в сенях, похожие на маленькие гробики, но по какому-то наитию она иногда вскакивала в них набегу, и тогда — беда! «Ульрика!» — звала внизу хозяйка, портниха, — и с лестницы низвергался грохот, как если бы покатили по ступенькам небольшой бидон с молоком; «Ульрика!» — кричал из спальни хозяин, ночной кондуктор, отсыпавшийся днем, — и она грохотала вверх, таща ему в растопыренных пятернях свежую сорочку. Должно быть, из-за этого грохота мы с женой ощущали и видели Ульрику, начиная именно с ее шумных подростковых ног, нескладно-тонких, словно перевязанных узлами в коленках, с острыми, в синяках, лодыгами, цеплявшими одна за другую на ходу. Оно, если смотреть и выше, не было ничего складного: одни узости и впалости и бледно вытянутое личико с принудительной улыбкой на тонких губах; были, впрочем, густые, словно наклеенные, ресницы над диковато потупленным взглядом и толстые косы, маячившие, когда она бегала.

У Гоголя в «Женитьбе» Кочкарев объясняет кому-то из женихов, чтобы его отвадить, как выстроен дом, идущий в приданое: «стены выведены в один кирпич, а в середине всякая дрянь — мусор, щепки, стружки»... Домишко, в котором мы жили, крайний в деревне, совсем уже на поле, был такой же, примерно, конструкции. Не страдал и не вздрагивал он от лестничного грохота и рева швейной машины на моторном при-

воде — только по воскресеньям. В воскресенье он отдыхал всеми своими тонкими ребрами и черепичным покатом плеч. Пантофли из-под натертой до смертельного блеска лестницы изгонялись в подвал, а сама Ульрика, тощая и чинная, как церковная брошюрка в темной обложке, шла мимо нашего окошка к заутрене: ресницы долу, ниже — квадратик молитвенника, сзади — две вкрутую сплетенных косы и над парадными туфлями — лодыжки, спрятавшие под чулками свою сиротскую колючесть. Следя за их мерно удалявшимся мельканием, мы перекидывались замечаниями насчет Ульрикиной «путевки в жизнь»: по чьему-то завещанию, не то обету, ей, к совершеннолетию, предстояло идти в монастырь.

Но самая восхитительная воскресная тишина начиналась после полудня, когда хозяева, перестав копошиться внизу и выключив радио, уходили в гости. Тогда, если это было лето, мы пережидали полуденный жар в отсыревшей за ночь мансарде, впуская в окошко дальний и ближний пейзаж, мятные запахи пóля, шелест и цимбалы цикад и жаворонков. Дальний пейзаж были горы, дымно-лиловые в фён,[1] и нитка железной дороги, бежавшая вдоль их подножья; ближний — овсы и луг в одуванчиках, желто-горячих в марте и серых в апреле, когда они взрывались летучей щекотной картечью под взмахи альпийского ветра; а совсем уже под окошком — частокол палисадника и на скупом пятачке газона, уцелевшего от напиравших вокруг грядок, рябинка до крыши макушкой, предмет наших неослабных и умилённых наблюдений: вот отцвела, завязалась, вот уж и ягоды, желтые, как янтарь, вот уж и краснеют... Караул, воробьиный налет! — обклюют ведь разбойники! — и мы их гоняли, воробьев, из окна, не столько из любви к насаждениям, сколько, вероятно, из патриотизма: уж больно была рябина свойская, северная...

Проводив хозяев, Ульрика скидывала с себя воскресный наряд и ложилась у этой рябины под нашими окнами в черных трусах и лифчике жариться. Это был ее час, когда солнце

---

[1] Теплый сухой ветер в горной стране.

и неподвижность возмещали ей швырянье вверх-вниз по лестнице, пыльную тряпку либо иголку в руках целый день, случалось и оплеуху. Особенно, правда, хозяйка не лютовала, была даже довольно сердечна, но — со взрывами: с тонкой жилистой шеи съезжал у нее на сторону зоб, страшный, серый, как губка на дереве, и, значит, трудно ей было в случае особенно острых переживаний обуздываться. Впрочем, пощечины были не часты: домишко откликался на них предательски гулко, разоблачающе, — мы знали их все наперечет, до одной, по этому эхо и красным от пальцев следам на щеках Ульрики, стараясь тогда заманить ее к себе, покуда внизу не остынет.

Поджаривалась Ульрика под рябиной часами, узкая, голенастая, похожая на компасную стрелку, вертевшуюся по движению солнца — то пробором и косами к нам, то серыми пятками. А мы шли в лес...

Мы шли с женой в лес и по пути к спасительной тени лениво роняли несколько слов всё о ней же, об Ульрике, о сиротской ее участи и неприглядности.

— Гадкий утенок какой-то, — говорила жена. — Вряд ли выправится, когда подрастет... Как ты думаешь?

— Гм...

Скудость разговорных тем не удивительна для тогдашнего нашего захолустья, нищего впечатлениями. Гораздо удивительнее скудость наблюдений: я уже говорил, что мы почему-то раз навсегда восприняли Ульрику в виде тринадцатилетней нескладности ног, поднимавших нас чуть свет грохотаньем по лестнице. Да, только так — прожив в мансарде три года, мы, странным образом, не заметили вовсе, что ногам стало вот уж и четырнадцать, а там — и пятнадцать, шестнадцать...

А потом случилось как-то... — ничего, в общем, примечательного, но стóит, пожалуй, рассказать. В одно из особенно жарких августовских воскресений мы сидели, как обычно, в мансарде, ожидая, когда свалит зной. Сквозь плотную занавеску окошка бессильно сочилось солнце; в щелку, оставлен-

ную для воздуха, видна была пылающая гроздь нашей рябины на синем слепительном фоне. Бродя из угла в угол по комнате, я заглянул через щелку вниз, на Ульрику, и — пристыл к окну: она не лежала, как обычно, штрихом недвижным и невыразительным, а сидела с поджатыми ногами, вся светясь, как подсолнух, рыже-бронзовой кожей. У склоненного профиля быстро мелькали пальцы: она низала на длинную серую нитку рябиновые ягоды. Ощипанные лапки соцветий с матовыми листиками валялись вокруг; другие, еще нетронутые, лежали перед ней горкой. Красная снизка — рябиновые четки — ползла с ее голой коленки в траву. Всё было так неожиданно ярко и выпукло, так непохоже на Ульрику! О путевке в монастырь эти четки, текущие по круглой коленке, не напоминали нимало. Ни они, ни ноги, блестевшие в зелени, с их чудом вдруг выхолившейся золотистою крутизной, отмытыми до розовости ступнями и смуглыми, вовсе теперь не колючими, лодыжками. По самой злой воле либо слепоте немыслимо было назвать эти ноги нескладными. Да полно, Ульрика ли это? И серьги она соорудила себе из рябиновых ягод, кисточкой; должно быть от них, обращенная в мою сторону щека отливала румянцем и выкруглилась... Кончив нанизывать, она проворно связала концы, откусила зубами у узелка хвостики, вскочила упруго, смахнув на спину косы, и побежала в дом. Я смотрел ей вслед в недоумении, почти в растерянности: ничего от былой угловатости, колючести плеч и движений! Какой ювелир и когда перешлифовал вдруг эту девчонку, сыскал неожиданные пропорции, где подточил, подтенил, где прибавил овала, глазури, свечения... Нет, «недоумение» не то слово: я смотрел на эту убегающую от меня метаморфозу с каким-то еще и другим неотчетливым чувством — когда вдруг заденет тебя и уйдет чья-то теплая, рукой подать, и всё же совсем к тебе не причастная красота; чувство это щемит, его не расскажешь...

Ульрика вернулась через полминуты, таща в руках большой, вполроста, хозяйкин трельяж. Поставила его на траву и села сама по-турецки напротив с болтающимися в ушах ягод-

ками и ожерельем на шее. Села боком, почти спиною ко мне, и в средней зеркальной створке увидел я ее горевшие щеки и— в первый раз, кажется, — широко раскрытые темные глаза, сверкавшие радостным возбуждением. Она долго, перебирая плечами, сдвигала и раздвигала боковые стекла, ловя на всякий манер свое отражение и примеряя убор: серьги то прилипали к розовым мочкам, то мотались под ними свободно; рябиновые четки взвивались над головой, как лассо, ложась то к горлу вплотную, то поближе к плечам, то в один ряд, то ошейником — в несколько. Потом, тонко вытянув шею, она заглянула за частокол на дорогу, мельком — на наше окно, и сняла лифчик; придержав подбородком, завязала бусы на горле крупным узлом и плавным движением рук провела концы вниз. В трельяж посыпались бусинки, повторяясь тем же кармином на острых грудях, как в одной из картин с таитянкой — Гогэна. Она снова задвигала створками, и трельяж весь налился и замелькал смугло-молочным, карминным и розовым, множа всё в стеклах порхающим рикошетом, брызгая в стороны зайчиками и слепя... Неподвижным в этом мелькании оставались только в его сердцевине два горячих румянца и под вскинутыми ресницами восторженные глаза...

— Посмотри сюда! — сказал я жене шопотом, и у нее вмиг поползли кверху брови.

— Это... Ульрика?

— Вот именно, Ульрика. Или целая повесть на тему о том, чего мы не заметили.

— А ведь совсем недурна.... Когда же... Как это я проглядела? (типичное женское «я» а не «мы»: мужчина, мол, здесь не при чем, а самой себе женщина в этих делах никогда не простит недосмотра). — И в какой она радости! Жаль, что мы не можем ей подарить настоящих серег и бус!

Куда уж там «подарить»! В те послевоенные годы жили мы почти на подножном корму, кредитом в двух местных лавчонках: в одной переставали нам улыбаться уже на десяти только марках, в другой становились серьезными после пятнадцати. Не до подарков! Да и самое главное: когда и какие

стекляшки могли бы вызвать этот взрыв красок, солнца и восторженности, полыхавшей сейчас за окном! Он был единствен и неповторим, этот взрыв, в этом был я уверен, — неповторим, как рождение, как запах лопнувшей почки, развертывающейся в листок, а радость принадлежала сюда же. Впрочем повод для нее мог быть и побочный, особенный...

Повод побочный установили мы на другой уже день: повод звался Альбертом и, на мой вкус, был довольно безрадостен — заикающийся ломкий басок и застенчивая косолапость — тоже воспитанник, батрачок. «Mein Gott!» — волновалась хозяйка в устроенном женой интервью. — «Что они станут делать? Как жить? Ей рано, всего шестнадцать... И у нее совсем другая дорога... А я — отвечай?»...

Это утром. А к вечеру, возвращаясь по лесу с грибами, я наткнулся и на иллюстрацию к ее волнениям: они сидели в полуобнимку под елкой, Альберт и Ульрика, неосторожно-бездумно, у самой дороги, похожие на живокартинную пастораль, и я готов был ручаться — в ошеломленной нерешимости коснуться друг друга теснее. Придя же домой, еще в палисаднике, услышал я, что Ульрику послали в соседнюю деревню за вставкой к какому-то платью, не то вышивкой, и что она пропала. Вышивка требовалась срочно, работа стояла, хозяйка кипела — зоб алел и вздувался от бушевавшего внутри негодования...

Я долго решал: не сбегать ли в лес и не предварить ли мне Ульрику, но всё же ждал и выглядывал: вот-вот, может быть, придет и сама. Она и пришла, сумасшедшая, когда уж почти спряталось солнце, и после секундной внизу мертвой паузы — сразу всё взорвалось: был и вопль в голос, и грохот стульев, и целых две пощечины, и жалобный вскрик — я вышел на багровую от исчезавшего солнца лестницу, нарочно топая по площадке сапогами. Внизу стихло. Секунду спустя дверь распахнулась со свистом: Ульрика с малиновыми щеками, разлетающимися косами и рябиновой порванной снизкой в горсти, стремительно, как сквозняк, взлетела ко мне на площадку. Взлетела — и, схватив мою руку, повисла на ней

грудью, задыхаясь. Жест был полуребяческий: вцепилась она, я понимал, не в меня, а в некоторое абстрактное сочувствие, которое на ходу угадала, но в остальном ничего детского не было, — было продолжение вчерашней метаморфозы, таинственного торжества первого цветения. В горячем, искаженном лице, смотревшем мимо, в закат, и мне надолго запомнившемся, ни следа не осталось от прежних бледно-немочных черт. Оно казалось прелестным, несмотря на искаженность, светилось непонятной какой-то силой и радостью, несмотря на мокрые ресницы, а растекшиеся от слез губы были похожи на слово «целу́ю» в конце письма, неосторожно промокнутое промокашкой...

Л. Ржевский

***

На темных, на лиловых сливах
Туман не тронутый рукой:
Так лунный свет лежит на ивах
И на пшенице золотой,
Сияет на речной кольчуге,
На крышах, в сумрачном саду,
На спящем у сарая плуге.
Какой дорогой ни пойду,
Повсюду риза голубая
Волшебно брошена на прах.
И мысль теряется в садах
Несуществующего рая.

А. Величковский

СОЛНЦА СВЕТ

Он очнулся в комнате без окон, с голыми стенами, и ничего еще не соображая, вздрогнул. На него внимательно смотрело человек семь незнакомых людей.

— Как вы себя чувствуете?

Спрашивал полный, с лицом напоминавшим чей-то знаменитый портрет.

— Где я, и что со мной?

— Ничего страшного.

Полный человек сделал движение, означавшее что-то вроде желания успокоить, но бледное лицо его с зелеными глазами вселяло величайшую тревогу.

— Я, кажется, был без сознания?

— Спали или были без сознания — не всё ли равно? Важно, что за это время в вашей судьбе произошло значительное событие. И смею вас уверить, к лучшему.

— Какое событие? Со мной случилось что-нибудь? Я в госпитале?

— Нет вы не в госпитале.

— Но где же? В полиции?

— И не в полиции.

— Тогда я ничего не понимаю.

— Вам это и трудно понять сразу. Лучше будет, если успокоитесь и предоставите всё времени. Не болит ли у вас голова?

Голова болела, но молодой человек, удивленный странностью происшествия, не обращал на это внимания.

— Кто же вы, однако?

— Мы ваши поклонники.

Пройдясь долгим взглядом по лицам сидевших, молодой человек приподнялся в кресле.

— Мне пора домой. Прошу меня выпустить отсюда.

— Вы еще успеете это сделать. Мы хотели бы с вами серьезно поговорить.

— Но кто вы? Я вас не знаю.

— Совершенно напрасно придавать такое значение вопросу: «кто мы?». Узнаете или не узнаете, от этого ничто не изменится.

— Как это понять?

— Очень просто. Вы должны с нами поговорить.

— Вот как! А если у меня нет желания?

— Тогда вам придется посидеть здесь, пока такое желание у вас появится.

Молодой человек снова вздрогнул и забился в угол кресла.

— Понимаю! Вы усыпили меня и привезли сюда, приняв за богатого. Но вы ошиблись — на мне ничего не заработаете. Мне уже четвертый месяц нечем платить за квартиру, а родственников у меня нет ни богатых, ни бедных.

— Успокойтесь, нам денег не надо. Мы их сами готовы вам предложить. Что за квартиру не платите, что у вас нет приличного костюма, чтобы посещать ученые заседания, — это нам известно. Известно также, что вы оказались неблагодарным эмигрантом; вас приютили из милости, а вы вздумали всерьез заниматься наукой и обнаруживать талант больше того, какой полагается иностранцу. Знаем, что доступа в лабораторию вы лишены и вынуждены производить опыты у себя на кухне, пользуясь чайной посудой...

Молодой человек слушал с изумлением.

— Проблема над которой работаете и которую скрываете, как величайшую тайну...

— Откуда вы это знаете?

— Ну, это не так уж трудно. Не мы одни. Военные разведки всех стран знают вас и следят за каждым вашим шагом.

Вы уже мировая знаменитость, хотя соседи по квартире презирают вас, как самого пустого человека.

Зеленые глаза с удовольствием следили за эффектом этих слов, за судорожным подергиванием пальцев, за каплями пота на лбу.

— Чего же вы от меня хотите?

— Мы хотим помочь вам работать над вашим открытием.

— Но разве для этого надо было усыплять меня и затаскивать в этот подвал?

— Да надо. И вы сейчас убедитесь в этом.

Все семеро встали, как по команде. Полный человек жестом пригласил юношу в соседнюю комнату, а оттуда в ярко освещенное помещение, заставленное аппаратами, шкафами со стеклянными и металлическими приборами.

— Не угодно ли обойти и посмотреть?.. Вот хоть бы это...

Его подвели к будке, сделанной из непонятного материала, отливавшего то зеленоватым, то красным цветом. Внутренность ее походила на готовальню или на несессер, переполненный загадочными инструментами, оплетенный паутиной тонких проводов. Присмотревшись, юноша побледнел.

— Но ведь это в точности соответствует моему проекту!

— Вы думаете?.. А что вы скажете про это?

Его подвели к аппарату похожему на клавесин, наполненный лампочками разных цветов и конструкций.

— И это мой!

Сдерживая волнение, он стал нажимать клавиши, проверять винты, заставлять шипеть маленькие механизмы, наподобие карманных часов. От клавесина устремился к другому, стоявшему по соседству прибору. Там опять — крик удивления, и опять — лихорадочный осмотр.

Незнакомцы следили с лукавой усмешкой. Только когда осмотрев половину стоявших в комнате сооружений, он зашатался от слабости, к нему подбежали и усадили на стул.

— Это ужасно! Ужасно! — бормотал он с потерянным видом. — И совсем непостижимо!

Увидев насмешливые лица, он вскочил,

— Позвольте заметить, что у меня есть доказательства! Я могу представить чертежи!..

— Вот видите, — какую бы ошибку вы сделали, уйдя и не посмотрев нашей лаборатории. То ли еще увидите!.. А что до ваших проектов, то почему вы думаете, будто эти аппараты сделаны непременно по ним? Вот ведь русские нынче доказывают, что паровую машину изобрел какой-то барнаулец, а какое до этого дело Уатту?

— Ложь! Я не допускаю такого абсолютного совпадения. Всё, до мельчайших деталей... И ведь приборы эти ни для чего другого, кроме проверки одной специальной гипотезы, не годятся. Не может быть, чтобы она родилась в двух головах сразу и развивалась с полным сходством!..

— И всё-таки, разве это невозможно?

Издевательская нота уколола юношу в самое сердце. Он поник и закрыл лицо ладонями.

— Вспомните, хэ-хэ!.. как многих гениальных изобретателей опережал какой-нибудь немец.

Ему участливо положили руку на плечо, но плечо так страшно задрожало, а из-под ладоней вырвался такой звериный вой, что насмешник отпрянул: Воды! Воды!

Пока истерично бившегося в кресле человека отпаивали и приводили в себя, один из незнакомцев подошел к нему с толстым портфелем.

— Успокойтесь. Мы, кажется, чересчур жестоко пошутили. Мы не ожидали такой... реакции. Никто вашей идеи не украл и никакого соперника у вас нет. Всё, что вы видите, изготовлено по вашим собственным чертежам. Откройте портфель и убедитесь. Там фотографии и подлинники всех ваших проектов. Только, ради Бога не спрашивайте, как они к нам попали. Гораздо важнее, что приборы, на постройку которых у вас не было средств, вы видите здесь готовыми. Располагайте ими. У вас будет столько помощников, сколько потребуется; вам ни в чем не будет отказано, самая жизнь ваша

изменится с этого дня так, как вы и не думали... Выпейте еще воды.

— Да кто же вы, наконец? — простонал молодой человек.

Вместо ответа, его схватили под руки и сорвав с места, почти поволокли в другую комнату. Там висели картины. Среди них несколько Ван Гогов и Фламэнков.

— Видите, как хорошо мы знаем ваш вкус! Всё, что можно найти значительного на рынке, мы скупили. Коллекция и впредь будет пополняться.

Потом втащили в библиотеку, сверкавшую бронзой шкафов, золотом книжных корешков, белизной гипсовых бюстов.

— Ни за что бы отсюда не вышел! — протянул полный господин тоном торговца, расхваливающего свой товар.

Размеры комнаты, в самом деле, хорошо были рассчитаны, мягкий отраженный свет так ласково заливал ее, что трудно было побороть соблазн и не усесться в кресло перед столом.

— А вот здесь можно забыть весь мир!

Его ввели в уютный кабинет — настоящий профессорский парадиз, обставленный с изумительным знанием гелертерских вкусов и эстетики.

Но вот открылась спальня, исполненная, безусловно, по эскизу крупного мастера.

— Вы не находите, что Людовики жили беднее вас?

В глазах у молодого человека покачивались, как на океанском судне, салоны, ковры, кушетки, аквариум с золотыми рыбками, клетка с птицами, медвежьи и тигровые шкуры, люстры. Только, когда вошли в небольшой зал, он встрепенулся, оттолкнул державших его под руки людей и бросился к окну.

— Юг! Юг!.. Как я очутился на юге? Значит я не в Париже?

За окном стоял яркий день, цвели олеандры, глицинии, темнели кипарисы, сверкал кусочек моря. А ему казалось, что ботинки его еще не просохли от февральской снежной каши, по которой он шлепал на площади Пигаль.

— Где же я? Где? Говорите скорей!

Он схватил полного человека за нейлоновую грудь, а другой метил вцепиться в горло. Их бросились разнимать. Юноша отбивался кулаками, локтями, визжал и кусался, пока его, завернутого в какую то портьеру, не отнесли в отдаленный покой, где он понемногу затих и заснул.

***

Пробудился всё в той же комнате без окон. Голова не болела, в теле чувствовалась упругость и бодрость. Но он осунулся и потускнел, как только увидел знакомые штукатурные стены и колющую электрическую лампочку. Еще тоскливее стало, когда подойдя к двери и нажав никелированную ручку, услышал эхо, какое бывает в пустых домах. Точно из глубины пещеры кто-то поведал, что с ним здесь могут сделать всё, что захотят.

Он сам не заметил, как начал ходить кругами по комнате, вступив на древний путь проложенный в клетках зоологических садов и тюрем.

— Я должен всё выяснить!

Стук в дверь казался наиболее верным средством вызвать чьё-нибудь появление. Стучал сначала вежливо, обдумывая фразу, которой встретит своего похитителя. Потом усилил стук, доведя его до грома. Бил кулаками, ногами, обрушивался всем телом, и когда перестал понимать что делал, — в двери неожиданно открылась маленькая форточка. Чьё-то лицо вопросительно уставилось оттуда.

— Я... я... Скажите, как я сюда попал?

— Вам это должно быть ясно.

— Совсем не ясно!.. Совсем не ясно!.. Меня похитили?

— Может быть.

— Но это насилие!

— Конечно насилие.

— И какое вы имели право?..

Лицо опять посмотрело с любопытством.

— Я требую, чтобы меня отпустили домой.

— У вас нет дома. Квартира ваша сдана, а ваш изуродованный труп найден в туннеле метро и похоронен.

Когда форточка захлопнулась, он опять устремился в бешеное турне, стараясь собрать рассыпавшиеся по штукатурным углам мысли.

В неизвестный час принесли обед два молчаливых высоких человека. Он произнес перед ними речь о гнусности их злодеяния, о веке свободы и цивилизации, о законах, защищающих личность. Он грозил судом, и закончил отказом принимать пищу.

Это вышло неожиданно. Он и сам не знал почему объявил голодовку. Но слово это сделало его гордым.

***

Голодать вначале было легко. Из за пережитых волнений аппетит пропал. Но на четвертые сутки тело стало скорбеть о пище, голова отяжелела, стал нападать долгий сон с бредом, со слезами, с жалостью к самому себе.

Раз приснился тропический лес. Над самым лицом качалась лиана. Он ловил ее зубами и, поймав, откусил кусок. Рот наполнился жидкостью непередаваемого вкуса. Откусил еще, и опять тепло и радость по всему телу. — Так — кусок за куском, пока не содрогнулся от непонятного беспокойства и не открыл глаза. Над ним стояли два высоких прислужника и кормили с ложки вкусным сабайоном.

— Что вы делаете! — закричал молодой человек.

Он горько заплакал, но пищи больше не отвергал.

***

— Вот и хорошо! Вот и хорошо! Я рад, что вы отказались от необдуманной борьбы с нами. Зачем вам шуметь и буйствовать? Вы не должны думать, что вас отпустят по первому

стуку в дверь. Ведь мы годами готовились к тому, чтобы... переселить вас сюда. Какие безумные деньги на это потрачены! Но вы и не должны никуда стремиться. Ваше место здесь. Мы ведь спасли вас от верной гибели. Вас бы похитила чья нибудь разведка или убила. Это вернее всего. Работая над открытием, способным изменить судьбу мира, вы не могли не стать чьей-нибудь жертвой. Мы сумели опередить других, и вы поймете когда-нибудь, что это было для вас счастьем.

Говорил всё тот же, полный, с бледным, как сметана, лицом. Молодой человек давно догадался, кому мог принадлежать этот слегка отвислый подбородок, маленькие, спущенные с висков бачки и выражение «всего хочу, всё могу» на круглом лице.

— Нерон!

Он произнес это имя вслух.

— А, вот вы что! Ну, конечно. Меня все узнают с первого взгляда. Да, дорогой метр, вы находитесь при дворе Нерона. Но не бойтесь, у нас не бросают людей на съедение львам и не устраивают гладиаторских боев. Я Нерон не страшный, всегда готовый к вашим услугам.

Когда он поправился, его привели в гостиную, где было много народа.

— Наш высокочтимый метр! — провозгласил Нерон.

Он представил присутствующих одного за другим: Сульпиций, Валерий, Луций, Папирий, Септимий, Юнний. Женщины тоже были: Кальфурния, Моника, Сабина, Лукреция, Агриппина.

Особо представил двух пожилых людей — «ваших коллег», одного с грязной сединой, другого — совершенно лысого. Они выразили сожаление, что работы свои ему придется производить «конспиративно».

— Но потерпите. Всем нам приходится приносить жертвы. Мы тоже прошли через это. Конечно, ценность наших открытий не идет в сравнение с теми, которых ждут от вас, но и мы были в продолжение года скрыты от внешнего мира. Видно, так надо.

Они много говорили на темы, близкие к его занятиям. Нерон назвал их солидными учеными, работающими в одной из тайных лабораторий, но юноше было ясно, что это — простые агенты, приставленные для наблюдения за ним.

После ученых-тюремщиков представлена была красивая девушка — его секретарша. Он сразу понял ее роль.

— Эвника, — назвал ее Нерон. — Не находите ли, что вам самому, после этого, никакого другого имени не полагается, кроме Петрония?

— У меня есть свое собственное имя.

— Это понятно. Но оно... как бы вам сказать... несозвучно эпохе. Да и лучше будет, если только вы один будете его знать. Для всех других, вы — Петроний.

— Какая гадость! — прошептал юноша.

***

Так началась его жизнь в таинственном доме. Появились проворные слуги, дорогое белье, одежда, яства и вина, о которых раньше он мечтать не смел, круглый стол, заваленный газетами и журналами на всех языках, радио, телевидение, библиотека со специальным подбором книг. В зале вешали экран и показывали занимательные фильмы со слонами, жирафами, с нападениями львов и леопардов. Публики набиралось полно. К нему подходили перед началом сеанса и изысканно вежливо просили позволения присутствовать на представлении. Постоянно раздавались веселые возгласы, кто-нибудь играл на рояле. Но его раздражала эта нарочито безоблачная жизнь. Неприятен был также свет, горевший в лаборатории. Там трудились люди в белых халатах, звеня инструментами, шумя ма-

шинами. Они тщились изобрести что-то без его участия. Игру их он скоро разгадал: у него хотели разжечь желание работать тем же путем условного раздражения, каким у подопытной собаки вызывали выделение слюны.

От всего веяло злым умыслом.

Он усматривал его даже в том, что солнце дальше подоконника в комнаты не заглядывало. Ему говорили, что здешнее солнце опасно, и нельзя испытывать его действие на сетчатке глаз или на коже. Советовали довольствоваться тем обилием света, что проникал из сада. Сад раскинулся роскошной декорацией: посередине пожаром горела плантация тропических цветов, за кущами магнолий синела дымка персидской сирени, свешивались белые колокола агати.

— Неужели мне нельзя будет туда выходить?

— Через некоторое время это будет возможно, но не сейчас. Вы должны с этим примириться. Впрочем, свежего воздуха у вас будет достаточно, а любоваться садом можете из окон.

Окна были широкие с чистыми прозрачными стеклами. Но каждый раз, когда пленник открывал раму, чтобы выглянуть в сад, окно автоматически задвигалось прочной, с затейливыми узорами, решеткой. Она так же легко и неслышно уходила в простенок, как только окно закрывалось.

— Сколько же я здесь пробуду?

— Это в ваших руках. Пока не закончите работы... Но выйдете вы отсюда мировой знаменитостью. Слава у вас не будет отнята.

***

Раз подошел к нему Нерон.

— Дорогой метр, я чувствую, что нам надо объясниться начистоту. Быть может это снимет с вас груз сомнений. Вы, конечно, попрежнему терзаетесь: кто мы такие? Как бы мне хотелось убедить вас в ненужности этого вопроса! Вот я с вами разговариваю по-французски, что вам мешает считать меня французом?

— Но я слышал, как вы и ваши коллеги разговаривали по-английски и по-немецки.

— Мы знаем также по-русски, и, если хотите, введем в обиход этот ваш родной язык.

— По-русски?!.. Я так и думал!.. Значит я в руках ГПУ?

— Ну вот! Я всегда считал вас исключительно прозорливым! Насчет названия вы немного ошиблись; ГПУ давно не существует... Но это мелочь. Допустим, что мы действительно сотрудники советской полиции. Что тогда? Почему это страшнее, чем быть в руках Интеллидженс Сервис или Эф-Би-Ай?

— Да, но вы... большевики.

— Ай, как страшно! — засмеялся Нерон. — Дорогой метр, мы ведь знаем, что вы не в состоянии объяснить разницу между большевиками и радикалами или между большевиками и лейбористами. Политика — не ваше дело.Что вам до того, что мы большевики?

— Но я не хочу, чтобы мое открытие попало в любые руки.

— О, вот это высокое слово! Кому же вы хотели бы вручить его?

— Я еще над этим не думал, но...

— Какое же вы имели право не думать? Начать работать над изобретением, упраздняющим атомную бомбу, дающим власть над миром, и не подумать, кому доверить эту власть?..

— Я, в конце концов, не обязан... С меня хватит, если удачно выполню, что задумал.

— Совершенно верно.От вас и не ждут ничего другого. Но тогда не всё ли вам равно в чьи руки попадет ваше открытие?

— И всё же, мне не хотелось бы...

— Дорогой метр, вы сами не знаете своего величия. В тот день, когда ваша идея будет воплощена, возникнет, впервые за всю историю, абсолютная власть на земле. Вы упразд-

ните рабство, потому что упраздните свободу. Кто бы мы ни были сейчас — после вашего открытия мы перестанем быть большевиками, французами, американцами, мы станем владыками мира.

— Но это может сделать и простая шайка преступников!

— Браво! Мы начинаем понимать друг друга. Отчего бы не быть и шайке преступников? Если все королевские роды в Европе произошли от норманских разбойников, то стоит ли обижать неласковыми словами нынешних гангстеров, которым пришлось бы положить начало династии мировых властителей?

***

Нерон исчерпал все доводы в доказательство бессмысленности его тоски. Но тоска не проходила. Только сад, на который он временами смотрел из окна, рассеивал его немного. В глубине, за темными кипарисами, проползал иногда белый игрушечный пароход, напоминая о воле, о просторе, о возможности идти куда хочешь.

— На острове я или на материке?

Однажды он осмелился спросить, как называется то море, что зеленеет в промежутке между кипарисами? В ответ услышал:

— Адриатическое, Эгейское, либо Черное, а может быть Караибское.

По ночам, когда загорались звезды, он жалел, что ничего не смыслил в астрономии и не мог определить по ним свое местонахождение.

***

— Вам никогда не приходило в голову, что вы ошиблись? — спросил он однажды Нерона.

— Как так?

— Вы ухлопали на меня миллионы, а я сижу и ничего не делаю.

— Это придет... придет...

— А если не придет, что тогда?.. Убьете?

— Что за мысли! Зачем нам это? Мы вернем вас в ваше прежнее ничтожество. Только тогда оцените рай, который мы вам здесь уготовали. Эту лабораторию, что не удостаиваете взглядом, будете вспоминать, как упущенное счастье!

Нерон отошел, довольный смущением и бледностью молодого человека.

***

По радио объявили, что в цюрихском университете производятся опыты искусственного возбуждения той группы клеток головного мозга, на которую он первый обратил внимание.

— Не хотите ли взглянуть на редкий эстамп только что поступивший в вашу коллекцию? — подошел к нему один из сотрудников.

Ответа не последовало. Петроний сидел, как насквозь простреленный, не успевший еще упасть. От обеда он отказался. Вместо столовой отправился в кабинет и просидел над чертежами весь остаток дня и всю ночь. К утру его увидели в лаборатории склоненным над одним из аппаратов.

С этого дня, механизмы перестали крутиться впустую. Началась работа над величайшим изобретением, когда либо задуманным в мире.

***

Он сразу понял разницу между специально оборудованной лабораторией и нетопленной квартирой нищего изобретателя на рю Эскудье.

Для производства опытов приводили угрюмых, точно приговоренных к казни людей. Он надевал им на головы скафандры, запирал в камеры, сделанные по его чертежам, проверял действие им же самим открытых токов на те части мозга, о которых еще в Париже неосторожно проговорился:

— Кто подберет к ним ключ, тот будет повелевать миром.

Месяца два прошло в упоительном труде. Мысли шли густо, как рыба в камчатских реках. Он сам поражался количеству сделанного: новые лучи, усовершенствованные приборы, прояснение отдельных частей той будущей машины, что призвана подчинить себе все прочие машины земного шара.

Что когда-то предчувствовалось, мелькало неясными намеками, — рождалось, теперь, в цифрах и уравнениях. Не верилось, что привязавшаяся вздорная мысль, почти мечта, начинает воплощаться и становиться реальностью. Теперь ясно, что он ничего не выдумал; всё это существовало от века, никем не замеченное. Видя с какой жадностью и поспешностью фотографировались его чертежи, рисунки, вычисления, пометки, каждое слово занесенное на бумагу, он не испытывал ни подозрительности, ни ревности, он не решался приписывать столь громадное открытие простому серому веществу коры своего головного мозга.

Только один раз ему захотелось победных кликов, похвал, обожания. Это было после семи часов непрерывной лихорадочной работы, когда лист за листом покрывался вычислениями и формулами. Положив перо, он ясно ощутил, что еще три-четыре таких победы за письменным столом, и в мире произойдет непостижимое, о чем сейчас догадаться никто не в силах.

— Знаешь ли, что мною совершено? — спрашивало его лицо, обращенное к единственному свидетелю торжества.

— Знаю, — отвечали печальные глаза.

***

Не подлежало сомнению, что Эвника не простой «стимул к творчеству», как с улыбочкой говорил Нерон, а приставлена к его душе, — доверенный агент, самая сильная фигура в игре Нерона. Но она была единственным человеком не внушавшим страха. Вдыхая запах цветка, Петроний не хотел думать об отраве. Тревога его началась с того дня, когда в ласках девушки он почувствовал бóльшее, чем исполнение обязанностей лю-

бовницы важного пленника. Потом появились эти печаль и бледность.

— Вам меня жалко? — спросил он однажды, когда они сидели в зале.

Не успел он задать вопрос, как из сада потянуло сквозь узорные решетки окон застоявшимся воздухом, точно из подвала. Это было не впервые, продолжалось всегда одну-две минуты, но работа после этого долго не шла ему на ум. Сотрудники в таких случаях уверяли, что ничего не слышат и не чувствуют. На этот раз он решился спросить Эвнику.

— Я теряюсь в догадках. Меня берет тоска и страх. Я хочу знать...

Заглянув в глаза он понял, что ей всё известно, и что в тайне его похищения есть иная тайна.

Еще тягостней было другое событие: среди бела дня наступила непроглядная тьма.

— Что случилось?

— Ничего, — ответили ему спокойно, — а что вы хотите сказать?

— Как что? Почему вдруг темно стало?

— Я вас не понимаю, — ответил тот же голос, — никакой темноты.

— Так значит я ослеп! Я ничего не вижу!

Он протер глаза, вскочил, хотел бежать, но его взяли с обеих сторон под руки.

— Успокойтесь, вы немного переутомлены, всё сейчас пройдет.

Действительно, через несколько мгновений он увидел комнату такой, как она была. За окном сияло солнце, сотрудники занимались прежним делом.

— Что же это такое?

Пришел доктор, и выслав всех вон, попросил разрешения осмотреть его.

— Ничего серьезного, — сказал он, — вам надо отдохнуть.

Ему предложили чаще бывать в картинной галерее, смотреть своих любимых Ван Гогов и Фламэнков, показывали новые фильмы, устроили концерт, в котором выступали превосходные скрипач и пианист.

Но он не чувствовал нездоровья или переутомления, — одно возрастающее беспокойство. Недоброе, подозрительное стало мерещиться в каждом человеке, в каждом предмете.

Эвника сохла, сделалась молчаливой. На нее стали пристально посматривать. Жестоко было выпытывать у нее тайну. Но Петроний не устоял. Вечером, после музыки, стоя в неосвещенном зале и видя, как за окном между кипарисами проплыли огни парохода (долетел шум похожий на победный звук трубы), он схватил девушку за руку:

— Кто бы ты ни была, скажи — где я и что меня ожидает?

Эвника опустилась на софу и спрятала лицо в подушки.

Через несколько дней, в такой же лунный вечер, он с еще большей мольбой повторил вопрос. Это походило на убийство. Видно было, как она побледнела. Опять ничего не сказала, но по тому, как выпрямилась и как онемело ее лицо он понял, что она на что-то решилась. Бесшумно прошла в соседнюю комнату, ощупывая в темноте предметы, оттуда — в другую, потом в третью. Отчаянно замахала руками, когда Петроний, желая помочь ей, хотел зажечь электричество.

После долгих поисков извлекла откуда-то гибкую стальную трость, наподобие автомобильной антенны, и превратила в лук, привязав к обоим концам шнурок от шторы. В кабинете, отломила от этажерки прямую, как стрела палочку. Вернувшись в зал, знаком пригласила Петрония к окну, и просунув в отверстие решетки конец стрелы, спустила тетиву. Лакированная палочка, поблескивая под луной, описала высокую дугу. Видно было, как нырнув в пространство между кипарисами, где фольгой переливалось море, она ударилась в его полоску и отскочила как от твердой поверхности.

Увлекши за собой друга, Эвника стремительно отступила в темноту. Оттуда они увидели, как из-за куста олеандров

появилась голова наблюдателя. Другая выглянула из листвы магнолии.

***

Утром он не нашел Эвники. Секретаршей назначили другую девушку. Она стремилась во всём заменить свою предшественницу, но Петроний не проявил к этому никакой склонности. Он стал плохо есть, просыпался по ночам, лежал с открытыми глазами. Работу свою забросил, и мучился над разгадкой поведения Эвники в их последний вечер.

— Где она? — спросил он Нерона.

— Она... вернется... Ей надо отдохнуть и поправиться. У нее сильно расстроились нервы.

Но юношу иглой пронизывала мысль о более страшной участи. Втихомолку он плакал и жестоко упрекал себя. Разгадать тайну зловещего дома стало отныне долгом ее памяти. Им завладело желание — хоть раз выйти из пышной тюрьмы и пройтись по саду. Припомнилось, что никогда еще у него не было случая рассмотреть его как следует. В кабинете, в библиотеке, в картинной галерее, в любой части дома, где окна не выходили в сад, его покой строго охранялся. Даже в зале и в диванной, когда он сидел вглубине и смотрел на сад издали, ему не мешали. Но стоило приблизиться к окну, как либо Эвника подходила с ласками, либо входил слуга, либо звонил телефон, и от него требовали разъяснений по заготовке материалов для лаборатории.

Новую свою секретаршу и лакеев он заставил без конца открывать и закрывать окна, а сам внимательно следил за движением решетки. После длительных наблюдений стало ясно, что механизм, выдвигавший и задвигавший ее, находится под подоконником с правой стороны. Подходя к окну, он каждый раз случайным движением ноги ударял по этому месту и убеждался, что стена тут пустая.

Несколько дней обдумывал план, подбирал инструменты. Выбрав удачную ночь, ползком пробрался через зал и стал

буравить и взламывать стену под подоконником. Дело было непривычное, требовало бесшумности. Не раз останавливался, затаив дыхание. Проработав целую ночь, он открыл полностью углубление в стене, где помещался механизм. Обломки и мусор, собранные в пакет, были спрятаны под матрасом, выломанное отверстие заклеено припасенным куском обоев, и к этому месту приставлен пузатый пуф.

На другой день, убедившись, что за ним не подсматривают, он открыл заклеенное отверстие, и увидел весь механизм совершенно отчетливо. Среди сцеплений и шарниров, приводивших в движение решетку, не трудно было обнаружить винт, который требовалось удалить, чтобы парализовать машину. Он это сразу сделал и тут же открыл окно.

Колени у него задрожали. В первый раз после долгих месяцев заточения, сад, море и небо, весь огромный мир — придвинулись вплотную.

Мелькнуло боязливое намерение закрыть окно снова, чтобы никто не успел заметить преступления, но вместо этого, небывало легким прыжком, молодой человек перемахнул через подоконник и свалился в буйную заросль цветов и ползучих растений.

Впоследствии, перебирая в памяти первые ощущения падения, он сравнивал их с пробуждением в гробу от летаргического сна.

Началось с того, что цветы зашуршали наподобие бумаги и стружек. Еще не коснувшись в своем падении земли, Петроний уже знал, что они в самом деле бумажные, с проволокой вместо стеблей. И росли на голом камне.

Это открытие повергло его в оцепенение. Вот что было известно Эвнике!..

Вскочив, и не глядя по сторонам, побежал что было силы, в самую глубь сада, куда была пущена ее стрела, где вздымались кипарисы, виднелось море. По бутафорским клумбам, по зарослям коленкоровых лилий, опрокидывая клеенчатые пальмы и магнолии. Топот его отдавался эхом, как в большом

гараже. Послышался такой же топот многих ног, взволнованные голоса.

И вот то место... Он добежал до него, как раз, когда на море закружились чайки и выплыл белый пароход. Петроний дотронулся до них рукой. То были движущиеся световые пятна на гладкой, как стекло поверхности.

Он больше не чувствовал себя, и если не упал, то только потому, что ужас поддельного неба зародил в нем беспокойство и желание во что бы то ни стало увидеть небо истинное.

Повернув из последних сил онемевшее тело в ту сторону, где стоял его дом, он вскрикнул. Дом, приплюснутый, без крыши, с единственным открытым окном, сиротливо ютился в пасти огромной пещеры. Под каменным нёбом висели мостики, лестницы, площадки со множеством аппаратов. Среди них — искусственное солнце, бившее в глаза и заливавшее подземелье ярким светом.

Петроний зубами и ногтями вцепился в первого подбежавшего к нему человека и лишился чувств.

***

— Ну зачем, зачем вы это сделали?!..

Нерон, как в день того, первого пробуждения сидел в центре полукруга внимательных, бесстрастных лиц.

— Ведь вот, вы натворили нам столько хлопот. Где мы вас будем теперь содержать? И неужели вам плохо было там? Королевская роскошь, уют, комфорт, и лаборатория... Теперь всё придется заново строить. И работалось ведь вам там хорошо, не правда ли?

Он пристально посмотрел на лежавшего.

— А теперь придется жить в этой тюрьме... Мы не можем вас держать иначе, как в строгом ограждении от всего мира, вы это хорошо понимаете. Конечно, постараемся и здесь скрасить вашу жизнь, отстроим и меблируем несколько камер, но таких удобств, как там, не будет.

Он говорил много, с укоризной, но заметив, что больной не слушает, поднялся и ушел со своим штабом.

Петроний долго лежал в бреду, звал Эвнику. Когда наступило улучшение, его посадили в кресло возле окна, забранного массивной тюремной решеткой. Перед окном вздымалась стена, а за нею грузное здание тоже с решетками на окнах. Там изредка мелькали фигуры в полосатых куртках. Два раза в день они спускались вниз, и через стену можно было видеть их плечи и головы, когда они совершали по двору свои унылые круги. Долетали неразборчивые слова команды.

— Ну вот, у вас теперь и желания работать не будет, — сказал ему однажды Сульпиций, человек лет сорока, с мягким располагающим лицом.

— Напротив, друг мой, вид небольшого кусочка настоящего неба поднимает мой дух больше, чем пышная ложь, которой вы окружили меня в подземельи. Я знаю, что эта громада, стоящая перед окном — тюрьма, но ее трубы и крыши освещены настоящим солнцем, и от этого я полюбил ее с первого взгляда. Если мне суждено выйти на волю, я буду каждый день поступать, как те мужи израильские, которые стояли спинами ко храму Господню, а лицом своим на восток и кланялись солнцу. Как они, я буду кадить ему и подносить к носу свежие древесные ветви и обонять их.

— Но у вас, дорогой метр, — такая же вина перед божеством, как у древних иудеев: вы — отступник. Вы радовались поддельному свету как настоящему. Не будь простой случайности, вы бы до сих пор боготворили спектральный прожектор не подозревая, что поклоняетесь лже-солнцу. Откровенно говоря, я в этом греха не вижу. Откуда нам знать, что «настоящее» солнце — не такой же фонарь в пещере или не спичка вроде той, что я сейчас зажигаю? Она горит минуту, но на ладони моей руки — это миллионы лет. Зарождается жизнь, возникают войны, расцветают и гибнут цивилизации... Не спичке ли мы поклоняемся?

— Я не хочу вас слушать, — проговорил Петроний, — солнце существует и никакой другой свет не заменит его.

Самый бледный, самый косой его луч дороже яркого сценического освещения. Вот и сейчас я поправляюсь не от лекарств вашего доктора, а от залитых желтым светом стен тюрьмы, от белых, как пух, облаков, от сверкающего в небе алюминиевого аэроплана. Ах, если бы вы знали, как страшно убеждаться в поддельности солнца!..

***

Прошло не мало времени, прежде чем он начал ходить и знакомиться с новой лабораторией. Набравшись смелости спросил, в какой стране он находится.

— Пощадите, и не задавайте таких вопросов, — проговорил Сульпиций с грустью. — Лучше приступайте скорей к вашей работе. Вы видите, что «ему» стоит большого труда вежливо разговаривать с вами.

Под «ним» Сульпиций разумел Нерона. Тот действительно ходил чернее тучи. Казалось, он больно переживал поражение в своем уменьи делать из человека всё, что угодно. Невозможность заставить «мальчишку» совершать научные открытия приводила его в ярость. Увидев как-то Петрония, разглядывавшего в никелированной крышке прибора свое отражение с сединой висков, с провалами глаз, он бросил ему находу:

— Стряхните ваше мрачное настроение, забудьте, что вы пленник, и завершайте скорей свое дело. Неужели ему суждено погибнуть на полпути? Ведь уж так много сделано! Это для вас же будет лучше.

О накопившемся в нем бешенстве подчиненные судили по обращению с ними. От его отрывистых слов, люди бледнели, а у Сульпиция менялся даже цвет глаз.

Но проводив патрона ненавидящим взглядом, Сульпиций добрел и просветлялся, переводя взор на своего гениального пленника.

— Мужайтесь, спасение близко, — прошептал он возле самого уха Петрония, когда они наклонились над черте-

жом. — В вашем освобождении заинтересована одна иностранная разведка; ее агенты есть в числе ваших сотрудников. Молчите!

С тех пор Петроний ходил, как в тумане.

По прошествии нескольких дней, он не утерпел и спросил, когда же придет освобождение?

— Оно никогда не придет, если вы не очнетесь и не станете работать. Вашим освободителям нужен изобретатель, а не нервно-больной. Возьмите себя в руки, умоляю!

Но юноша оказался неспособным к рабскому высиживанию и вымучиванию своего открытия. Принудительная работа мысли утомляла его и вынуждала подолгу отдыхать, простаивая у окна, глядя на небо.

Там совершал свои привычные рейсы аэроплан.

***

Однажды аэроплан перевернулся и начал зигзагами падать.

— Катастрофа!

Падение должно было произойти далеко, за несколько миль, об этом свидетельствовал вид аэроплана, казавшегося не больше ласточки. Но сделав несколько спиралей в небе, он, не увеличиваясь в размерах, пролетел над самой трубой тюремного здания стоявшего напротив, и с легким звоном ударился в подоконник перед которым стоял Петроний. Из за трубы выглянуло чье то лицо.

Трепещущего, как в лихорадке, молодого человека увели от окна, уложили в постель и дали снотворного. Доктор уверял, что он ничего не понял в происшествии с игрушечным аэропланом.

Но событие это внесло смятение в таинственное учреждение; все ходили раздраженные, сердились друг на друга, действовали невпопад.

Кто-то оставил приоткрытой массивную дверь, всегда державшуюся на запоре.

Проснувшись и стараясь припомнить вчерашнее, Петроний начал в тоске и тревоге ходить по комнатам, — останавливался перед окном, забивался в дальний угол. В запретную дверь вошел случайно.

Там пахло нежилым заброшенным помещением, стояла густая тьма и в ней звездой мерцал свет. Устремившись на него, Петроний наталкивался по дороге на великолепные стулья, на мягкие кресла, недоумевая, как они могли очутиться в тюрьме. Сами собой дрогнули руки, когда наткнувшись на какой то предмет и ощупав, опознали в нем круглый стол заваленный газетами. Неподалеку чуть поблескивала полировка радио-приемника.

Опрокидывая, разбивая что-то по дороге, сам не раз падая, он рванулся туда где брезжил свет. Пробежав несколько темных комнат и несколько распахнутых настеж дверей, попал в просторное помещение, предметы и очертания которого смутно вырисовывались при свете, шедшем из окон с улицы. Петроний узнал хоры, люстры, решетки на окнах. И вот оно... то окно... Его даже не потрудились закрыть после того, как он выскочил через него в сад. Там, среди растоптанных тряпичных клумб, одиноко горела электрическая лампочка без колпака, свешиваясь с деревянной подставки вроде виселицы. Освещенная ею пещера походила на недра оперной сцены после представления: — поваленные кипарисы, магнолии, полусферический экран потухшего неба и моря...

Закричать ему не дали, закрыли рот рукой, и чуть живого вернули в прежнее помещение. Мелькнуло лицо Нерона с дрожащими от бешенста губами, и другое, бледное как смерть — должно быть того сотрудника, что оставил дверь открытой. Засуетился доктор, ощупывал, выслушивал, поил лекарством, уверял, что ничего не случилось. Он усадил Петрония в кресло, обложил подушками, а когда заметил, что тот впал в забытье, дал знак всем тихонько удалиться.

Но больной захлопал в ладоши.

— Что вам? — наклонился к нему Нерон.

— Браво! — прошептал Петроний. — Вы гениальны! Вы гениальны!

***

Работа остановилась. Сотрудникам не под силу было продолжать провалившийся спектакль. Считались с возможностью сумасшествия или длительной болезни. Врач навещал пленника каждые полчаса. Иногда приходил Нерон и глядел издали. Сульпиций хмурился, как все. Лишь наедине с Петронием сбрасывал маску.

— Спокойствие, дорогой метр! Дела совсем не так плохи! Через несколько дней мы будем на свободе.

Петроний поймал его руку и покрыл поцелуями.

— Что вы делаете! — застонал Сульпиций. — Вы всё погубите!

Через несколько дней, он, действительно, взял всё еще слабого Петрония под руку и стал расхаживать с ним по длинной камере превращенной в лабораторию.

— Смейтесь, ради Бога, и говорите что нибудь, — шептал он ему. Потом, таким же шопотом умолял не хохотать во всё горло.

Сотрудники переглядывались.

Но когда, пройдясь взад-вперед несколько раз, очутились перед небольшой дверью, Петроний сжался. В этом доме он стал бояться дверей, хранивших запертую на ключ его судьбу. Стараясь высвободить от Сульпиция свою руку, он сделал попятное движение, но откуда-то взявшийся молодой человек с непостижимой быстротой сделал такое, что не успело дойти до сознания изобретателя, как не успевает иной раз человек понять, что он на смерть ранен.

Толкнули ли его в открытую дверь или втащили за руки, он не знал. Яркое освещение сменилось сразу тусклым, желтым, едва обозначившим шероховатость скалистой стены и другой, дощатой стены балагана, за которой осталась лаборатория. Он слышал, как она зашумела, точно курятник при появлении хорька. Зазвонили звонки, завыла сирена. Камен-

ная почва под ногами забилась толчками. Чтобы не упасть он крепко держался за руку Сульпиция, тоже сотрясавшегося всем телом. Временами Сульпиций оборачивал к нему полубезумное лицо и что-то выкрикивал.

— Что с нами? — спросил Петроний и тут только заметил, что они бегут изо всей силы. Долго толклись в каменном коридоре, где не было видно ни зги. Потом коридор закачался во все стороны. Это их сзади осветили прожектором. Раздались выстрелы. Петроний слышал, что за его спиной кто-то отстреливался, но он не спрашивал, кто бы это мог быть, перестал размышлять и утратил способность воспринимать что-либо кроме звуков и пляшущих пятен света. Тело свое он почувствовал с того момента, когда кровь нестерпимо начала стучать в виски, а открытым ртом стало невозможно набрать нужного количества воздуха. Он бы упал через несколько шагов, если бы шахта не сделала внезапно крутого поворота и не защитила беглецов своим углом от пуль и прожекторов. Очутившись за этим углом, Сульпиций выпустил руку Петрония и в изнеможении припал к стене. Но бежавшие следом два человека тотчас зажгли карманные фонарики и начали шарить под ногами. Блеснул никелированный рычаг, торчавший из какого-то ящичка. Его моментально нажали. Послышался ужасающий взрыв поваливший всех четверых на землю. Когда улеглось ревущее эхо, не было ни прожекторов, ни выстрелов, ни голосов преследователей. Кто-то в темноте весело закурил.

— Теперь можем отдохнуть и идти спокойно.

***

Путь был долгий — узкими ходами, просторными пещерами, через ручьи, мимо подземных водопадов. Луч ручного прожектора выхватывал из темноты огромные выступы и глыбы земной коры. В известковом гроте, осветившемся голубым сиянием, люди отвернулись друг от друга. Все походили на покойников.

— Соберите ваши последние силы, — сказал Сульпиций, когда приблизились к отверстию в которое мог пролезть

всего один человек. — Мы уже у цели, скоро будем вне опасности. Надо проползти сквозь эту короткую, но довольно узкую кишку.

Сначала полез один из спутников, потом Сульпиций, за ним Петроний, последним тот юноша, что открывал дверь в лаборатории в начале бегства. Очутившись по другую сторону прохода, он откуда-то взял длинную железную кочергу и орудовал ею в темном жерле до тех пор, пока не вызвал грохочущего обвала. Лавина камней завалила отверстие.

Через десять минут, все четверо вышли в полутемное ущелье и полной грудью вдохнули свежий воздух.

— Свобода, свобода, дорогой метр! — закричал Сульпиций, бросившись обнимать Петрония.

Двое других пожимали руку и самым сердечным образом поздравляли с благополучным выходом из подземелья.

— Улавливаете ли этот далекий рокот? — спрашивал Сульпиций. — Знаете ли что это такое? Это море! Море!.. Это его соленым воздухом вы дышите!..

Петроний в самом деле почувствовал запах рыбной бочки, которой обычно пахнет морское побережье.

— Поднимите голову!

Петроний поднял, и над расщелиной скалы увидел небо. Проплыли две белые чайки распластав крылья.

Дальше нельзя было идти. Поселились временно в пещере. Дышать свежим воздухом выходили по ночам. Ночью море шумело явственнее, долетал иногда гудок парохода. Петронию он представлялся гласом с небес; парохода он ждал, как колесницы пророка, назначенной вывезти его из пасти адовой.

Но ему сказали, что ждать придется долго, потому что похищение произошло преждевременно, до получения формальной санкции начальства. Заговор Сульпиция и его помощников подвергся опасности раскрытия, по каковой причине

они похитили изобретателя на свой риск, не сомневаясь, что действия их будут одобрены. Но срок пребывания в ущельи от этого удлинялся.

В пещере были заготовлены мягкие подстилки заменявшие матрасы, запас пищи и воды, ящик батарей для зарядки электрических ламп.

Однажды Сульпиций поставил такую лампу на грубый, но пригодный для работы стол, и положил на освещенное пространство толстую папку. Раскрыв ее, Петроний узнал свои чертежи, наброски и вычисления.

— Как! Вы и это сумели унести?

— Мы сделали бы наше дело наполовину, если бы забыли об этом.

Петроний с любопытством стал рыться в бумагах, как будто видел их впервые.

— Да, тут можно найти кое-что интересное. Вот хоть бы это.

Он вынул лист испещренный уравнениями.

— Это целая проблема. Там, в проклятом подземельи, сколько ни бился, не мог решить. А ведь она не так уже сложна.

Он углубился в вычисления и покрыл цифрами новых два листа. К вечеру Сульпиций заметил у него на лице такое же победное выражение, какое бывало в минуты величайших открытий в подземном доме. На другой день он опять писал пояснительные замечания, делал наброски. Никто ему не мешал. Существование своих друзей Петроний обнаруживал только во время обеда.

— Не правда ли, вам уже немного осталось до полного завершения? — спросил как-то Сульпиций.

— Да, я предчувствую момент, когда все линии сойдутся в общей точке.

— Вот это будет триумф! И никто не проявит большего восторга и благодарности, чем ваши новые покровители.

***

Тянулись дни и недели. Сульпиций постоянно находился с Петронием, но двое молодых людей днем спали, а ночью куда-то уходили. Перед уходом они гримировались, приклеивали бороды и надевали рыбацкие куртки.

— Вы представить себе не можете какой опасности подвергаются они каждый раз выходя из ущелья. Это храбрецы из храбрецов. О, дорогой метр, если бы вы знали, сколько несчастий и испытаний доставил нам ваш гений! Вас будут чтить, ваши портреты повесят рядом с портретами Ньютона, но кто вспомнит маленьких людей, погибших при вашем похищении, при вашем освобождении? Кто вспомнит, какую жизнь, полную страха и тревог, вели они, когда рождалась ваша идея?

— Вы полагаете, что когда-нибудь мое имя станет известным?

— Оно уже известно. В мире тайной науки и тайного изобретательства, что создан вокруг военных ведомств и полицейских учреждений, во всех цивилизованных странах вас знают. Ваша мнимая гибель в туннеле парижского метро вызвала настоящий переполох. В нее не все поверили. Тысячи агентов поставлены на ноги, чтобы напасть на ваш след. Спешно возникли секретные лаборатории, где начались работы над вашей проблемой. А самая проблема уже носит ваше имя. Вам не избежать известности, она вам обеспечена даже в том случае, если ваше дело будет завершено не вами, а кем-нибудь другим.

— Но кем же другим?.. Это невозможно!

— Я тоже так думаю...

— Вы это сказали неуверенно.

— Нет, я почти убежден, что первенство останется за вами, иначе и быть не может. Вы уже так много сделали... Но должен сказать: недавно бесследно исчез молодой цюрихский профессор, близко подошедший в своих занятиях к вашей теме. Нет сомнения, что он сейчас работает в одной из подпольных лабораторий, вроде той, из которой нам удалось вас освободить.

— Цюрихский профессор?!.. Вздор! Никому это не по зубам... Я и в горной пещере сделаю больше, чем они в своих лабораториях. Вот посмотрите: на этом листе — формула подводящая итог всем моим опытам в подземелье. Она открывает кратчайший путь к завершению задачи. Кто может меня опередить?

Он возбужденно зашагал по пещере, потом сел к столу и просидел, не вставая, несколько часов. Работал при свете трех электрических фонарей, поставленных ему на стол. После короткой вечерней прогулки, опять за стол, и до утра. Когда из ущелья проникли слабые отсветы дня, Сульпиций ласково попросил его отдохнуть.

Так прошло несколько недель упорного вдохновенного труда.

— Пусть похищают всех цюрихских профессоров! Теперь никто меня не опередит. Осталось несколько опытов, несколько лабораторных исследований... Однако, когда же придет ваш пароход?

— Пароход?.. Да, он придет... И может быть скоро. Несколько дней наша секретная радиостанция кем-то заглушается. Спешно создается новая. Когда она будет готова, всё выяснится.

Молодые люди почти перестали жить в пещере, приходили ненадолго и снова исчезали. Петроний почувствовал усталость. Заминка с прибытием парохода сделала его угрюмым. Он стал часто выходить в ущелье днем. Сульпиций умолял не делать этого.

— Когда-то вы мне говорили, что можете жить без солнца, лишь бы знать, что оно существует.

— Я и жил. Но уверенность, как любовь, должна поддерживаться непосредственной близостью. Не видеть подолгу неба — невозможно! И — хоть краешек скалы, освещенной солнцем...

Временами он садился прислонившись к камню и смотрел, как в небе покачивалась залитая солнцем ветка, росшая на самом краю обрыва.

— По одной ветке, — думал он, — можно воссоздать весь мир. Ведь никто мира не видел, — только небольшой его кусочек. Но если этого достаточно, чтобы знать о нем, то почему не достаточно одной ветки? Видя ее качающуюся и озаренную, разве не убеждаемся, что есть солнце, есть ветер, есть мир?

Когда он, однажды, так думал, послышался треск, будто лопнула грамофонная пластинка. На небе, как на весеннем льду, появились разводья. Кусок его, похожий на Пиринейский полуостров, отделился и упал на дно ущелья. Из образовавшегося отверстия вывалился человек. Он успел схватиться за край голубого свода и на мгновение повис, болтая ногами. Но край, всё с тем же треском ломающейся грамофонной пластинки, оторвался, и человек упал на самое ребро скалы, придавив ветку, которой любовался изобретатель. Оттуда он шумно скатился в ущелье, цепляясь за камни, раздирая одежду.

Сквозь дыру в небе виднелись софиты, спектральные фонари, железные конструкции, фигуры людей. С края скалы свесились вниз чьи-то головы; они следили за упавшим.

С искаженной злобой лицом, подбежал к нему Сульпиций, ударив изо всей силы кулаком. Следом появился другой, пустивший в ход рукоятку револьвера. Повергнув истерзанного человека на землю, он начал бить его ногами. Петроний узнал Нерона.

Ущелье наполнилось людьми. Это были сотрудники подземной лаборатории.

***

Когда лежавшему на земле седому юноше плеснули воды в лицо, он очнулся.

— Вы теперь на воле. Посмотрите, — солнце!.. Вы видите солнце!..

В глаза бил какой-то свет. Юноша повернулся лицом вниз и застонал:

— Убейте меня! Убейте!

Н. Ульянов

В ДНИ КОРОТКОГО ОТПУСКА

Б. К. Зайцеву

...Началось это почти сразу после Австрийских Альп, перевала в Бреннере, где всегда — осенняя хмурь от дождя и туманных туч, прицепленных к вершинам гор, сосен и крыш. А дальше, всего через час-два — вы уже далеко в Италии, вас снова обдает солнцем и вы совсем в другом, теплом, лучистом мире. Крутизна величественных доломитов, зеленые долины — к Венеции подъезжаешь, уже подготовленный.

Этот город, в грязной бахроме плесени, в лазури неба и лагуны, днем украшенный позолотой солнечных бликов, а ночью серебром луны, и впрямь можно принять за музей. Даже странно, что в причудливых каменных домах, внизу словно подгнивших от застоялой, полной арбузных корок и всякой другой дряни воды, в этих обветшалых хороминах, поднимающихся как из водяного тлена, почему-то живут люди. Ведь его, со всем, что в нем, с собором Сан-Марко и голубиной, единственной в мире площадью перед ним, с палаццо Дожей, дворцами на Каналэ Гранде, с мостами и мостиками дугой, с гондолами, катерами, яхтами, с магазинами, где на полках можно увидеть знатные, древние кружева и вычурные изделия из стекла вперемежку с нынешней необходимой дребеденью, так и хочется накрыть стеклянным колпаком. Чтобы ничто в нем не нарушалось, чтобы он застыл, как огромный отраженный в воде макет, и чтобы мы, так неподходящие ему, не могли испортить эту редкую игрушку.

Но макет, с узкими улочками, текущими через каналы горбатыми мостами, полон галдящей толпой и в ней не обязательно больше туристов, чем венецианцев. Венецианцы встречают еще на вокзале: носильщики, служители отелей, по-

дозрительные посредники, с которыми вряд ли приятно встретиться ночью на пустынной улице, липко привязываются к вам и стараются захватить и умыкнуть. Ничего не остается, как покориться и спешить за тем, кто первым словчился отобрать ваш чемодан (спешить необходимо, ибо говорили ведь: «будьте бдительны, там вор на воре!». Скоро убеждаешься, что это, в общем, поклеп). Расплачиваясь, не успеваешь ахнуть, сообразив, что дерут с тебя безбожно много: грабитель так живописен и жизнерадостен, так беззаботен и по-своему честен его плутовской взгляд, что можно только улыбнуться и простить ему все прошлые и будущие грехи. Да и большой ли это грех?

На венецианцев нельзя обижаться, того больше, негодовать. Разве можно быть раздраженным и злым в этом городе, где вас с утра обнимает веселое солнце и невесомый воздух, процеженный сквозь легчайшее вино? Где вам будто все рады и где все рады тому, что они живут на свете, в городе, где так прозрачно и бездумно? Как бы ни были мрачны казематы тюрьмы за узким каналом от Дворца Дожей, с отмеченным всеми бедеккерами Мостом Вздохов, вы не замечаете этого мрака, не верите даже, что он когда-то был. Вы не помните о суровых дожах, а если уж что вспомнится, то скорее это будет Казанова, ухитрившийся бежать даже из этой тюрьмы. Но и тут, забыв лишнее неприличие, связанное с его именем, вы ощутите только простительную легкость, которой было с избытком в бурной жизни авантюриста и которая чуть кружит в этом городе голову.

Рано утром со двора уже несся чистый, как небо над лагуной, голос служанки отеля, изливавший в песне свою итальянскую душу. Даже не зная слов, было ясно, что такой голос может только прославлять всё живущее на земле. И с утра закруженный этим голосом, сутолокой на пестром базаре налево от вокзала, у магазинов на Риальто и дальше, в кривых улочках центра, на площади у Сан-Марко, где бродят млеющие от впечатлений разноплеменные туристы с фотоаппаратами на ремешке через плечо, оглушаемый криками продавцов,

навязывающих сувениры или арбузы, не уступающие по вкусу астраханским, вы бродите целый день, с необременительным шумом в голове, будто потеряв себя. Так ли уж важен ты тут?

Куда не забредешь, даже на самые пустынные окраинные набережные, вроде той, с которой невдалеке виден остров-кладбище, где хоронят венецианцев, вас не оставляет чувство, что вы не с одними туристами и что рядом постоянно легконогие жители города, просящегося под стеклянный колпак. И вы отбрасываете эту мысль: к чорту колпак, хотя город этот и верно музей. Но без венецианцев разве не утратил бы он сколько-то, — и не мало, — от своего музейного очарования? И вы прощаете всё, — нет, у вас даже мысли не появляется, что эти люди могут быть неприятны или досадны; вы испытываете к ним почти любовное, благодарное чувство. Обирают туристов? Но они делают это с такой необидной снисходительностью! И зачем иначе существует турист? Пусть по гроб жизни будет благодарен им, уже за то, что они живут в неповторимом музее и этим сохраняют его. Нет, никаких стеклянных колпаков!

В музейном городе нельзя принимать всё слишком всерьез. Вечером мы решили от Сан-Марко пройти в отель пешком, чтобы взглянуть на путаницу похожих на узкие коридоры улочек между Риальто и вокзалом. Было уже темно, давила теснота домов, в которых, видимо, живет рабочий и служилый люд; улочки и переулки долго вели по ущельям, мимо каменных отвесов; мы забредали в тупички, натыкались на каналы, поворачивали назад, но всё же продвигались к цели. И внезапно вышли на неширокий прямоугольник площади, увешанной разноцветными фонариками. С трех сторон высокие глухие стены домов, почти без окон, с четвертой старая церковь; посреди скамейки перед помостом-сценой, на ней немолодая женщина что-то поет под гитару. Слушают с полсотни человек: народу жидковато, хотя на такой малой площади должно бы казаться больше.

Только вышли из переулка — подскочил какой-то невзрачный дядя с кружкой, бормоча невнятное для нас. Не

зная, куда попали, я сунул в кружку мелочь, лир двадцать-тридцать, — рассыпаясь в благодарностях, он мигом прицепил мне что-то на борт пиджака. Потом оказалось: крохотный итальянский флажок на булавке. Сторонкой мы пробирались к выходу на другой стороне площади — и тут я увидел на стене афишу, из тех, что видел кое-где днем. На ней только два знакомых слова: «Унита» и «фиеста». Я оглянулся: над сценой, среди национальных флагов, есть и красный флаг с серпом и молотом, была там и пятиконечная звезда. Ба, мы попали на коммунистический праздник! И даже пожертвовали им! Пробираясь переулками дальше, я смеялся от души: где бы еще могло быть, чтобы я пожертвовал коммунистам? Нигде, как в Венеции! Но такой уж в ней воздух, что трудно было негодовать даже на них и на их фиесту. Негодования не получалось: в Венеции и коммунисты вряд ли могут сами себя принимать всерьез.

Со всем, что в ней, Венецию можно осмотреть за несколько дней. Но она не отпускает, тянет остаться еще. В Венецию, наверно, можно приезжать всегда, она не надоест. Но уходило несчастное время отпуска, размеренного чуть не на часы. И «диретиссимо» умчал нас, по длинной дамбе через широкий залив, как будто мы ехали прямо по воде. Рядом уже мчались автомобили: им можно подъезжать только к преддверию города, дальше этой нынешней колесной технике заказано. Как бы она могла раскатывать по каналам и ступенчатым мостам?

С грустью смотрели мы на удаляющийся город. Удастся ли когда еще побывать в нем? Но грусть была не тяжелой: мы увозили с собой образ чуда на воде, парения человеческой фантазии, вычурной, как ажурное плетение собора Сан-Марко, палаццо Дожей, дворцов на Каналэ Гранде. И этот образ смягчал тяжесть расставания.

Потом были Падуя, Феррара, Равенна — опять соборы, дворцы, фрески. Для них нужны месяцы, а не считанные отпускные дни, когда всё видишь мельком и даже не успеваешь как следует обомлеть. Но я ведь и не собирался писать о них:

кощунственной была бы мысль соревноваться со знатоками итальянского искусства.

Промчав по полям Эмилии, поезд доставил нас опять на Адриатику. В ней мне давно хотелось поплескаться так, запросто, будто нет у нее никаких тысячелетий и будто создана она только для того, чтобы в ней омывались сонмы туристов, выбрасываемых ежедневно поездами из Норвегии, Швеции, Дании, из английского и германского муравейников и даже из Франции, у которой есть Лазурный берег. Всё это месивом копошилось на пляжах, галдело, надоедало, мусорило. Но странное дело, в этом месиве как-то можно было оставаться одному, смотреть в лазурь моря и блаженно-глупо повторять прилипчивые строки:

Адриатические волны! О, Брента...

Тут тоже оставалось место для итальянцев. Они бродили среди распростертых на песке тел, предлагали тоже сувениры, какую-то скользкую морскую чепуху, шали, свитеры, еду. Тощий жилистый студент, с которым быстро все знакомились, пропаленный солнцем до того, что он почти просвечивался, как копченая сосиска, в обгрызанной соломенной шляпе и закатанных, до колен грязно-белых штанах, таскал лоток со сластями и, скаля зубы, пронзительно пел на весь пляж: «Кондити, кондити!» Он был заразительно весел, доволен курортниками, морем, солнцем и трудно было удержаться, чтобы не купить у него какую-нибудь липкую, тягучую пакость, от которой хотелось поскорее отделаться, засунув ее поглубже в песок. Этими «кондити» студент жил и зарабатывал себе еще на зиму и ученье.

Черные от загара ловкие чертенята шныряли с ящичками, крича в голос: «Джелатти мотто!» За сто или пятьдесят лир у них можно было купить кусочек сладкого холода, завернутого в целлофан или в бумажном стаканчике с воткнутой в него деревянной ложечкой. Я и сейчас иногда слышу этот крик: «Кондити, кондити!» «Джелатти мотто!».

Но властвовало над всем, конечно, море. И небо, таявшее в нем. На их голубизну, подернутую чуть заметной бирюзовой

вуалью, нельзя было устать смотреть. Где-то за спокойной далью, прорезанной парусами редких яхт и рыбачьих ботов, была запретная Югославия, — мысль уносилась через морскую даль, витала где-то за ней и о Югославии я вспомнил только однажды. Потому что море прогоняло все мысли о запретности и вообще о всей нашей обыденности, может быть, растворяя их в себе. Здесь их, наверно, тоже нельзя было принимать всерьез. Здесь надо было только смотреть на море, плескаться в его теплой, зеленоватой воде, входя в него, сливаясь с ним, чувствуя себя такой же частью мира, как и оно. А наши мысли — это уже не мир, это над миром.

На подобии лодки — два длинных, вроде лыж, поплавка, на них скамья, по бокам скамьи весла, — можно было уплыть километра за два-три. Под ногами уходила в глубь переливчатая темь, иногда в ней проплывала студенистая слизь или коричневый шар лохматой губки, — а вокруг расстилалась синяя, голубая, зеленая, лазурная гладь. Перемешивались все оттенки и невозможно было понять, какого же цвета эта магнитом притягивающая тебя необъятная масса воды? Как ухитряются изображать ее художники? И описывать писатели?

Слева за рыбачьим поселком поднималась гора: «Габичче маре». Я не пытался узнать, что скрывается за этим звучным названием: наша несносная любознательность разрушила не одно очарование. Вдруг всего-навсего: «вид на море»? Хотелось другого, уже потому, что с нее в самом деле открывался такой безбрежный вид, что могло захватить дыхание. А внизу под горой — невиданная игра красок: сквозь воду, окрашивая ее в свой цвет, проглядывали серые и зеленые камни, желтые песчаные пятна; дальше, не понять, почему, вода была розовой, снова синей, в лазури разводов куда-то текущих струй.

Сразу за железной дорогой начинались виноградники, тоже безбрежные, тонущие в дали, увешенные тяжелыми, пыльными и всё же янтарными гроздьями. В виноградниках и садах, усыпанных яркими шарами желтых персиков, лимонов, апельсинов, копошились крестьяне. Тут я наверное первый раз подумал, кто и откуда взял, что итальянцы ленивы и не любят

работать? Кто же тогда так тщательно возделывает эти поля, кто любовно выходил тут каждый клочек земли? Кто возвел те заводы и фабрики, мимо которых мы проезжали, миновав десятки городов? Всюду следы большого и умного труда, — как бы он мог быть плодом лени и нерадения? А то, что итальянцы работают по-своему, будто бы беспечно, лениво, — так в этом, наверно, виноваты солнце и воздух, источающие мир и истому, в которых торопиться совсем ни к чему.

Между виноградниками мы пробрались далеко к горе, где теснится древний городок Градара, увенчанный замком, — ему семьсот с лишним лет. Краткой вспышкой промелькнула в нем когда-то любовь Паоло и Франчески, примечательная наверно только тем, что ею вдохновлялись Данте, Д'Анунцио, Чайковский, художники, тогда как — сколько таких историй хранят средневековые замки?

В другой стороне, тоже вдали от моря, над отвесным обрывом высокой горы короной поднималось тонкое плетение каменных кружев: Сан-Марино, столица игрушечной республики, кажется, самой старой в Европе в нашу цивилизацию. У власти там были коммунисты и мы шутили, говоря, как бы нас там не украли. Это, понятно, была только шутка: главный доход республики — туристы, — как же коммунисты могли бы допустить такой скандал?

Крутые улочки вели наверх, к собору, ратуше, в крепость, — лавчонки опять с ворохами сувениров, с чудесными резными блюдами, тарелками: «спечиалита» Сан-Марино. Ресторанчики, как и в Градаре, предлагают другое «спечиалита»: вино «Москато», шипучее и сладковатое, как наше «донское игристое». А над этой узкой и путаной живописностью шла вверх грузная, массивная зубчатая стена. Она опоясывала гору и вместе с башнями составляла крепость, когда-то и впрямь неприступную: поди, одолей ее без осадных пушек! Но хотя стена была явно каменной, тяжелой, несдвигаемой, издали и она и вся крепость-замок и город казались словно легко под-

вешенными к небу, может быть, даже невесомыми. Как удавалось итальянским предкам строить такие махины кружевно-легкими, почти воздушными?..

Время торопит — мы опять мчимся в поезде, сначала на юг, к Анконе, по берегу моря, подступающего к самым колесам. Слева вода кое-где подходит вплотную к полотну, смотришь в окно, не высовываясь: плывем по синим волнам! Что ж, в этом краю, наверно, возможны любые чудеса.

Поворачиваем и пускаемся почти напрямик пересекать итальянский сапожок. Еще открытие: почему мне всегда, с детства, казалось, что Италия в середине — равнина? Она вся в горах и дорога вьется то по узким карнизам, то по долинам и ущельям, как где-нибудь на Кавказе. Наш диретиссимо, проскакивает туннели, взбирается на синие, зеленые, серые горы, спускается в долины с седыми потоками и редко задерживается у небольших городов: мимо пробегают всё деревни, горные поселки, старые, из камня, изъеденного временем, построенные должно быть века назад.

Сначала в вагоне было пусто, потом набились крестьяне, шумные, говорливые, как все итальянцы. Не зная языка, мы не могли с ними объясняться, но и без этого, по дружелюбным жестам и улыбкам, видно было, что мы свои и стесняться им нас, а нам их совсем не след. В купе набилось больше нормы, кажется, не двинешься, и если бы это было у нас, теснота была бы тяжелой и с трудом переносимой. А здесь — ничего. Даже ноги не затекали от долгого сидения: вот что значит улыбчивый народ, вспоенный вином итальянского воздуха.

Соседи, несомненно, были добропорядочными гражданами своего государства, не хуже других: они тоже были не прочь обвести свое государство вокруг пальца. Пришел контролер, повел носом — и почуял поживу. Проверив билеты, он заинтересовался багажом. Крестьяне везли мясо, на продажу в Рим, в объемистых корзинах и мешках, ясно, весом сверх положенного. И опять: если бы у нас, чтобы тут поднялось! Как сгустился бы воздух от крика, злобы, непечатных слов! А тут «стороны» понимающе шутили, смеялись, малость поторгова-

лись — «достигнув понимания», крестьяне полезли в глубь кофт и пиджаков, уплатили по сто-двести лир, контролер дал им квитанции, пожелал счастливого пути и, в общем, все остались довольны. Не вышло на этот раз, авось выйдет в другой. И наклад не велик, стоит ли расстраиваться?

Они ни за что бы не поняли, почему от этой сцены у меня чуть не защипало в носу. А не так уж трудно понять. Придет ли время времечко, когда и мы сможем вот так же, без яри и оскаленных зубов, с улыбкой и смехом платить за свое мелкое плутовство, без которого, понятно, в жизни не обойтись?..

На остановках у лабазов — горы ящиков, мешков, тюков, как и всюду в мире на станционных площадках. На ящиках полукружия надписей; что в них за добро? Наверно, макароны, бобы, сало... Почему, впрочем, сало? Почему вот эти большие, желтые, словно отполированные ящики ассоциируются у меня с салом? Я вдруг ощущаю непонятное беспокойство, в памяти будто что-то пробивается, давно забытое, но такое что непременно, необходимо надо вспомнить. Иначе пропадет вся Италия, всё это благорастворение воздухов, иначе всё нарушится... Постой, постой, вот ведь откуда эти ящики! Неужто я мог забыть? Но разве это можно забыть совсем?

Неожиданный скачок — и передо мной, как на ладони, пустые, мертвые улицы нашего города на Нижней Волге, который вскоре после этого назвали нынешним зловещим именем. По улицам и площадям, в особенности у вокзалов, дребезжат по булыжнику телеги, запряженные костлявыми клячами; на телеги кладут навалом сухие, как мумии, трупы умерших от голода. Городских и приезжих: через наш город перекатываются на хлебный юг волны голодающих из пензенской, тамбовской и других губерний. Сколько их не добралось до благодатного юга; сколько вместо хлеба жизни вкусило тлен пыли наших улиц!

В нашем дворе, на окраине города, открыли столовую Межрабпомгола: раз в день чашка мутного супа, пахнущего помоями, в нем несколько чечевичин. Они не насыщали опухшие или иссохшие животы. Родители добывали жмых — ма-

куху, — поджаривали на сковородке, чтобы размягчить, — кажется, я до сих пор помню горьковатый маслянистый вкус и застревающие в горле кострики спресованной белухи. И вдруг чудо: пропали кожаные куртки межрабпомгольских комиссаров, вместо них понаехали какие-то дяди добротного вида и с ними ящики, мешки, вот такие же, как сейчас на итальянских станциях. И надписи на них, тоже полукружием: «Кросса Росса Итальяно» — у нас открылась столовая итальянского Красного Креста! И в таких вот больших, со стол, желтоватых ящиках — толстые, в две ладони, пласты розового, неслыханного, давно забытого, как с того света свиного сала! Из-за его толщины, помню, говорили, что это не свиное, а медвежье сало, будто бы альпийских медведей! Тогда нам было не до того, чтобы проверять, верно ли это; напротив, мы, ребята, еще с бо́льшим почтением смотрели на баснословные пласты, когда повара вскрывали на дворе ящики, приступая к готовке пищи.

У нас, трех братьев, было специальное ведерко белой жести. Когда поспевал обед, один из нас шел с заднего хода, — повар, не очень таясь, накладывал ведерко до верху, — либо золотистых, жирных макарон, либо коричневых бобов, и щедро заправлял острым томатным соусом. Голова кружилась от сводящего с ума запаха, от голода поднималась тошнота, — мы мчались в наш дом, на террасу, где жадно ждали друзья, десять, двенадцать ребят с нашей улицы. Мы садились в кружок и стараясь не спешить, чтобы не обгонять друг друга, соблюдая справедливость, уплетали спасительную еду.

Может быть, только благодаря «Кросса Росса Итальяно» мы и выжили тогда: братья, я, наши уличные приятели. И еще — благодаря АРА: белокипенный американский хлеб, сладкую рисовую кашу, стакан какао, иногда полплитки шоколада, которые мы с полгода получали рядом с нашей школой, я помню тоже очень хорошо. Скольким ребятам и взрослым спасли тогда АРА и «Кросса Росса Итальяно» жизнь? И скольким не успели спасти?

Ходил слух, что итальянцы отдали тогда нам оставшие-

ся военные запасы, которые им всё равно некуда было девать. Может быть, и так. Важно не это: всё-таки они отдали их нам, они нас спасли? А откуда, почему — так ли уж это весомо? Всё равно: от человеческого сердца.

Теперь я с особым чувством смотрю из окна вагона. Вон тот старый, усатый железнодорожник, озабоченно смотрящий на гору ящиков, что-то прикидывающий в уме, может, один из тех, кто отправлял нам тогда такие же ящики? Я смотрю на вокзальную суету, — я благодарен сейчас всем этим суетящимся людям. И уходя взглядом куда-то далеко, уносясь за тысячи километров, окидывая мысленно всю планету, я думаю: нет, верно, всё добро зело. Если по-человечески, всё хорошо в нашей большой человечьей семье...

На другой день и на следующие был Рим. Мы вставали пораньше, насколько могли, и до вечера бродили, не жалея себя. Вечером приходили в «альберго» — в отель, — и ложились костьми, без движения, не в силах шевельнуться. Но разве можно в Риме терять время на отдых? И окатившись холодной водой, мы шли опять: надо же посмотреть Форум, и Капитолий, и фонтаны, и площади, и мало ли что еще, при ночном освещении! Надо взойти на Пинчио, взглянуть, как раскинулись огни единственного города! И не было нам ни отдыха, ни срока.

Можно ли, побывав в Риме, не лелеять надежду вернуться к нему опять? Бросить монетку в фонтан Треви — пустое, конечно, хотя мы с удовольствием подчинились традиции и охотно присоединили свои монетки ко множеству блестевших на дне водоема. Но побывав в соборе Петра, — меня впрочем, пленил и куда скромнее, почти за городом, собор святого Павла, вернее, его дворик, — на пьяцца Навонна, у бронзового Марка Аврелия, на вилле Боргезе, побродив по Палатину и Форуму, по древним церквам, по музеям Ватикана, можно ли не плениться ими до конца своих дней? И не стремиться в Рим еще, огорчаясь, что у тебя так мало времени?

Сколько дней надо, чтобы узнать Рим? Наверно, это очень старый анекдот, — от этого он не теряет убедительно-

сти. Однажды Папа спрашивал, долго ли пробудут в Риме пришедшие к нему. Один ответил: месяц. Папа сочувственно произнес: «За это время вы кое-что увидите». Две недели, ответил второй. «О, вы увидите много!» — сказал ему Папа. Третий огорченно пояснил, что он только проездом и проведет в Риме всего три дня. «Вы увидите всё!» — воскликнул Папа.

В нашем распоряжении было пять дней: мы постарались увидеть всё.

И снова, вбирая в себя громады собора Петра и площади перед ним, древних терм и храмов, я вбирал и поразительную, будто кажущуюся, — разве и в самом деле они не легки? — легкость всех этих куполов, колонн, башен, стен, массивных и словно бы воздушных. Откуда эта легкость? От лазурного, легче пушинки, воздуха, от солнца, ласково обволакивающего вас, а не сжигающего, как где-нибудь в наших степях? Благословенный край — и благословенны его творения, которые только тут и могли возникнуть. В Риме, как и вообще в Италии, воочию, не книжно, можно почувствовать, почему культуры зачинаются только в таком вот оранжерейном тепле, но не искусственном, а исконно животворном, от начала начал.

В Риме, по-моему, нельзя устать жить. И несмотря на смертельную усталость, мы старались заглянуть во все уголки. Забежали даже в кафе Греко, где, на увешанных рисунками и портретами выцветших стенах, нашли то, что хотели: миниатюрный портрет Гоголя, сто с лишним лет здешнего завсегдатая. Брели и по Аппиевой дороге, воображая, что идем не по асфальту и булыжнику, а ступаем в пыль, — ее когда-то вздымали своими ногами первые христиане, от которых пошли мы.

Но довольно римских восторгов. Собственно, садясь за пишущую машинку (как высокопарно-смешно было бы теперь сказать: «берясь за перо»!), я собирался написать совсем о другом. Я хотел рассказать всего об одной встрече, об одном впечатлении, в котором, правда, отразилось всё, что

было в ту поездку, прежде и позже. Но было это еще перед Римом.

Поезд наш, прогрохотав по туннелям и горам, приближался к Риму. И где-то тут, уже поздним вечером, не доехав десяток километров, он почему-то замедлил ход, а потом, будто предварительно немного подумав, остановился.И сразу стало необыкновенно тихо. Утомленные соседи дремали; было слышно, как где-то в другом вагоне отодвинули дверь купе. Я вышел на площадку, выглянул в одно окно, в другое: ни справа, ни слева станции не было. Мы стояли на перегоне. С одной стороны впереди краснел огонек, он нас и остановил.

Простояли две минуты, три, пять — поезд застыл, как завороженный. Я открыл дверь, спустился на подножку, сел.

Свет из окон вагонов бледными пятнами ложился на невысокий редкий забор; между полотном и забором оставалась узкая дорожка. Над забором поднималась листва фруктовых деревьев, росших должно быть густо и беспорядочно; ближние листья в свете из окон поезда еще были темно-зелеными, другие за ними — совсем черными, потом начиналась уже сплошная тьма. В ней скорее только угадывались веера пиний над садом или за ним, а еще выше и дальше — гора, будто бы полого сползавшая туда, где был Рим. Ничего не было видно, тьма была полной, хотя в небе уже зажглись первые звезды. Но тьма, без края и до неба, была не черная, а словно густо-синяя и хотя она была сплошной, казалось, я сквозь нее всё-таки вижу пинии и далекую гору, видеть которую я не мог. Тьма была мягкой, податливой, проницаемой внутренним взором, пропускающей в себя.

За спиной, в поезде, дремали толпы, их не было слышно. Ни откуда не доносилось ни звука. Устало вздохнул паровоз — его вздох только оттенил тишину, не заглушив ее. В конце поезда или за поездом, наверно по узкой дорожке, то ли приближались, то ли удалялись два-три железнодорожника, они проронили несколько негромких слов — и это только сгустило тишину и синюю, почти черную темь, слитые воедино: тишина и темь. Они были так бесконечны, огромны и

всепоглощающи, что в них без остатка растворялись и забор сада, и наш поезд, и я сам — всё, что могло напомнить время, в которое мы живем, наши мысли, чувства, заботы, дела. Ничего не было, только эта глубокая, мудрая ночь, — в ней нет ни тени угрозы, а только всеобъемлющая тишина, будто примиряющая все страсти, беды, невзгоды, составляющие наш мир. И я не удивился бы, если бы от конца поезда, где шли рабочие, вместо них из темноты выдвинулись бы римские воины в шлемах, с щитами и мечами, или их предки в звериных шкурах. Лишь бы они шли бесшумно, ничем не бряцали: в эту тишину нельзя было вторгаться всякой банальщине, превращающей вечность в передвижной балаган с загримированными актерами.

Я застыл на площадке, вслушиваясь и вглядываясь в тишину и темь, взятый ими в плен и словно растаяв в них. Не было времени, не было и меня. Было только видение: глухая, но и чуткая, как вечность, всё растворяющая в себе ночь. Может быть, и никогда ничего больше не было и не будет, кроме этой тишины и мягко обволакивающей тьмы. Вот так же, наверно, было в Гефсиманском саду и тогда, когда где-то здесь недалеко проходили апостолы, и еще раньше, за тысячи лет, и будет еще через тысячи лет. Останутся вечно: земля в этой тихой ночи, с пиниями веером и горой, спускающейся к Риму, которую я не вижу, но которая непременно есть. И чувство это было таким спокойным и миротворным, что хотелось прошептать: мир тебе, наша вечная мать-земля...

Мигнув, впереди погас красный огонек, вспыхнул зеленый. Паровоз шумно дохнул, лязгнули сцепы, поезд осторожно загромыхал, разрушая мою случайную встречу с вечностью, без которой, может быть, было бы еще труднее жить. Минут через двадцать мы прибыли в Рим...

Г. Андреев

ПОСМЕРТНЫЙ ДНЕВНИК

1

А может быть еще и не конец?
Терновый мученический венец
Еще мой мертвый не украсит лоб
И в fosse commune мой нищий ящик-гроб
Не сбросят в этом богомерзком Иере.

Могу ж я помечтать, по крайней мере,
Что я еще лет десять проживу,
Свою страну увижу наяву —
Нева и Волга, Невский и Арбат —
И буду я прославлен и богат,
Своей страны любимейший поэт...

Вздор! Ерунда! Ведь я давно отпет.
На что надеяться, о чем мечтать?
Я даже не могу с кровати встать.

2

Воскресенье. Удушья прилив и отлив,
Стал я как-то не в меру бесстыдно болтлив.

Мне всё хочется что-то свое досказать,
Объяснить, уточнить, разъяснить, доказать.

Мне с читателем хочется поговорить,
Всех, кто мне помогали — поблагодарить.

Есть такие прекрасные люди средь вас,
Им земной мой поклон в предпоследний мой час.

3

Ку-ку-реку или бре-ке-ке-ке?
Крыса в груди или жаба в руке?

Можно о розах, можно о пне.
Можно о том, что не можется мне.

Ну, и так далее. И потому,
Ангел мой, зла не желай никому.

Бедный мой ангел, прощай и прости!..
Дальше с тобой мне не по пути.

4

Аспазия, всегда Аспазия,
Красивая до безобразия —
И не на грош разнообразия.

А кто она такая?..
И кто такая Навзикая?..

Себя зевотой развлекая,
Лежу, как зверь больной, в берлоге я —
История и мифология.

А за окошком нудь и муть,
Хотелось бы и мне уснуть.
Нельзя — бессонница терзает.

Вот елочка, а вот и белочка,
Из-за сугроба вылезает,
Глядит немного оробелочка,
Орешки продает в кредит,
И по ночам прилежно спит.

5

Ночь как Сахара, как ад горяча,
Дымный рассвет. Полыхает свеча.
Вот начертил на блокнотном листке
Я Размахайчика в черном венке,
Лапки и хвостика тонкая нить...

«В смерти моей никого не винить».

Август, 1958 *Георгий Иванов*

Г. АДАМОВИЧУ

На роковой стою очереди.
Тютчев

1

Верной дружбе глубокий поклон.
Ожиданье. Вокзал. Тулон.
Вот мы встретились:
— Здравствуйте — здрасьте!..
Эта встреча похожа на счастье,
На звезду на песчаном дне,
На звезду утонувшую в море.
— Но постойте, а как же горе?
Как же ужас, что дома ждет?
Как тоска, что в неравном споре
Победит и с ума сведет?
Это пауза, это антракт,
Оттого-то и бьется так
Всем надеждам несбывшимся в такт
Утомленное сердце мое.
Полу-явь, полу-забытье...

Как вы молоды! Может ли быть,
Чтобы старость играла в прятки,
Налагала любовно заплатки
На все то, что пришлось пережить, —

На страданий остатки — придатки,
На бессонных ночей отпечатки,
Будто не было их?
Не видны!..
И не видно совсем седины
В шелковисто-прямых волосах...
Удивленье похоже на страх. —
Как же так — через столько лет,
Значит правда времени нет?
И уводит девический след
Башмачков остроносых назад
Сквозь сегодняшне-завтрашний ад,
Прямо в молодость. В Летний Сад.

2

По аллее мы с вами идем
По аллее Летнего Сада
Ничего мне другого не надо —
Дом Искусств. Литераторов Дом.
Девятнадцать жасминовых лет,
Гордость Студии Гумилева
Николая Степановича.
— Но позвольте, позвольте. Нет.
Это кажется мне сгоряча.
Это выдумка. Это бред.
Мы не в Летнем Саду. Мы в Тулоне.
Мы стоим на тютчевском склоне,
Мы на тютчевской очереди
Роковой, — никого впереди.
Осторожно из-за угла
Наплывает лунная мгла.
Ничего уже не случится.
Жизнь прошла. Безвозвратно прошла.
Жизнь прошла. А молодость длится
Ваша молодость —
И моя.

Ирина Одоевцева

***

Здесь дом стоял. И тополь был. Ни дома,
Ни тополя. Но вдруг над головой
Я ощутил присутствие объема,
Что комнатою звался угловой.
В пустом пространстве делая отметки
Я мысленно ее воссоздаю.
Здесь дом стоял и тополь был, и ветки
Просовывались в комнату мою.
Вот там, вверху, скрипела половица
И лампа вбок была наклонена,
И вот сейчас выпархивает птица
Сквозь пустоту тогдашнего окна.
Прошли года, но мир пространства крепок,
И у пространства память так свежа,
Как будто там, вверху, воздушный слепок
Пропавшего навеки этажа.
Здесь новый дом построят непременно,
И может быть посадят тополь тут,
Но заново воздвигнутые стены
С моими стенами не совпадут.
Ничто не знает в мире постоянства.
У времени обрублены концы.
Есть только ширь бессмертного пространства,
Где мы и камни смертные жильцы.

***

Напротив, на стене, мои соседи
Висят в тяжелых рамах под стеклом.
Старуха вся закутанная в пледе,
За ней студент над письменным столом,
Поодаль — две скучающих девицы
Бессмысленно в стекло уткнулись лбом.
И через год мой каменный альбом
Откроется на этой же странице.

***

Еще рассвет. Еще туманный хаос.
Еще, передрассветно колыхаясь,
Деревья — еле видимые — в дымке
Похожи на рентгеновские снимки.
Еще рассвет. Но из туманных грядок
Весь город выпадает, как осадок,
Выходят, как из мутного раствора,
И памятник, и выступы собора,
И дом обозначается за домом.
Чтоб встать на небе каменным изломом,
Чтоб встать на небе четкой и упрямой
Извечной городской кардиограммой.

Иван Елагин

1

Так много есть прекрасного на свете:
Крыло орла, девическая грудь,
Кленовый лист, Риальто на рассвете,
Раздолье Волги, ландыш, млечный путь...

И вот еще: прыжок бегущей лани,
Глаза ребенка, парус на волне...
Ты видишь сам: не сосчитать названий,
Не перечислить ни тебе ни мне.

И всё-таки не легче ль жить на свете,
Когда ты знаешь, что везде кругом
Есть волны, клены, девушки и дети
И даже просто чей-то сад и дом?

Ты говоришь: всё это преходяще!
И ты неправ! Ведь будущей весной
Опять прыжок в зазеленелой чаще,
Опять подснежник свежий под ногой!

Наш мир в бреду. Он шепчет заклинанья,
Он душит всё, чем жизнь еще права.
Но в мире нет разрушенного зданья,
В котором бы не проросла трава.

2

Какая-то радость (но кто же
Из смертных ее назовет?)
Еще нам и сердце тревожит
И жизнь разлюбить не дает.

Откуда она сохранилась,
Свой луч затаила во мгле,
Последняя чистая милость
На нашей недоброй земле?

Созвездья ль в нее уронили
Свою потаенную пыль?
Пыльца ли в ней утренних лилий
С утраченной райской тропы?

И мы с безымянного детства
Своей неизбывной земли
Того золотого наследства
Истратить еще не смогли!

3

Мне страшно! Мы предоставлены
Почти что себе самим,
И нехотя водят ангелы
Нас всех по путям земным.

О, есть среди них чудесные,
Усерднее наших пчел,
Вот мой, например, что с песнею
Меня через жизнь провел.

Но больше таких, что ленятся,
А есть — отошли совсем
И бросили душу-пленницу
В добычу всему и всем.

Конечно, с них будет спрошено —
Догонит их Божий гнев,
Да только душа, что брошена,
Сгорит на земном огне.

Сама торопя с развязкою,
Чтоб боль оборвать в груди...
Мне страшно! Мой верный, ласковый,
Мой светлый, не отходи!

4

Не камешком в мозаиках Равенны,
Не багрецом на фресках Ватикана —
Была я лишь клочком веселой пены
На голубых просторах океана.

Но я навстречу парусу взлетела,
С прибрежным рифом, ускользая, билась,
Я смуглой девушки ласкала тело
И в золотой песок, устав, зарылась.

Мой быстрый путь ничем не обозначен,
Моя судьба — случайна и мгновенна,
Но я была счастливей и богаче
Чем все гробницы и дворцы вселенной.

5

Жизнь незаметно, с каждым днем,
Мне всё становится нужнее.
Мы так давно уже вдвоем,
А вот впервой не скучно с нею.

Так в детстве смотришь, не дивясь,
На статуэтку на камине,
И сердца не волнует вязь
Ее давно знакомых линий,

А после как-нибудь возьмешь,
И разглядишь ее прилежней,
И подпись Мастера найдешь,
Которой не заметил прежде.

И вот особое с тех пор
Ты видишь в ней очарованье,
И для тебя ее фарфор —
Сладчайшей плоти трепетанье.

Как драгоценнейший цветок
Ее хранишь ты и лелеешь
И мыслишь: как я только мог
Всегда не любоваться ею!

1958 *Д. Кленовский*

СЦЕНА У ФОНТАНА

Налево, направо — шагай без разбора,
Столетья считай находу,
Сирень наступает на башни Самбора,
Ночь музыкой бродит в саду.
Ты именем бредишь, ты памятью болен,
Парчей откидных рукавов,
Серебряной шпорой и тем, что не волен
Бежать от любви и стихов.
Как дробь барабана на гулком паркете
В камнях самоцветных каблук, —
Мазурка до хрипа, до смерти, и эти
Признанья летающих рук...
Не надо, не надо, — я знаю заране —
Измена в аллее пустой, —
Струя как змея в говорливом фонтане
Блестит чешуей золотой.
Ночь музыкой душит, — и петли и трубы,
И в черных лучах соловьи,
Дай сердце, Марина, дай жаркие губы,
Дай легкие руки твои.
Сад гибелью дышит, — не даром мне снится
Под бархатной маской змея, —
Марина, Марина, Марина, царица,
Марина, царица моя.

Вл. Корвин-Пиотровский

ПОБЕДА ПАСТЕРНАКА

Роман «Доктор Живаго» стал международным событием. По распространенности и мировому эху он опередил многие «бестселлеры». Стал «бестселлером» сам. Но в этом шуме, на мой взгляд, есть какое-то недоразумение. «Доктор Живаго» мало подходящ, чтобы стать наиболее ходовой и лучше всех продающейся книгой. Он слишком уединен, лично-искренен, целомудрен (как исповедь) и слишком сложно-музыкален для того чтобы стать предметом ширпотреба. Между основной темой романа — простыми и нужными, как хлеб и вода, словами — и всей его рекламой есть какая-то разница планов, как между простотой Нагорной проповеди и великолепием торжественного богослужения с прелатами в пурпурных мантиях. Роману Пастернака этот мировой шум не к лицу.

Московская печать (и «Правда», и «Литературная газета») утверждают, что шум вокруг романа Пастернака — «чисто политическая акция». Это, конечно, в основном неверно, хотя в этом шуме и есть совершенно законные политические мотивы. Ведь шум вокруг «Доктора Живаго», это как бы всеобщее пожатье — всем свободным Западом — руки русского писателя, совершившего чудо написания в полицейском тоталитарном государстве духовно высокой и совершенно свободной книги. Книги философски противостоящей всему убожеству мировоззрения «изрытых оспой калигул».

По прочтении книги мое ощущение было необычно. Я не могу вспомнить фабулу, не помню географии романа, имен его действующих лиц, их характеры, поступки. Как будто я ничего не помню. И только чувствую радостное душевное волнение. Но волненье порядка даже не литературного, а скорее музыкального. Словно «Доктор Живаго» оказался для меня какой-то литургической симфонией.

В электрически-мертвенном небе современной литературы «Доктор Живаго» представляется мне настоящей небесной звездой. Для литературы тоталитарных стран он просто как живая вода настоящего большого искусства. Для литературы же Запада, на ее широчайшем комфортабельном шоссе он, как предостерегающий сигнал во избежание катастрофы в

бездушном тупике современной литературы. «Доктор Живаго» это поворот к большим человеческим чувствам, к их воскрешению, если это еще возможно.

Роман Пастернака — нужное и глубокое раздумье о мире. Но прежде чем говорить о его теме, я хочу сказать несколько слов о фоне, на котором эта тема дана. По-моему, именно нам — свободным русским — об этом романе надо писать и говорить, потому что, в сущности, роман Пастернака непереводим. На иностранном языке он полностью непередаваем. Переводы его всегда будут только «бледным заревом», по которому читатель никогда не узнает «жизни гибельной пожар». Почувствовать этот «пожар» могут только русские. Это, конечно, совершенно законно при переводе любого произведения, сложного по своему словесному мастерству и тонкого в своей образности. Переводы «Доктора Живаго» передают его главные магистрали. Мировоззрение. Да и то у Пастернака эти философские магистрали неизбежно оголяются, становясь схемами, ибо заключены в форму тонкой художественной прозы. Ведь этот роман затоплен такой изобразительностью русского слова и подчас такой словесной игрой и как будто бы мелочами, которые понять, оценить, естественно, может только тот для кого русский язык — язык матери и Россия — родина. Русским открывается весь этот роман, все его половодье.

Я возьму самые мелкие примеры.

Ну, вот у Пастернака — хлеб. «Хлеб был обливной с лопающейся по бокам вкусной горбушкой и толстой великолепно пропеченной нижней коркой, со впекшимися в нее маленькими угольками». Но ведь это же русский и только русский, больше того, русский крестьянский, деревенский хлеб. И тот кто не ел эту лопающуюся горбушку с впекшимися в нее маленькими угольками, — тот этого пастернаковского хлеба «не поймет и не оценит». А тот кто ел его где-нибудь на деревенском огороде, иль зимой в крестьянской избе, у того эта горбушка вызовет множество ассоциаций, как деталь внезапно рождающая общую музыку русской деревни. Или вот — весна. «Погода перемогалась. «Как-кап-кап» долбили капли по железу водосточных труб и карнизов. Крыша перестукивалась с крышей, как весной. Была оттепель.» Но ведь это же городская русская весна с капе́лью по железным крышам. И она опять-таки у русского вызовет музыку только ему понятных и только им пережитых чувств.

Или вот ребятишки во время революции, в давке железнодорожной станции, в толпе ждущей поезда. «Задрав рубашенки, под ногами шмыгали их младшие розовозадые братишки и сестренки». Чтоб увидеть их в романе, этих розовозадых братишек и сестренок, их надо было видеть и знать в натуре. А вот — жеребёнок. «Когда жеребёнок отставал, кобыла останавливалась и поджидала его. Он плавно нагонял ее волнообразными, плещущими скачками. Неумелым шагом длинных сближенных ног он подходил сбоку к телеге и просунув крошечную головку на длинной шее за оглоблю, сосал матку». Это тоже во всей своей музыке очень русский рисунок с крестьянским жеребенком. У того, кто не знает русской деревни, этот рисунок никогда не вызовет того короткого удара художественного умиления, которое он вызовет у русского, знающего свою деревню. Или вот они, русские дореволюционные уголовники, шагающие по российскому большаку. «Шагали в ногу, все разом позвякивая железом накандальников, пропавшие, отчаянные головушки, страшные, как молнии небесные». Это тоже, конечно, вовсе — как говаривал еще Михаил Бакунин — «не уголовные типы из лондонских переулков», эти люди — страшные, как молнии небесные. Их надо было видеть на русских больших дорогах.

А вот весенний воздух России. «В растворенную форточку тянуло весенним воздухом, отзывавшимся свеже надкушенной французской булкой». Ну, где же тут перевести и эту форточку, и этот воздух отзывавшийся свеже надкушенной французской булкой! Или вот московская зима с снегопадом. «Крупные мохнатые хлопья падали ленясь и невдалеке от земли как бы еще задерживались, словно колеблясь ложиться им на землю или нет. Когда из переулка вышли на Арбат, немного посветлело. Снегопад завешивал улицу до полу своим белым сползающим пологом, бахромчатые концы которого болтались и путались в ногах у пешеходов так, что пропадало ощущение движения и им казалось, что они топчутся на месте». Эти снежные образы, поданные мастерской рукой Пастернака, конечно, вызовут в душе русского читателя нужный резонанс. Я уж не говорю о предельно прекрасной передаче православного богослужения. Вот из описания похорон зимой. «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный — тихим веянием проволакивается по переулку и остается в нем, как будто провели мягким страусовым пером по воздуху и всё качается: венки и встречные, головы лошадей с султана-

ми, отлетающее кадило на цепочке в руке священника, белая земля под ногами».

Но я прерываю показ художественно непереводимых, а потому и не могущих дойти до иностранца мелочей. Почему я о них говорю? Может быть это не так уж важно? Нет, в данном случае это очень важно потому, что роман Пастернака, это в большой мере — **роман деталей.** Не острой линией развития действия, развития событий уводит вас Пастернак. Одна из художественных сил его романа — сила деталей. На них, на этой образности, на этом русском слове стоит весь роман. Он полон ими, как река в ледоход полна снежным салом. И без ощущения их читатель не увидит всё полотно романа. Но непереводимость романа, разумеется, не только в этих мелочах. Непереводима и вся его словесная музыка, весь ритм его русской речи, вся ее оркестровка. Художественная проза Пастернака может дойти только всем строем своих звуков — музыкой всего сердца. Но что такое — музыка сердца? Может быть это какая-нибудь старомодная, пошлая аллегория? Нет, это в литературе — реально существующее. Это и есть талант, гений, вдохновение мастера.

Многие из читателей говорят, что в романе нет живых людей, что все они схематичны, что у них нет лиц, телесного облика, что неизвестно даже какого цвета у них глаза и какая походка. Это совершенно верно. Схематичность лиц — налицо. В «Докторе Живаго» нет ни пляшущей русскую Наташи Ростовой, ни потрясающей сцены в Мокром с Митей и Грушенькой, ни Анны с Вронским на скачках. В романе Пастернака нет художественной портретности лиц, нет пластичности их изображения. Но этот упрек Пастернаку не очень законен только потому, что его роман ведь не реалистический, несмотря на всю изобразительную яркость его деталей. Реализм — это не путь Бориса Пастернака. И требование портретности в изображении лиц так же не подходяще к Пастернаку, как если бы мы глядя на портреты Ван Гога и Сезанна жалели о том, что в них нет «отчетливости» великих итальянцев эпохи Возрождения. Можно жалеть об этом или радоваться этому, но Пастернак мог написать только свой, пастернаковский роман.

Но в «Докторе Живаго» нет не только пластичности изображаемых лиц. В нем нет и логического развития действия, нет подчиненности действующих лиц логике событий. В этом романе всем управляет **немотивированность действий.** И мне думается, что она чрезвычайно характерна для Пастернака

вообще и органична его творческой природе так же, как людям дается цвет глаз, родимые пятна и сугубая оригинальность рисунка отпечатка пальцев.

Все читавшие роман помнят, например, сцену на поле сражения первой мировой войны, когда вопреки всякой логике как deus ex machina, вдруг появляются и сталкиваются в странной коллизии — ужасов войны — пять действующих лиц: Гамазетдин, его сын Галиулин, Ларисса, Живаго и Гордон. Читатель с полной очевидностью видит, что это столкновение совершенно не нужно действующим лицам, а произошло оно только потому, что для чего-то понадобилось автору. Пастернак этого и не скрывает. Эту свою своевольную немотивированность сцены он вынужден даже объяснить: «Скончавшийся изуродованный был рядовой запаса Гамазетдин, кричавший в лесу офицер — его сын, подпоручик Галиулин, сестра была Лара, Гордон и Живаго свидетели, все они были вместе, были рядом, и одни не узнали друг друга, другие не знали никогда, и одно осталось навсегда неустановленным, другое стало ждать обнаружения до следующего случая, до новой встречи».

Таких немотивированных сцен, невероятных совпадений, неестественных положений, схематизаций и даже мелодраматических коллизий, напоминающих старинные французские романы, в «Докторе Живаго» сколько угодно. По-моему их даже больше, чем сцен полностью мотивированных. В романе Пастернака всё поднято в иной, как бы здешний и нездешний, план бытия. Все будто происходит и в Москве, и на фронте, и на Урале, и в русской провинции, и в то же время всё это происходит как будто даже и не на земле. Всё здешнее и нездешнее, полуземное и полупотустороннее, словно действие романа идет где-то над землей, совсем вблизи от нее и всё-таки не в трехмерном измерении. Это не события, не описания, не данность их, не их арифметика, а скорее их алгебра, их символика, попытка высказаться о глубокой сущности явлений, о которой высказаться всё же не дано.

Несмотря на изумительную яркость всех, казалось бы, совершенно земных деталей, эта абстрактность романа развивается сильнее всего в его главной теме — любви и религиозного отношения к миру. В сценах любви Лариссы и Живаго, Пастернак говорит: «Их разговоры вполголоса, даже самые пустые, были полны значения, как Платоновы диалоги... Им обоим было одинаково немило все фатально типическое в современном человеке, его заученная восторженность, крик-

ливая приподнятость и та смертная бескрылость, которую так старательно распространяли неисчислимые работники наук и искусств для того, чтобы гениальность продолжала оставаться большой редкостью». — «Они любили друг друга не из неизбежности, не «опаленные страстью», как это ложно изображают. Они любили друг друга потому, что так хотели все кругом: земля под ними, небо над их головами, облака и деревья. Их любовь нравилась окружающим еще может быть больше, чем им самим. Незнакомым на улице, выстраивающимся на прогулке далям, комнатам, в которых они селились и встречались. Ах, вот это, это ведь и было главным, что их роднило и объединяло! Никогда, никогда даже в минуты самого дарственного, беспамятного счастья не покидало их самое высокое и захватывающее: наслаждение общей лепкою мира, чувство отнесенности их самих ко всей картине, ощущение принадлежности к красоте всего зрелища, ко всей вселенной...»

Коснувшись темы любви Лариссы и Живаго, я позволю себе высказать одну догадку, которая во мне, как уверенность. Я думаю, что в образе Лариссы — многое дано от Марины Цветаевой, любившей Пастернака, как художника и человека. Цветаева также начисто, как и он, отрицала быт и всю, так называемую, жизненную реальность. В одном из писем ко мне Цветаева писала: «если что и люблю здесь — то отражения (если принимать их за сущность, получается: искажения)». И дальше: — «...плоть, это то, что я **отрясаю!»** Во многом, что говорит Ларисса Юрию слышны мысли и даже интонации Цветаевой. «Дар любви, как всякий другой дар. Он может быть велик, но без благословения он не проявится. А нас точно научили целоваться на небе и потом детьми послали жить в одно время, чтобы друг на друге проверить эту способность. Какой-то венец совместности, ни сторон, ни степеней, ни высокого, ни низкого, равноценность всего существа, всё доставляет радость, всё стало душою. Но в этой дикой, ежеминутно подстерегающей нежности есть что-то по-детски неукрашенное, недозволенное. Это своевольная разрушительная стихия, враждебная покою в душе. Мой долг бояться и не доверять ей». Такая Ларисса это, конечно, — Марина Цветаева. И еще сильней выражена эта цветаевская линия любви в потрясающем «плаче» Лариссы над мертвым Живаго.

В главной теме романа Пастернака много того, что на поэтическом и религиозном языке называется несказанным. Поэтому этот роман и воздействует на читателя не столько

очевидностью своей «фактуры», как тем волнующим музыкально-духовным напряжением, которое почти невысказываемо и неразъяснимо, как неразъяснимо притяжение всякой красоты.

И именно потому, что роман Пастернака в какой-то мере абстрактен, поведение многих его действующих лиц и многие сцены кажутся странны и противны законам честной логики. Но в том то и сила большого таланта, что он побеждает восстания обыденной логики, и, подчинив себе восстающих, докажет им до чего прекрасно это путешествие только с фантазией художника как путеводителем. Прекрасное не только может победить логику, но может и заменить ее.

Очень интересно, что в этом романе устами Юрия Живаго Пастернак сам говорит о том, **как** он хотел бы писать. И представьте себе, он не хотел бы писать так, как он написал этот свой роман. Он хотел бы его написать именно так, как писали наши большие реалисты. Хотел. И не смог. Пастернак говорит: «Всю жизнь мечтал он об оригинальности сглаженной и приглушенной, внешне неузнаваемой и скрытой под покровом общеупотребительной и привычной формы, всю жизнь стремился к выработке того сдержанного, непритязательного слога, при котором читатель и слушатель овладевают содержанием, сами не замечая, каким способом они его усваивают. Всю жизнь он заботился о незаметном стиле, не привлекающем ничьего внимания, и приходил в ужас от того, как он далек от этого идеала...» Эту тягу к последней великой простоте в искусстве Пастернак еще сильнее подчеркивает в своей недавно вышедшей заграницей «Автобиографии». Пастернак пишет в ней: — «Слух у меня тогда (в 1917 году **Р.Г.**) был испорчен выкрутасами и ломкой всего привычного, царившего кругом. Все нормально сказанное отскакивало от меня. Я забывал, что слова сами по себе могут что-то заключать и значить, помимо побрякушек, которыми они увешены... Я не люблю, — пишет Пастернак, — своего стиля до 1940 года... Мне чужд общий тогдашний распад формы, оскудение мысли, засоренный и неровный слог...» И вот на склоне жизни зрелый мастер Пастернак своей последней любовью тянется к кому? Отвернувшись от символистов и Маяковского, Пастернак тянется к Пушкину и Чехову. Он об этом говорит.

Но отказавшись от многого чем, как художник, Пастернак долго жил, достиг ли он той простоты формы, когда ее не чувствуют и не замечают, будто ее вовсе и нет? Нет, Пастернак не достиг этой простоты, которая была у Льва Толстого, Пушкина, Чехова. Как художник он несет в себе совершенно

иную традицию русской литературы. Тяжелые доспехи «серебряного века», как бы не освобождался от них Пастернак, остались в романе «Доктор Живаго». Сбросить их Пастернаку не удалось. И это кладет формальный рубеж меж его прозой и прозой классиков, с которой он смыкается только в плане больших человеческих исканий, в плане общего духовного направления. В смысле же формы «Доктор Живаго» остается ближе к Андрею Белому, чем к Пушкину.

Но определение этого романа «с точки зрения литературного жанра» меня сейчас не интересует, ибо роман Пастернака по-моему больше чем «литература» (в блоковском смысле — «был он только литератор модный»), как молитва всегда выше литературы. Для меня «Доктор Живаго» это — **роман-проповедь.** Отсюда и многие особенности этого замечательного произведения.

Большое отличие «Доктора Живаго» от романов нашей классической литературы и в том, что роман Пастернака не полифоничен, не многоголос, как романы Льва Толстого и уж особенно Достоевского. «Доктор Живаго» предельно одноголосый роман. Он как ария идущая под акомпанимент хора и большого оркестра, которую сквозь музыку и хор поет только солист. Ведь во всех действующих лицах — и в Николае Николаевиче, и в Живаго, и в Антипове, и в Лариссе, и в Александре Александровиче, и в Тоне, и в Симе и даже в купчихе Галузиной — везде голос автора, голос Пастернака. Да иначе и не могло бы быть в этом романе-проповеди.

Все действующие лица у Пастернака только как широкая сеть проводов, чтобы пустить по ним ток **своей** мысли, **своей** философии, **своей** интуиции, **своего** восприятия мира и зажечь над собой тот негасимый свет, ради чего и пишется роман. В «Докторе Живаго» никак не противопоставишь одного другому, как Вронского — Левину, Рогожина — Мышкину, Митю Карамазова — Ивану, Анну — Китти, Болконского — Пьеру. Везде — одна музыкальная тема автора, варьяции которой исполняет множество лиц.

Но что же проповедует Пастернак? В стихотворении «Борис Пастернак» Анна Ахматова сказала о нем очень верно. «Он награжден каким-то вечным детством». В противоположность тем же **мужам,** тем же гигантам мировой литературы, Льву Толстому и Достоевскому, в Пастернаке ничего нет от их мужественности. Даже почти семидесятилетний Пастернак глядит на мир, как удивленный миру ребенок. И именно тут его как будто слабость, а на деле большая сила.

Пастернак не проповедует никаких философских «систем и концепций». О занятиях чистой философией одно из действующих лиц романа остроумно говорит: «Я не люблю сочинений, посвященных целиком философии. По-моему философия должна быть скупой приправой к искусству и жизни. Заниматься ею одной так же странно, как есть один хрен». И подход Пастернака к миру предельно прост: он удивлен прелести цветущей и страдающей земли. Этот духовидец удивлен всему: и рукам любимой женщины, и цветам, и ребенку, и животным, и встречному человеку, и прекрасной свето-тени, и шуму большого вечернего города, и древнему хаосу природы, в которой он особенно любит ее бури и грозы, то первичное, что по-немецки хорошо называется das Elementare. При чем взгляд Пастернака настолько свеж, словно это его первый день прозрения. Словно он только что увидел всю эту непонятную и трагическую и божественную жизнь. И в этой первичности своего прозрения Пастернак как бы говорит людям: смените ваш быт на бытие! Бытийствуйте, а не бытуйте! Ведь если бы вы только поняли, что **вы живёте,** и притом очень коротко и только раз, если б, поняв это, вы ежеминутно это ощущали, — всё бы ведь мгновенно изменилось, произошла бы революция «небесных птиц» и «водяных лилий». Для меня это жизнеощущение Пастернака наполняет необычайной прелестью весь роман. Любившая Пастернака и всегда любившая гиперболу Марина Цветаева вероятно сказала бы, что Пастернак видит мир, как ребенок, как философ, как поэт и как Бог.

Этот взгляд Пастернака на мир — как пропасть между ним и всей советской литературой, всем этим Союзом Советских Писателей, которые после кастрации их Сталиным превратились в натуралистов и ничему уж не удивляются и удивиться не могут. После сталинской операции они чувствуют себя даже комфортабельно в своем обывательском материализме (но далеко не наивном!).

При всей непохожести на Льва Толстого Пастернак под конец своей жизни может быть ближе всего подошел всё-таки к жизненной мудрости этого человека. Но в то время как Толстой к старости отрекся от искусства, сказав о его тщете и пустоте самые жестокие слова, Пастернак в своем жизненном призвании до конца остается только художником. Пусть «Доктор Живаго» во многом вдохновлен Евангелием, пусть этой мудрой простотой загрунтован весь фон романа, но всё же и на землю, и на Россию, и на ее события, и на людей,

и на их чувства, и на природу, и на войну, и на всю повседневность Пастернак глядит не с земли, а с другой планеты. С планеты искусства. И оттуда он изумительно видит наши дела и дни.

И когда я думаю почему современные властители России, все эти Хрущевы, не могут опубликовать эту книгу внутри страны, я понимаю, что резоны у них очень серьезны, что и подтвердил в беседе по телевидению не сильно грамотный министр культуры Советского Союза Михайлов. Они не могут этого сделать потому, что о жизни и человеке, революции и марксизме, политике правящей партии, коллективизации, религии, о Христе, об «изрытых оспой калигулах» и о многом другом автор говорит языком человека из другого духовного мира. Не могут и потому, что автор говорит обо всем этом с такой художественной силой и такой духовной заразительностью, что в атмосфере плоского и вульгарного мировоззрения, одобренного «партией и правительством», взгляды доктора Живаго были бы равносильны попытке взрыва этого мировоззрения. И это еще не всё. Они не могут и потому опубликовать «Доктора Живаго», что появление такой книги по детонации вызовет некий цепной психологический взрыв в умах и душах советских писателей. Неминуемо должна будет родиться неодолимая зависть к той настоящей творческой свободе, которую в своем романе осуществил Пастернак. Родилась бы страшная тяга — тоже перелететь из мира литературных фотографий и пропагандной лжи на ту планету искусства, куда первым спутником отправился Пастернак. Только подняться на эту высоту Пастернаку вместе с его органической верностью искусству помогло ведь и что-то иное. На крыльях холопа на планету искусства не улетишь. Не долетишь. Что же помогло Пастернаку? Судя по роману, ему помогло горячо-почувствованное им христианство. Именно оно-то и вырастило у него крылья для такого полета. Оно-то и осуществило его внутреннюю свободу, ибо «чистое искусство» для подъема и полета не дает крыльев такой мощности. Освободиться же от чудовищной спресованности тоталитарным государством, встать, выпрямиться и подняться в стратосферу настоящего искусства Пастернаку помогло Евангелие.

Когда представишь себе, что этот роман в течение лет писался не где-нибудь в сен-жерменском предместье Парижа, в лондонском Челси, в Нью Иорке на берегу Ист Ривер, а в сталинской и хрущевской Москве, где художник жил под всем

давлением пресса полицейского сверхгосударства, становится непонятно, как Пастернак это выдержал? Как в пробковой государственной камере, величиной в одну шестую мира, при полном отсутствии кислорода свободы он создал произведение зовущее именно к настоящей свободе?

В этой «немой борьбе» за право сказать, за право **высказаться** Пастернака поддержало то, что в течение тысячелетий поддерживало множества людей, ставя их вне досягаемости каким бы то ни было страхом. Думаю, что Пастернак в послевоенные годы достиг берегов именно этой земли бесстрашия. И она дала ему наконец свободу высказаться так, как он хотел. В этом — **победа** Пастернака над Советским Союзом, над шигалевщиной Ленина и Сталина, над всеми этими пятилетками и семилетними планами, индустриализациями, коллективизациями, системой принудительного труда, обожествлением годовой выплавки чугуна и стали, над всей чудовищностью попытки создания планетарного скотного двора вместо человеческого общества.

Но эта победа Пастернака превращается не только в его личную борьбу и победу. Это победа человека над массой, победа слова личности, логоса, над мычаньем коллектива. В мертвечине тоталитаризма, где власть оснащена всем бездушным великолепием чудес современной техники, подкрепленным миллионной полицейской армией и миллионной же армией сексотов, в этом довольно страшном мире вдруг появляется человек. Один одинешенек. Кто он? Поэт. Человек пожилой, почти старый. Вероятно хрупкий здоровьем. Вероятно, неврастеник. И этот один человек в течение лет в этом мире пишет книгу. Всего одну книгу. На своем довольно бедном столе. И создает произведение такой взрывчатой силы, что власть всего этого сверхгосударства перед ним оказывается бессильной и, если хотите, побежденной потому, что эта тупая и слепая власть, сама не знающая куда она идет и куда ведет за собой людей, **не может** опубликовать эту книгу. Почему? Да потому, что Пастернак говорит о самом опасном, о самом человеческом: «Какое счастье работать на себя и семью с зари до зари, сооружать кров, возделывать землю в заботе о пропитании и создавать свой мир... подражая творцу в сотворении вселенной...» — «Я сказал бы, что человек состоит из двух частей: из Бога и работы». — «Принадлежность к типу есть конец человека, его осужденье. Если его не подо что подвести, если он не показателен, половина требующегося от него налицо. Он свободен от себя, крупица

бессмертия достигнута им». — «Вот весенний вечер на дворе... Воздух весь размечен звуками. Голоса играющих детей разбросаны в местах разной дальности, как бы в знак того, что пространство все насквозь живое. И эта даль — Россия...» — «О, как сладко существовать! Как сладко жить на свете и любить жизнь! О, она всегда тянет сказать спасибо самой жизни, самому существованию, сказать это им самим в лицо!»

Как это полярно-чуждо всему идиотизму ленинизма с одной стороны и как далеко от взглядов, например, экзистенциального нигилизма Сартра, живущих в кругах интеллектуалов на Западе. Недавно один из умнейших и блестящих французов писал: «Я никогда этого не приму. Я не унижусь до того, чтобы искать в ней (в любви к людям **Р. Г.**) облегчения, к которому моя слабость толкает меня... Вокруг меня только пустые горизонты и зеркало, которое вселяет в меня отчаянье...» А Пастернак пишет: «Чистота белья, чистота комнат, чистота их очертаний сливаясь с чистотой ночи, снега, звезд и месяца в одну равнозначную, сквозь сердце пропущенную волну, заставляли его ликовать и плакать от чувства торжествующей чистоты существования... Господи! Господи! — готов был шептать он — И все это мне! За что мне так много? Как подпустил ты меня к себе, как дал забрести на эту бесценную твою землю, под твои звезды...»

Это и есть проповедь Пастернака — проповедь о нашем бытии, как чуде.

Кой-кто в эмиграции с удовольствием признал роман Пастернака «контр-революционным». Но мне думается, что понятия «революционности» и «контрреволюционности» никак не измеряют этот роман. Он вне этих измерений. А уж если употреблять эти термины, то я думаю, что «Доктор Живаго» очень революционен, как революционен христианский подход к миру, всегда сталкивающийся с неправдой и пошлостью людского быта.

«Погодите, я сам скажу, что я думаю, — говорит в романе сложивший с себя сан священника Николай Николаевич. — Я думаю, что если бы дремлющего в человеке зверя можно было остановить угрозой, все равно, каталажки или загробного воздаяния, высшею эмблемой человечества был бы цирковой укротитель с хлыстом, а не жертвующий собой проповедник. Но в том-то и дело, что человека столетиями поднимала над животным и уносила ввысь не палка, а музыка: неотразимость безудержной истины, притягательность ее примера. До сих пор считалось, что самое главное, важное в

Евангелии, нравственные изречения и правила, заключенные в заповедях, а для меня самое главное то, что Христос говорит притчами из быта, поясняя истину светом повседневности. В основе этого лежит мысль, что общение между смертными бессмертно и что жизнь символична, потому что она значительна...» И тот же Николай Николаевич Веденяпин дальше говорит: — «Всякая стадность — прибежище неодаренности, все равно верность ли это Соловьеву, или Канту, или Марксу. Истину ищут только одиночки и порывают со всеми, кто любит ее недостаточно. Есть ли что-нибудь на свете, что заслуживало бы верности? Таких вещей очень мало. Я думаю надо быть верным бессмертию, этому другому имени жизни, немного усиленному... надо быть верным Христу! Ах, вы морщитесь, несчастный! Опять вы ничегошеньки не поняли... Сейчас я объясню. Вы не понимаете, что можно быть атеистом, можно не знать, есть ли Бог и для чего он, и в то же время знать, что человек живет не в природе, а в истории, что в нынешнем понимании она основана Христом, что Евангелие есть ее обоснование... Для этих открытий требуется духовное оборудование. Данные для него содержатся в Евангелии. Вот они. Это, во-первых, любовь к ближнему, этот высший вид живой энергии, переполняющий сердце человека и требующий выхода и расточения, и затем, это главное, составные части современного человека, без которых он не мыслим, а именно — идея свободной личности и идея жизни, как жертвы. Имейте в виду, что это до сих пор чрезвычайно ново...»

Такое чувствование жизни Пастернаком и создает силу его романа. Этим романом Пастернак смыкается со всем духовно-великим, что есть в иностранной и русской литературе. И эта выполненная Пастернаком задача — новое возвращение русской литературы в лоно мировой — тоже одна из его побед. Пастернак победил сорокалетие немоты советской литературы. И мне представляется международно важным и нас во многом оправдывающим, что не на свободном Западе, а в закабаленной, страдающей России раздались эти человечные слова. Хорошо, что здесь на Западе они услышаны. В этом смысле интересен отзыв одной канадской газеты «Ванкувер Стар»: «мы на Западе ежечасно и повсеместно слышим напыщенные рассуждения о духовной жизни человека, о свободе, о Боге, о Христе. Все эти идеалы запрещены в коммунистических странах, и опошлены на демократическом Западе. Факт, что они вспыхнули новым светом в творчестве оди-

нокого советского поэта, должен пристыдить нас и напомнить нам о наших обязанностях».

В общее мироощущение Пастернака органически вращена и его изобразительная манера. Манера, очеловечивающая видимый им мир. Эта манера — только производное от мироощущения поэта. Юрий Живаго и Борис Пастернак живут в мире, где «каждый родится Фаустом, чтобы всё обнять, всё испытать, всё выразить», и где всё неразрывно, органически срощено — и «дорогая сердцу парадная лестница», и железные крыши московских домов, и люди, и дикая буря, и засвистевший паровоз, и водопад, и заснеженная рябина с насевшими на нее снегирями и иванцами, и метель, и корова, и звезды — всё это один любимый и древний мир.

«Ночью Юру разбудил стук в окно. Темная келья была сверхъестественно озарена белым порхающим светом. Юра в одной рубашке подбежал к окну и прижался лицом к холодному стеклу. За окном не было ни дороги, ни кладбища, ни огорода. На дворе бушевала вьюга, воздух дымился снегом. Можно было подумать, будто буря заметила Юру и сознавая, как она страшна, наслаждается производимым на него впечатлением. Она свистала и завывала и всеми способами старалась привлечь Юрино внимание... Вьюга была одна на свете, ничто с ней не соперничало...» И та же связь, как у Юры с бурей, у заснеженной рябины с птицами, на которую они налетели. «Какая-то живая близость заводилась между птицами и деревом. Точно рябина всё это видела, долго упрямилась, а потом сдавалась и сжалившись над птицами уступала, расстегивалась... и давала им грудь, как мамка младенцу. «Что, мол, с вами поделаешь. Ну, ешьте, ешьте меня. Кормитесь...» И та же благодатная мировая связь у коровы и звезд. «Пахло всеми цветами на свете, словно, земля днем лежала без памяти и теперь этими запахами приходила в сознание. А из векового графининого сада, засоренного сучьями валежника, так что он стал непроходим, заплывало во весь рост деревьев огромное, как стена большого здания, трущобно пыльное благоуханье старой зацветающей липы... корова то сердито мотала головой из стороны в сторону, то вытянув шею мычала надрывно и жалобно, а за черными сараями мерцали звезды, и от них к корове протягивались нити невидимого сочувствия, словно то были скотные дворы других миров, где ее жалели...» А вот жена Юрия Живаго, Тоня,

рожает ему в больнице сына. Это описание родов кажется мне одним из лучших мест романа. Но эти роды, конечно, совершенно непохожи на роды Китти в «Анне Карениной». В родах Тони, сравниваемой Пастернаком с причалившей баркой, есть что-то не человеческое только, а обще-тварное, общеживотное. Этот божественный акт подан Пастернаком гораздо ближе к тому, как жеребится кобыла и телится корова, чем к родам Китти. И это — в общем тоне пастернаковского мироощущения. «Поднятая к потолку выше чем это бывает с обыкновенными смертными, Тоня тонула в парах выстраданного, она как бы дымилась от изнеможенья. Тоня возвышалась посреди палаты, как высилась бы среди бухты только что причаленная и разгруженная барка, совершающая переходы через море смерти к материку жизни с новыми душами, переселяющимися сюда неведомо откуда. Она только что произвела высадку одной такой души и теперь лежала на якоре, отдыхая всей пустотой своих облегченных боков. Вместе с ней отдыхали ее надломленные и натруженные снасти и обшивка и ее забвение, ее угасшая память о том, где она недавно была, что переплыла и как причалила. И так как никто не знал географии страны, под флагом которой она пришвартовалась, было неизвестно, на каком языке обратиться к ней...» А вот Юрий Живаго в осеннем лесу. «Осень пахла этим горьким коричневым листом и еще множеством других приправ. Юрий Андреич с жадностью вдыхал сложную пряность моченого яблока, горькой суши, сладкой сырости и синего сентябрьского угара, напоминающего горелые пары обданного водою костра и свежезалитого пожара...»

В противоположность многим замечательным русским мастерам внешнего пейзажа, природа у Пастернака никогда не описана извне. Она подана Пастернаком как-то из своего собственного нутра, как будто вся она отражена только в нем, в Пастернаке, в его двух зрачках, в одной его запрокинувшейся в мир душе. Мне думается, что увлечен «Доктором Живаго» будет только тот читатель, кто как бы конгениален автору именно в этой его любви к миру и ко всякой в нем твари. Тут весь гипноз романа, вся его магия.

Как же при таком мироощущении Пастернак относится к революции? Как он о ней пишет? Где его место? На события русской революции Пастернак глядит теми же глазами художника и человека в тревоге. То, что в революциях было

истинно всегда (хлеб голодному, право бесправному, свобода несвободному) истинно и для него. То, что в революциях всегда было ложно, как спекуляция этими истинами, — ложно и для него. Живаго не может полностью примкнуть ни к какому стану. Меж красными и белыми он один. «Хотелось крикнуть, — говорит Пастернак о Живаго, — и мальчику (белому гимназисту-воину **Р. Г.**) и людям в вагоне (большевикам **Р. Г.**), что спасение не в верности формам, а в освобождении от них». Это стояние между двумя борющимися станами для большого художника положение совершенно естественное, ибо действительность никогда не бывает правдой большого художника. Мне могут сказать: а Гумилев, а Маяковский? Но вспомним лучше о судьбах в революции Блока, Цветаевой, Волошина, Клюева, Есенина, Белого, Мандельштама. На эту тему у Вячеслава Иванова есть прекрасное стихотворение времен гражданской войны: «Когда ж противники увидят — С двух берегов одной реки — Что так друг друга ненавидят — Как ненавидят двойники».

«Марксизм и наука? — говорит Живаго встреченному им большевику Самдевятову. — Спорить об этом с человеком малознакомым по меньшей мере неосмотрительно. Но куда ни шло. Марксизм слишком плохо владеет собой, чтобы быть наукой. Науки бывают уравновешеннее. Марксизм и объективность? Я не знаю течения более обособленного, обособившегося в себе и далекого от фактов, чем марксизм. Каждый озабочен проверкой себя на опыте, а люди власти ради басни о собственной непогрешимости всеми силами отворачиваются от правды. Политика ничего не говорит мне. Я не люблю людей безразличных к истине». — «Выяснилось, — говорит Живаго Лариссе — что для вдохновителей революции суматоха перемен и перестановок единственная родная стихия, что их хлебом не корми, а подай им что-нибудь в масштабе земного шара. Построения миров, переходные периоды, это их самоцель. Ничему другому они не учились, ничего не умеют. А вы знаете откуда суета этих вечных приготовлений? От отсутствия определенных готовых способностей, от неодаренности. Человек рождается жить, а не готовиться к жизни. И сама жизнь, явление жизни, дар жизни так захватывающе нешуточны...» — «Что же мешает мне служить, лечить и писать? Я думаю не лишения и скитания, не неустойчивость и частые перемены, а господствующий в наши дни дух треску-

чей фразы, получившей такое распространение — вот это самое: заря грядущего, построение нового мира, светочи человечества. Послушать это и по началу кажется — какая широта фантазии, какое богатство! А на деле и высокопарно-то по недостатку дарования. Сказочно только рядовое, когда его коснется рука гения. Лучший урок в этом отношении Пушкин... Из всего русского я теперь больше всего люблю русскую детскость Пушкина и Чехова, их застенчивую неозабоченность насчет таких громких вещей, как конечные цели человечества...»

И еще яснее выражает Живаго свое отношение к революции в диалоге с начальником партизанского отряда Ливерием.

«У вас атрофия общественной жизни, как у неграмотных баб и у заматерелого косного обывателя. Между тем, вы — доктор, начитанный и даже кажется сами что-то пишете. Объясните, как это вяжется? — говорит Юрию Живаго Ливерий.

— Не знаю как. Наверное никак не вяжется. Ничего не поделаешь. Я достоин жалости... Но, во-первых, идеи общего совершенствования так, как они стали пониматься с октября, меня не воспламеняют. Во-вторых, это всё еще далеко от осуществления, а за одни толки об этом заплачено такими морями крови, что пожалуй цель не оправдывает средства. В третьих, и это главное, когда я слышу о переделке жизни, я теряю власть над собой и впадаю в отчаяние. Переделка жизни! Так могут рассуждать люди хотя может быть и видавшие виды, но ни разу не узнавшие жизни, не почувствовавшие ее духа, души ее. Для них существование это комок грубого не облагороженного их прикосновением материала, нуждающегося в их обработке. А материалом, веществом, жизнь никогда не бывает. Она сама, если хотите знать, непрерывно себя обновляющее, вечно себя перерабатывающее начало, она сама вечно себя переделывает и претворяет, она сама куда выше наших с вами тупоумных теорий... Какое самоослепление!» — думает во время этого разговора Живаго — «Интересы революции и существование солнечной системы для него одно и то же». И когда Ливерий на его мысли отвечает пошлостью: «Юпитер, ты сердишься, значит ты не прав» — Живаго выговаривает ему всё: — «Поймите, поймите наконец, что всё это не для меня: «Юпитер», «не поддаваться панике», «кто сказал а, должен сказать б», «Мор

сделал свое дело, Мор может уйти». Все эти пошлости, все эти выражения не для меня. Я скажу а, а бе не скажу, хоть разорвитесь и лопните. Я допускаю, что вы светочи и освободители России, что без вас она пропала бы, погрязла в нищете и невежестве и тем не менее мне не до вас и наплевать на вас, я не люблю вас, и ну вас всех к чорту!.. Наверное вы воображаете, что для меня нет лучшего места на свете, чем ваш лагерь и ваше общество. Наверное, я еще должен благословлять вас и спасибо вам говорить, за свою неволю, за то, что вы освободили меня от семьи, от сына, от дома, от дела, от всего, что мне дорого и чем я жив...»

Для Пастернака-художника и для Пастернака-человека, мыслящего о мире в христианских категориях, иного отношения к этой «кровавой колошматине и человекоубоине», конечно, и быть не может. Думаю, что так же отнесся бы к этому и Лев Толстой, и Пушкин, и Чехов и вся высокая русская культура.

В Риме «было сангвиническое свинство жестоких, оспой изрытых калигул, не подозревавших, как бездарен всякий поработитель. Там была хвастливая мертвая вечность бронзовых памятников и мраморных колонн. Века и поколения только после Христа вздохнули свободно. Только после него началась жизнь в потомстве и человек умирает не на улице под забором, а у себя дома, в истории...» — говорит Пастернак. — «Рим был толкучкой заимствованных богов и завоеванных народов, давкой в два яруса, на земле и на небе, свинством, захлестнувшим вокруг себя тройным узлом, как заворот кишок... И вот в завал этой мраморной и золотой безвкусицы пришел этот легкий и одетый в сияние, подчеркнуто человеческий, намеренно провинциальный, галилейский, и с этой минуты народы и боги прекратились и начался человек, человек-плотник, человек-пахарь, человек-пастух в стаде овец на заходе солнца, человек ни капельки не звучавший гордо, человек благодарно разнесенный по всем колыбельным песням матерей и по всем картинным галлереям мира».

Полно глубокого смысла, что этот изумительный роман-проповедь Пастернака как выводом оканчивается стихотворением Юрия Живаго о евангельском чуде с смоковницей:

По дереву дрожь осужденья прошла,
Как молнии искра по громоотводу.
Смоковницу испепелило до тла.

Найдись в это время минута свободы
У листьев, ветвей, и корней, и ствола,
Успели б вмешаться законы природы.
Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог.
Когда мы в смятенье, тогда средь разброда
Оно настигает мгновенно, врасплох...

Роман Гуль

***

Затишье было: жаркий день пылал.
Среди сожженных трав еще зеленый,
Молчаньем долгим неба утомленный,
Покрытый пылью тополь увядал.
Но вот далекий гром загрохотал
И тучи потянулись в синеве.
Надежду ширя, тополь встрепенулся,
Но дождь короткий прошумел в листве,
Его корней глубоких не коснулся.

А. Величковский

ТЕРМОМЕТР РОССИИ

У ПАСТЕРНАКА

В Москве, на Киевском вокзале, возьмем электричку и поедем на юго-запад от столицы. Минуя Очаково, старинную вотчину князей Лобановых-Ростовских, превращенную ныне в музей, мы попадем на двадцатом километре от Москвы в другое дворянское гнездо, Переделкино, бывшее имение Дмитрия Федоровича Самарина, брата Юрия Самарина, знаменитого славянофила.

Мягкий, полный очарования подмосковный пейзаж: вьется небольшая речка Сетунь; на бугре стоит, как и стояла, церковка с двумя куполами, недавно отремонтированная и выкрашенная в яркие радостные цвета; солнце отсвечивает на бронзовой коре сосен, дробится в листве берез. Кругом палисадники, огороды, кусты смородины, крыжовника, малины... Воздух сухой, здоровый, — недаром в имении Самариных теперь устроен Переделкинский детский туберкулезный санаторий. Там и сям разбросаны деревянные, по большей части двухэтажные домики с верандами и башенками. В этих круглых, остекленных башенках, откуда целый день не уходит солнце, работают писатели. Переделкино — дачный поселок Союза писателей СССР.

Зимой в Переделкине пусто. Дома заколочены, занесены сугробами. Писатели уезжают на зиму в Москву, где в Лаврушинском переулке, как раз напротив третьяковской галлереи, а также в Проезде Художественного театра, для них построены многоэтажные дома. Уезжает Константин Федин, бывший «серапионов брат», потом вышедший в «сталинские лауреаты» и теперь занимающий пост председателя Союза писателей РСФСР. Уезжает его сосед, Ираклий Андронников, неутомимый исследователь Лермонтова и талантливейший актер-рассказчик. Но вот, между дачами К. Федина и И. Андронникова раскинулась на просторном участке дача с красною крышей и большою верандой, над которою, однако, и глубокою зимой из трубы вьется дымок, показывающий, что она не оставлена хозяевами. Там круглый год живет Борис Пастернак, автор

романа «Доктор Живаго», лауреат Нобелевской премии 1958 года.

В Переделкине и стар и млад укажет приезжему, как от железнодорожного полустанка с коричневой казенной будкой пройти на дачу Пастернака:

— Вот по аллее, мимо кладбища... Третья дача с левой стороны... Улица Павленко, дом № 3.

Приехав в Переделкино весенним утром, мы можем найти Пастернака в саду или на огороде. Высокий, широкоплечий, в рубахе с расстегнутым воротом и засученными рукавами, в штанах, заправленных в сапоги, в сдвинутой на бок кепке, из-под которой выбивается прядь прямых седых волос, он копает лопатой подмосковную суглинистую землю. Ему сейчас уже под семьдесят, но он выглядит моложе своих лет. Он всегда был хорош собою. Виктор Шкловский в 1922 году, встретив тридцатидвухлетнего Пастернака в Берлине, писал: «У него голова в форме яйцеобразного камня, плотная, крепкая, грудь широкая, глаза карие... Пастернак всегда куда-то рвется, но не истерически, а тянет, как сильная и горячая лошадь. Он ходит, а ему хочется нестись, далеко вперед выбрасывая ноги». Марина Цветаева, которая, как много других женщин, была влюблена в Пастернака, говорила, что он похож одновременно на араба и на его лошадь. Ныне, в 68 лет, он выглядит почти таким же, как в молодые годы: высокий, прямой, пружинистый, с лицом, точно вытесанным из камня. В октябре 1958 года, когда Шведская академия словесности и языкознания наградила Пастернака Нобелевской премией, в Переделкино устремилось множество иностранных корреспондентов; нередко они встречали поэта на дороге, совершающим свою ежедневную прогулку, — под дождем, в потрепанном плаще и старой, надвинутой на брови кепке.

Как у всех писателей, у Пастернака в Переделкине двухэтажный дом. На первом этаже — столовая и гостиная, где стоит черный рояль и где стены увешаны иллюстрациями к «Воскресению» Льва Толстого работы Л. О. Пастернака, отца поэта. Кабинет — на втором этаже. Это просторная полупустая комната с большими окнами. Бросается в глаза, что в доме очень мало книг. Кстати, почти никаких книг не держал у себя в квартире и другой наш Нобелевский лауреат, И. А. Бунин. В кабинете Пастернака лежат Библия и толстый англо-русский словарь. Посетители, бывавшие у него весной 1958 года, видели также книги Кафки на немецком языке и Пруста на французском. Кафки, по крайней мере, тогда, Пастернак еще не

читал, а о Прусте говорил: «Читаю Пруста. Хорошо, местами очень хорошо. Но всё-таки чего-то в нем не хватает». Автор романа «Доктор Живаго» встает рано утром и пишет два часа, потом убирает свою комнату и идет в сад или на огород. Весной он вскапывает землю, садит цветы, тогда как его жена, Зинаида Николаевна,* занята овощами, — осенью подрезает и окучивает деревья, сгребает хворост, опавшие листья, зимой воюет с сугробами, подступающими к дому, колет дрова. Наработавшись на дворе, он возвращается к письменному столу и пишет еще часа два. Остальное время читает, гуляет по саду или окрестностям Переделкина, беседует с друзьями или домашними. У Пастернака три сына: один — начинающий пианист, другой — инженер, третий учится на физико-математическом факультете. В Переделкине, с родителями, живет только один сын, Леонид. У Пастернака живет постоянно также вдова грузинского поэта Тициана Табидзе, погибшего во время ежовщины, в 1937 году.

По воскресеньям у Пастернака «открытый дом». У него много друзей во всем мире. Он переписывается с Франсуа Мориаком и Альбером Камю, с американцем Томасом Мертоном, молодым поэтом авангардного направления, ставшим монахом-траппистом и давшим обет молчания. Он окружен друзьями и в России. У него бывают писатели Константин Федин, Всеволод Иванов, Корней Чуковский, который первым пришел поздравить его с Нобелевской премией. Бывают Анна Ахматова, пианист Станислав Рихтер с женой, превосходной певицей. Приезжают артисты МХАТ'а, студенты Московского университета. Так, француженка Элен Пельтье, учившаяся в Московском университете и ныне преподающая русскую литературу в Тулузском университете, в бытность свою в Москве подружилась с Пастернаками. В доме Пастернака, между про-

* Зинаида Николаевна Пастернак, урожд. Еремеева, вторая жена Пастернака. Ее первым мужем был знаменитый пианист Генрих Нейгауз, лучший в России исполнитель Шопена, ныне профессор Московской консерватории (один из его учеников — Станислав Рихтер). Зинаида Николаевна — тоже превосходная пианистка — была ученицей Нейгауза. Она наполовину итальянка. От брака с Нейгаузом у нее два сына, один из которых молодой талантливый музыкант. За Пастернака, у которого от прежнего брака тоже два сына, Зинаида Николаевна вышла в 1930 году. В 1937 (или 38) году у них родился сын Леонид, который и живет сейчас с ними в Переделкине.

чим, она познакомилась с профессором философии, фамилии которого она не называет, — к ее удивлению, он оказался знатоком богословия и средневековой схоластики. В какой-то мере, быть может, позволительно сказать, что в середине двадцатого века дача Пастернака в Переделкине для России то же, чем была Ясная Поляна, усадьба Льва Толстого, в начале века.

В июне-июле, когда на севере России стоят белые ночи, в полях и лесах Подмосковья тянутся длинные-длинные вечера, — темнеет по-настоящему только в двенадцатом часу ночи. В такие вечера на даче Пастернака пахнет дымом от сосновых шишек, посвистывает самовар, и в нескончаемых сумерках, за нескончаемым чаем, ведутся нескончаемые, типично-русские разговоры. Пастернак — неутомимый собеседник. Он любит говорить, с каким-то детским энтузиазмом, и говорит свободно на четырех языках — русском, немецком, французском, английском. В беседе с американским журналистом в 1958 году он сказал: «Мы, русские, более склонны к философствованию, чем вы на Западе».

Шведская академия словесности и языкознания, присуждая Пастернаку Нобелевскую премию, признала, что «Доктор Живаго» — «один из величайших философских романов нашего времени». Понять то, при каких обстоятельствах этот роман был задуман и написан, значит понять глубокие внутренние процессы, свершающиеся в по-октябрьской России. Критик В. Перцов в 1936 году («Литературная газета», 20 июля 1936 года) отмечал, что в глазах русских читателей Пастернак — это «монументальный термометр нашей поэзии». Теперь, когда написан роман «Доктор Живаго», который, по словам Пастернака, следует рассматривать не только как произведение искусства, а прежде всего как свидетельство художника о своей эпохе, теперь Пастернак — это термометр России.

СТАЛИН И ПАСТЕРНАК

«Как Пастернаку удалось выжить при таком режиме? Как мог он жить и творить в течение сорока с лишним коммунистических лет? На этот вопрос в Москве отвечают легендами. Рассказывают, например, что Сталин любил читать стихи бессонными ночами и что он приказал, раз навсегда, не трогать Пастернака. Сталин дал согласие на то, чтобы книги Пастернака не печатались советскими издательствами и даже на то, чтобы Пастернака публично клеймили, как «буржуазного де-

кадента, формалиста, человека, оторвавшегося от советской действительности». Но Сталин хотел, чтобы Пастернак оставался в живых. Эта легенда еще и поныне ходит в московских литературных кругах. Но сам поэт, когда его об этом спросили, ответил, что он ничего не знает о таком приказе Сталина. Напротив, известно, что Пастернак, по крайней мере, в течение двенадцати лет, жил под страхом смерти. Жил и писал «для себя», как он говорил тогда своим редким друзьям, которые осмеливались его навещать».

Так пишет в «Фигаро литтерэр» от 1 ноября 1958 года французский журналист Мишель Гордэ, ездивший в Россию в 1950-м, 56-м и 57-м гг. Как Пастернаку удалось выжить во время «ежовщины»? Многие тогда погибли, причем более ловкие, верткие, скользкие. Борис Пастернак в 1937 году отказался подписать «Письмо советских писателей» с требованием расстрела Тухачевского — и его не тронули. Какой-нибудь Борис Пильняк подписал бы любое письмо по своей потрясающей беспринципности, и, тем не менее, он погиб. Что хранило Пастернака? Мне думается, что я нашел ответ.

Прежде всего, Пастернак сам не берег себя. На протяжении многих лет он говорил то, что думал. Помню, однажды я был свидетелем безоглядного, нерассуждающе-смелого выступления Пастернака. То было вечером 16 декабря 1931 года в Доме Герцена в Москве. Шла «творческая дискуссия о поэзии». ВАПП, всесоюзная ассоциация пролетарских писателей, еще не была распущена, и на дискуссии выступали «вапповцы», почти все одетые «под Сталина» — в защитную полувоенную форму. В тот вечер выступал, помнится, вапповский теоретик Иван Макарьев и, как водится, требовал от писателей перестройки, перековки, овладения методом диалектического материализма. Выступали и поэты, пытавшиеся отстаивать право на поэзию. Но все они говорили приглушенными голосами: Вера Инбер жаловалась на «невнимание к лирике», Паоло Яшвили обвинял «ЛЕФ», литературную группу, которую возглавлял Маяковский, в «дезориентирующем влиянии на поэтическую молодежь»... И только Пастернак сказал во весь голос то, что требовалось сказать. Высокий, худой, в темно-синем костюме, он прошел между рядами стульев, шагнул на кафедру, и взявшись за края пюпитра, остановился — вскинул удлиненную, точно задранную поводьями голову. Из его речи в моей памяти остались такие слова: «Диктатура пролетариата не есть диктатура посредственности». Полностью та речь Пастернака никогда не была напечатана. В «Литературной газе-

те» от 18 декабря 1931 года напечатана только одна цитата из этой речи. Вот она:

«Не все уничтожено революцией. Искусство оставлено живым, как самое загадочное и вечно существующее. Но у нас потому такая бестолочь, что на поэтов все время кричат: 'Это надо, то надо!' Но прежде всего нужно говорить о том, что нужно самому поэту: время существует для человека, а не человек для времени».

Эту цитату из речи Пастернака, произнесенной в Доме Герцена 16 декабря 1931 года, приводит в своем отчете о дискуссии репортер «Литературной газеты» Д. Кальм. Он сопровождает ее таким курьезным замечанием: «Если бы кто-нибудь другой выступил с такими реакционными мыслями, его бы освистали. А Пастернаку аплодируют». Правда, в 1931 году еще не дошло до всеобщей чистки: пока что «чистили» деревню, вывозили «раскулаченных» в северную тундру и пески Туркестана. Но Пастернак и позже, даже во время «ежовщины», открыто говорил то, что у него лежало на душе, не думая о возможных последствиях. Так, например, в феврале 1936 г., в Минске, на третьем пленуме Правления Союза советских писателей, Пастернак выступил против «той приподнятой, фанфарной пошлости, которая настолько вошла у нас в обычай, что кажется для всякого обязательной». Еще раз напомню, что Пастернак говорил это 16 февраля 1936 г., когда в советском обиходе была фраза Сталина о том, что «жить стало лучше, жить стало веселее», фраза «фанфарно-пошлая» и «для всякого обязательная». В этой речи, напечатанной в «Литературной газете» от 24 февраля 1936 года, Пастернак дальше говорил:

«Скажем правду, товарищи: во многом мы виноваты сами. Ведь не все на свете создается дедуктивно, откуда-то сверху. Каждый слой общества живет по-своему и отчасти повинен в природе своих отложений. Мы все время накладываем на себя какие-то добавочные путы, никому не нужные, ни кем не затребованные. От нас хотят дела, а мы все присягаем в верности. ...За редким исключением, очень немногие ораторы говорили спокойно, трезво, по существу. Правда, это задача невыполнимая — в рамках пленума дискутировать о самых основах искусства, если бы даже каждому отвели по часу на выступление. Есть много застарелых предрассудков и предвзятых мнений. Разбору этих заблуждений надо было бы посвятить целую жизнь, что нелегко само по себе, но задача эта затруднена и с другой стороны. Множество ложных взглядов

стало догматами потому, что они утверждаются в паре с чем-нибудь другим, непогрешимым и даже священным, и тогда как бы часть благодати с этих абсолютных бесспорностей переходит на утверждения, далеко не для всякого обязательные. ...Вообще о стихописании тут говорили, как о работе какого-то постоянно действующего аппарата с выработкой, прямо пропорциональной приложенному труду. Мне представился водяной насос, несмотря на все старания все же еще отстающий от общих потребностей. Но все клялись тут: приналяжем, ну, ясно, воды будет теперь больше, и насчет нашего поэтического будущего можно быть спокойным. Нет, серьезно, товарищи, во многом я части выступавших просто не понимаю — у нас разный язык. Здесь, например, очень уверенно отличали стихи хорошие от плохих, точно это правильно или неправильно выточенные машинные детали. Между тем, под видом плохих стихов приводили и не стихи даже, а просто образцы безвкусицы, морально не случайной, и я лишний раз убедился в том, что, вообще говоря, плохих и хороших строчек не существует, а бывают плохие и хорошие поэты, т. е. целые системы мышления, производительные или крутящиеся вхолостую. И стахановские обещания от лица последних противоречием своим способны привести в уныние. ...Теперь вот что, товарищи. Бывают следствия смещений гигантоманических, по отношению к которым каждый из нас не более козявки. Но в какой-то стороне нашего литературного застоя повинны мы сами, как члены корпораци, как атомы общественной ткани. И не от повышения трудолюбия, как тут говорилось, можно ждать спасения. Искусство без риска и душевного самопожертвования немыслимо, свободы и смелости воображения надо добиться на практике, здесь именно уместны неожиданности, не ждите на этот счет директив. Задача ли правления Союза, чтобы сказать вам: будьте смелее? Это задача каждого из нас, это наша собственная задача».

Прошу читателя вчитаться в эту речь Пастернака, — в ней содержатся мысли, которые впоследстви вошли в роман «Доктор Живаго». Высказывания Пастернака о том, что «не все на свете создается дедуктивно, откуда-то сверху», о том, что есть «целые системы мышления... крутящиеся вхолостую», о том, что «множество ложных взглядов стало догматами», наконец, о том, что «искусство без риска и душевного самопожертвования немыслимо», все это шло вразрез с партийной линией, официальным мировоззрением. Недаром когда московские писатели уезжали из Минска, на вокзале толпа

кричала: «Пастернака! Пастернака!», и он, один из сотни москвичей, должен был выйти из вагона, чтобы проститься с минчанами.

Прошел месяц. Началась «большая чистка». Правда, еще не сама чистка, а только психологическая подготовка к чистке. Она началась известными статьями «Правды»: «Сумбур вместо музыки» (об опере Шостаковича «Лэди Макбет Мценского уезда»), «О художниках-пачкунах», «Какофония в архитектуре». Эти статьи обсуждались по всей стране. В том числе, разумеется, и на общемосковских собраниях писателей, состоявшихся 10 и 13 марта 1936 года. Что же там говорил Пастернак? В то время, как все, решительно все писатели приветствовали и одобряли выступления «Правды» и осуждали то, что требовалось осуждать, один Пастернак не постеснялся произнести такие фразы, которые приведены в отчете о собрании, напечатанном в «Литературной газете» от 15 марта 1936 года:

«Нельзя предъявлять писателю никаких требований — ни в области содержания, ни в области формы. Нельзя сказать матери: роди девочку, а не мальчика. ...Через какие-то третьи руки к нам обращаются с призывом, где назойливо звучат два слова: формализм и натурализм. Во всем том, что делается, любви к искусству не чувствуется. ...Чиновники с оскорбительно-равнодушными руками... Мы выросли из детских штанишек».

В другом номере «Литературной газеты» — от 20 марта 1936 года — напечатана речь А. Суркова, в которой приводится еще одна фраза из ненапечатанной речи Пастернака: «Каждый день думаешь о том, кто еще сковырнется». Интересно то, что, судя по отчету «Литературной газеты», Пастернака прерывали во время его выступления, и он резко ответил: «Не орите, а если уж вы орете, орите на разные голоса».

Если в тридцать первом году кого-нибудь другого за такие выступления освистали, то в тридцать шестом году, конечно, арестовали бы. Но Пастернак оставался на воле и продолжал говорить то же самое, что и прежде. В феврале 1937 года в Москве состоялся «Пушкинский пленум» Союза советских писателей. Это был самый разгар «ежовщины». На пленуме выступал Пастернак. Его речь не опубликована. Не найти даже цитат из его речи. Но о ней есть упоминание в выступлении П. Павленко, напечатанном в «Литературной га-

зете» от 5 марта 1937 года. Павленко начал свое выступление такими словами:

«Я приготовил стройную речь, но после выступления Бориса Пастернака у меня от речи остались одни междометия. После его речи у меня все перепуталось в голове».

Тем не менее, даже после этой речи с Пастернаком ничего не случилось. Правда, в газетах нападки на Пастернака обострились. И не только в газетах: в конце 1936 года, на Чрезвычайном Восьмом Всесоюзном Съезде Советов, где принималась «сталинская конституция», писатель Вл. Ставский в своей речи цитровал стихотворение Пастернака, как «клевету на советский народ». На том же «пушкинском пленуме» выступал поэт Джэк Алтаузен и говорил о Пастернаке в таких выражениях: «Прочтите его 'Охранную грамоту', где он обнаглел до того, что...», «Вспомните его издевательские стихотворения, в которых есть строчки...», наконец, так:

«Не будем юродствующему поэту объяснять, что только при социализме поэзия становится подлинным достоянием миллионных масс, понятной и любимой миллионами. Пастернак говорит, что вакансия поэта при социализме становится слишком опасной. Да, совершенно верно, его вакансия, вакансия реставратора буржуазного декаданса, в нашем советском искусстве становится опасной, потому что советский народ уже дорос до понимания — кто друг, кто враг, даже в такой области, как поэзия».

Тут Пастернак публично, в Колонном зале Дома союзов в Москве, с трибуны пленума правления Союза писателей, был назван «врагом». И это было напечатано в газете. Тогда, в 1937 году, в разгар «ежовщины», это совершенно определенно указывало на неизбежность ареста. Поводов для ареста Пастернака у НКВД было более, чем достаточно, тем более, что тогда арестовывали и без всякого повода. В обвинении, предъявленном Пастернаку, могли фигурировать не только его речи, но и «связь с врагами народа», так как Пастернак тогда — единственный из всех московских писателей — продолжал поддерживать дружбу с исключенным из партии драматургом А. Афиногеновым, а также и «связь с заграницей», поскольку Пастернак имел родственников в Англии, переписывался со своими переводчиками и т. д. Причем допускал в переписке смелые выражения: так, недавно один из его зарубежных друзей показал мне письмо Пастернака, написанное им в 1933 году, — в нем говорится, что «жизнь у нас страшно трудная, и становится все труднее».

(А ведь Сталин именно в это время сказал как раз обратное!) И, тем не менее, все Пастернаку сходило, как с гуся вода... Его не только не расстреляли, не сослали, — его даже ни разу не арестовывали! Почему!? Как это могло случиться?! Почему его не трогало НКВД?

Вряд ли можно сомневаться в том, что Пастернак пользовался каким-то покровительством Сталина. Во всем Сталин предоставлял НКВД свободу действий, но Пастернака он, по-видимому, оставил «за собою». И что бы ему ни нашептывали энкаведисты, какие-бы «досье» на Пастернака они ни заводили, Сталин, надо полагать, всегда отвечал одним: «Пастернака не трогайте». Почему? Мишель Гордэ передает версию, которую он слышал в Москве: будто Сталин «любил читать стихи бессонными ночами». Стихи Пастернака? Да что он в них понимал?! Пастернаковские переводы грузинских поэтов, в частности «Змееeда» Пшавелы, которого Пастернак перевел в 1934 году? Возможно. В журнале «Тайм» от 10 ноября 1958 г. указывается, что будто Сталин за переводы грузинских поэтов подарил Пастернаку дачу в Переделкине. Не знаю, откуда у «Тайма» такие сведения. В Переделкине много писательских дач, и Пастернак, разумеется, имел право на дачу. Как бы то ни было, переводами грузинских поэтов нельзя было снискать столь великого благоволения Сталина. Тем более, что вслед за пастернаковскими переводами появились другие, не менее высокого качества. Должна быть другая причина, которая заставляла Сталина ограждать Пастернака от посягательств НКВД.

Мне думается, что я нашел эту причину. Она связана со смертью Н. С. Аллилуевой, жены Сталина. Люди, знавшие ее, говорят, что она была красавица. «Стройная, элегантная, в скромном синем костюме и простой белой блузке, — говорится о ней в одних воспоминаниях. — Прическа гладкая, на прямой пробор, но с красиво уложенным узлом волос. В манере держаться у нее было врожденное изящество. В особенности у нее были красивы руки, — на них невольно задерживался взгляд. Такой классической формы руки можно видеть только на портретах, написанных Брюловым». Подтверждение этому можно видеть в том, что знаменитый скульптор И. Д. Шадр вылепил руку Н. С. Аллилуевой для ее надгробья. Несомненно, что Сталин ее очень любил. Существует много версий о том, как она умерла: кто говорит, что ее застрелил Сталин, кто говорит, что она покончила самоубийством, а по официальной версии, она умерла от перитонита.

Есть еще и такая версия, что она умерла от перитонита, вызванного тяжелым ранением в живот, а выстрел произошел в момент, когда Сталин отнимал у нее револьвер. Как правило, советские газеты никогда ничего не пишут о том, что случается в семье того или иного «руководителя партии и правительства». Но когда умерла Н. С. Аллилуева, газеты были полны писем и телеграмм с выражением сочувствия Сталину. Как водится, все эти «сочувствия» были организованы. Было организовано и письмо от советских писателей. Его подписали 33 человека, в том числе Б. Пильняк, М. Кольцов, С. Динамов, А. Селивановский, Л. Авербах, погибшие во время «ежовщины». Письмо пошлое и банальное, как все письма такого рода:

«Дорогой товарищ Сталин!

Трудно найти такие слова соболезнования... Примите нашу скорбь о смерти Н. С. Аллилуевой, отдавшей все свои силы делу освобождения миллионов угнетенного человечества, тому делу, которое вы возглавляете и за которое мы готовы отдать свои жизни, как утверждение несокрушимой жизненной силы этого дела».

Бориса Пастернака в числе этих 33-х писателей не было. Но письмо приносили к нему на подпись, — он отказался его подписать. Доказательством этому может служить то, что непосредственно под письмом, напечатанным в «Литературной газете» от 17 ноября 1932 года, напечатана особая приписка Пастернака. Причем, приписка эта говорит о том, что Пастернак читал письмо 33-х писателей, но вместо того, чтобы поставить подпись, сделал приписку к письму. Вот она, поразительная в своей загадочности:

«Присоединяюсь к чувству товарищей. Накануне глубоко и упорно думал о Сталине; как художник — впервые. Утром прочел известие. Потрясен так, точно был рядом, жил и видел.

Борис Пастернак».

Каковы бы ни были обстоятельства, при которых умерла Н. С. Аллилуева, для Сталина это было большое горе. В Москве я слышал, что Сталин часто вечерами ездил на Новодевичье кладбище и часами сидел над ее могилой. Необычная и какая-то таинственная приписка Пастернака могла если не потрясти, то, по крайней мере, глубоко задеть Сталина. Прежде всего, не могло не тронуть то, что Пастернак отказался подписать обычное, банальное письмо 33-х писателей, а выразил свое чувство своими словами, — значит у него было чувство! И что это значит: «Накануне глубоко и упорно

думал о Сталине», а «утром прочел известие»? Какая-то мистика, «чертовщина»? Сталин был грубым человеком, но не без своих «глубин»... Над этим он мог задуматься. И, далее, что это означало, что Пастернак в ноябре 1932 года «глубоко и упорно думал о Сталине» — «как художник — впервые»? Что это значит: «как художник»? Как провидец? Как тайновидец? Который как бы «был рядом» в момент смерти Н. С. Аллилуевой — и «видел», как она умерла? Кто может поручиться, что у Сталина не пробежали мурашки по телу, когда он прочитал эти строки поэта? Кто может поручиться, что в Сталине не всколыхнулось в этот момент древнее восточное чувство, которое заставляет видеть в поэте «дервиша»? Вспомним, что говорил об этом Пушкин в «Путешествии в Арзрум»:

«...Пущин дал мне титул поэта. Паша сложил руки на грудь и поклонился мне, сказав через переводчика: 'Благословен час, когда встречаем поэта. Поэт брат дервишу. Он не имеет ни отечества, ни благ земных; и между тем, как мы, бедные, заботимся о славе, о власти, о сокровищах, он стоит наравне с властелинами земли и ему поклоняются'».

Не увидел ли тогда Сталин в Пастернаке такого «дервиша», который «стоит наравне с властелинами земли» и достоин «поклонения»? Если не поклонения, то, во всяком случае, защиты и покровительства... Мне думается, что с того момента, с 17 ноября 1932 года, Пастернак, сам того не ведая, вошел в личную жизнь Сталина, стал какою-то частицей в его душевном пейзаже. И тронуть Пастернака уже было нельзя без того, чтобы не задеть лично Сталина.

Мих. Коряков

ПИСЬМА М. ГОРЬКОГО К Л. АНДРЕЕВУ

Впервые здесь публикуемые в оригинале четыре письма М. Горького к Л. Андрееву взяты из большой коллекции писем Горького (84 письма за период 1899-1912 гг.), хранящейся в Архиве русской и восточно-европейской истории при Колумбийском университете (Нью-Йорк). В переводе на английский язык почти вся коллекция недавно была опубликована издательством Columbia University Press*. East European Fund (в лице проф. Ph. E. Mosely) совместно с упомянутым изд-вом дали «Новому Журналу» разрешение опубликовать несколько писем М. Горького в оригинале.

«Новый Журнал» печатает ту часть горьковской корреспонденции, которая имеет особый литературный интерес: М. Горький, находившийся в начале нашего века в тесной дружбе с Л. Андреевым, ставшим очень быстро популярным именно благодаря помощи Горького, получал от Андреева рукописи его новых произведений для критического просмотра до их опубликования. Л. Андреев вначале доверял литературному вкусу и авторитету своего друга и в некоторых случаях вносил изменения и исправления в свои тексты соответственно указаниям Горького.

События революции 1905 г. и ее последствия послужили причиной идейного расхождения и постепенного личного охлаждения между друзьями-писателями.

Если Горький из революционно настроенного бунтаря превратился в сторонника социал-демократическй партии, считал необходимым, крепко стоя «на земле», разрабатывать злободневные «программные» социальные темы (начиная с его романа «Мать»), то Л. Андреев все больше «отрывался от

---

* Letters of Gorky and Andreev, 1899-1912, Edited with an Introduction by Peter Yershov; Letters, Introduction, and Notes translated by L. Wieston; Columbia University Press (N. Y., U. S. A.), 1958; Published in Great Britain by Routledge and Kegan Paul, Ltd.. London, 1958; 224 pp.

Публикуемые здесь письма под №№ 1-4 соответствуют следующим №№ в издании Columbia University Press: 37, 60, 78 и 79.

земли» и углублялся в разработку «вечных» (иногда — «проклятых») вопросов бытия и смерти; он был встревожен тайнами подсознания, патологическими проявлениями душевной жизни (власть пола, безумие). Началом этой тенденции можно считать его повесть «Мысль» (1902), за которой последовали «Красный смех» (1904), «Елеазар» (1906) и «Жизнь человека» (1906).

В предлагаемых письмах Горького находятся отклики на эти произведения. В те годы, несмотря на различие идейных позиций, Горький обладал способностью смотреть широко на художественное творчество, признавая право писателя идти собственным путем, который мог быть и несвойственным ему, Горькому. Но вместе с тем он взыскателен ко всякой художественной работе, в том числе и его друга, который, по его мнению, «слишком спешил», недорабатывал темы, характеры, не был достаточно внятен. Горькому не нравился переход Андреева от реалистической манеры к символизму, что стало явным в пьесе «Жизнь человека», но и это было для него «законным правом» автора, лишь бы тот находился на подлинной художественной высоте.

Дружеская переписка была серьезно нарушена появлением в печати рассказа Андреева «Тьма» (1907), где Горький с раздражением увидел дискредитацию дорогой для него революционной идеи. С этого момента отношения между друзьями стали портиться, расло взаимное непонимание, и к 1913 г. писатели окончательно разошлись.

Небесполезно вспомнить темы и колорит тех андреевских произведений, о которых идет речь в предлагаемых письмах Горького.

Повесть «Мысль» ставит под сомнение силу «трезвого» рассудка и пытается показать, как таинственное подсознание порождает бунт мысли против ее носителя. Герой повести находится на той опасной психической грани, перейдя которую человек попадает в сферу безумия. Есть какие-то нити, связывающие эту повесть с чеховской «Палатой номер шесть»; у Андреева избыточно детализирована картина распада личности при крайне пессимистическом колорите всего произведения.

К безумию идет и герой «Красного смеха», навеянного Андрееву событиями русско-японской войны: слишком тонкая и болезненная впечатлительность героя не выдерживает натиска тех жестоких картин «мясорубки», которую Андреев

видит глазами пацифиста-индивидуалиста, — для него весь современный мир — «безумие и ужас».

Крайне мрачен весь тон стилизованного рассказа «Елеазар», где с большой силой воображения и с несомненным художественным мастерством автор смело интерпретирует евангельский эпизод воскрешения Лазаря. Человек, познавший смерть и затем воскрешенный, лишен радости бытия, но за этой идеей стоит другая — можно ли вообще жить человеку, сознающему неизбежность смерти?

Наконец, «Жизнь человека» — пьеса крайнего отчаяния: человек — объект игры фатальных и непознаваемых сил; бесполезны попытки человека бороться с неведомым и бесстрастным «Некто».

Весь этот творческий комплекс Л. Андреева, вызывавший сильный резонанс среди русской интеллигенции после революции 1905 г., беспокоил Горького, человека иного психического склада, и он пытался направить деятельность друга в иное русло, но, в конце концов, безуспешно.

Изучение корреспонденции Горького (во многих случаях подписывавшегося своим настоящим именем — Алексей Пешков) поставило перед редактором вышеупомянутого издания на английском языке ряд трудностей, из которых на первый план выдвинулись датировка писем и определение места их написания, так как у Горького не было привычки помечать дату, а конверты от писем с почтовыми штемпелями не сохранились. Пришлось проделать сложную аналитическую работу для того, чтобы всю коллекцию разместить в хронологическом порядке.

В конце концов, в иных случаях ориентировочно, в других — довольно точно, — удалось установить год, иногда месяцы (или месяц) написания письма и с известной долей вероятности определить место, откуда отправлено письмо.

Публикуемые здесь четыре письма (как и все прочие) написаны в оригинале по старой орфографии, но так как существенных особенностей, кроме некоторых отклонений (сохраняемых нами в тексте) у Горького нет, то здесь они переданы по новой орфографии, зато его своеобразная пунктуация сохранена полностью.

Относительно некоторых имен и названий в письмах даны пояснения в примечаниях.

Петр Ершов

1

(1902 г.)

(Без обращения)

Рассказ хорош.[1] Леонид Андреев — свой человек в области неизвестного и пропасти черных тайн посещаются им столь-же легко и свободно, как Скитальцем[2] — трактиры для простонародья. Ничего! «И в железные сердца бей!» «Вот смысл философии всей!» Пускай мещанину будет страшно жить, сковывай его паскудную распущенность железными обручами отчаяния, лей в пустую душу ужас! Если он все это вынесет — так выздоровеет, а не вынесет умрет, исчезнет — ура!

Но это все — потом. Рассказ послан, корректуру получишь. Просмотри внимательно 4-ый лист, не найдешь-ли там чего либо лишнего. Что-то длинно, есть повторения, кажется. Затем, голубчик! — обязательно уничтожь или переделай конец. Это — необходимо. Пускай конец имеет несколько строк, в которых главное место займет страшное слово «НИЧЕГО». «Когда на суде председатель обратился к обвиняемому и т. д. доктор Керженцев посмотрел на него, на публику — на все — какими-то слепыми, холодными глазами и спокойно, — спокойно! — холодным голосом сказал — НИЧЕГО!»

Поверь мне, друг, — это слово должно быть последним словом рассказа именно это слово! Присяжные, суд, публика, вопросы — все лишнее! Все это пустяки — ты подумай-ка!

Писать более убедительно не могу, а более длинно — не буду.

Крепко жму руку очень крепко. Жене поклон.

А. Пешков.

Да, забыл! Третье издание печатается, второе разошлось. Третье вали в 10000. Входи пайщиком в «Знание»[3], право это следует сделать! Целее деньги будут и голос получишь в деле снабжения рынка книгами.

ПРИМЕЧАНИЯ К ПИСЬМУ 1:

[1] Имеется в виду рассказ (повесть) «Мысль», написанный Л. Андреевым в апреле 1902 г. В окончательной редакции повесть заключается словом «ничего», как рекомендовал Горький.

[2] Степан Гаврилович Петров (1868-1941) — поэт. Интересовался общественными «низами», посещал народные трактиры. Был

популярен; выступал в концертах со стихами и аккомпанировал себе на гуслях. Псевдоним «Скиталец» был для него придуман Горьким, который часто его называл «Гаврилыч».

[3] «Знание» — изд-во, выпустившее первую книгу Л. Андреева (посвященную Горькому). Она имела успех и потребовала повторных изданий.

2

(С.-Петербург [?], рубеж 1904/1905 гг.)

(Без обращения)

На мой взгляд — ты прав, дружище, 15-ый отрывок надо выбросить вон, он не усиливает впечатления, он разбавляет кровь мутной водой и даже написан не в тоне — это с литературной стороны.[1] А с общественной — он укрепляет позицию тех, которые будут ругать рассказ. Ведь они будут стоять на точке зрения психической ненормальности героя рассказа — это уж — непременно! — и я даже провижу в будущем статью, озаглавленную так: «Война в изображении сумасшедшего». Не нужно давать в руки «патриотов» и шовинистов такого оружия, ты понимаешь меня?

Следует так-же выкинуть и 7-ой отрывок, ибо им обязательно воспользуются против японцев, на него будут опираться, как на доказательство их зверства.

Мне кажется, что газетная вырезка, приклеенная мною сверху письма, могла бы резче и ярче подчеркнуть твою мысль, чем 15-ый отр. Подумай — дети! Пожалуйста, Ленька, выбрось 7-ой и 15-ый! Право от этого рассказ выиграет в силе.

В средине рассказа есть нечто психологически не возможное и не допустимое: который из братьев записал сцену купанья в ванне? Первый. Ты думаешь это возможно в такой форме? Необходимо, чтобы ясно был указан момент до которого дневник писался со слов первого брата, этот момент наступает со времени возвращения первого брата домой, иначе я не понимаю, как мог второй брат **так** писать. Сделай это изменение — легко.

Конец мне не нравится. Не страшно. Когда началась общая бойня, — хорошо, а после возвращения домой — нет, не хорошо! Земля, извергающая трупы из недр своих — это не вышло, Иезекиил — изображает сие красивее и страшнее. Остановиться нужно где-то раньше.

В общем я считаю рассказ чрезвычайно важным, своевременным, сильным — все это так —, но для большего впечатления необходимо оздоровить его. Факты — страшнее и зна-

чительнее твоего отношения к ним в данном случае. Первая половина — очень хороша, очень, но доктора, встающего вниз головой, надо выбросить, это смешит. Это глупая рожа на похоронах Чехова, это звук гармоники мастерового среди реквиема Бетховена. Это смешит, раздражает.

На 13-ой стр. — «ищущие», «вздрагивающие», «почесывающиеся», «старающиеся», «чужие» — столпились в одном периоде и заглушают его шипением.

«Много сумасшедших. Больше, чем раненых» — стр. 20-я — не резко-ли, в такой категорической форме? Мне кажется надо заставить почувствовать, что их много, а не заявить об этом словами.

На 53-й «Ведь все-же **плачут** от войны и они сами **плачут**, что же это **значит?**» Скверная рифма.

На 56-й «Каждый из них молчал» — и тотчас-же — «они кашляли, сморкались»...

На 82-й «треугольные головы между шеей и подбородком» — не представляю, как это?

Не сердись на меня, Леонид, мне так страстно хочется чтобы рассказ твой произвел возможно более оглушительное впечатление и так не хочется, чтобы к тебе привязывались из-за пустяков!

Крепко обнимаю, кланяюсь А. М.[2]

Твой Алек...

Очень я устал здесь, но проторчу еще до 22-го. Рассказ читал дважды — прочитал, как получил и — сейчас. Действует он очень сильно, это верно!

К первой странице письма приклеена следующая вырезка из газеты:

«Детская игра. В слободе под Челябинском, по словам «Самарской Газеты», произошел следующий ужасный случай: Подростки вздумали играть «в войну»; они разделились и образовали два лагеря: «русских» и «японцев». В конце концов «русские» победили и предводительствовавший «японцами» «Куроки» был взят в плен... Страсти разыгрались...

— Что делать с пленником? — поставили они вопрос, собрали «военный совет» и вскоре вынесли резолюцию: «Куроки» — повесить!..

Была найдена веревка, наскоро была сооружена виселица... Эта «игра», если верить, имела ужасный конец:

мальчик, изображавший «Куроки», попав в петлю, захрипел; подростки перепугались и разбежались в стороны, а несчастный в это время задохнулся...»

ПРИМЕЧАНИЯ К ПИСЬМУ 2:

[1] Произведение Л. Андреева «Красный смех» было закончено 8-го ноября 1904 г. Впервые оно было опубликовано в третьем сборнике «Знание» (1905) после того, как редактор «Журнала для всех» В. С. Миролюбов отказался печатать это, по его мнению, слишком «непатриотическое» сочинение.

[2] А. М.: Александра Михайловна (урожд. Велигорская) — первая жена Л. Андреева (свадьба была 10 февр. 1902 г.); Горький, как и многие другие, относился к ней с сердечным вниманием, называя ее в других письмах «Дама Шура».

3

(Капри, осень 1906 г.)

(Без обращения)

Елеазар[1] —

И снова скажу: это, на мой взгляд, лучшее из всего, что было написано о смерти во всемирной литературе. Мне кажется даже, что ты как бы приблизился и приближаешь людей к неразрешимой загадке не разрешая ее, но странно близко знакомя с нею. Ее чувствуешь — спокойную темную, великую своим спокойствием — это удивительно и хорошо. Превосходно выдержан стиль. Вообще, как литература, как произведение искусства — эта вещь дает мне огромное наслаждение и вызывает славную радость за тебя — молодчина ты! Как философия — это для меня неприемлемо. Я заряжен жизнью и силами ее лет на шесть сот и — чем дальше — тем более оптимистично смотрю на жизнь — хотя у меня нестерпимо болит желудок и зуб. Но — философия твоего рассказа тонет в красоте его формы как спрут в чудной глубине неаполитанского залива. Этот залив — и — особенно Капри — красивее и глубже любви и женщины. В любви узнаешь все сразу — здесь едва-ли возможно узнать все. Голубой грот. Это воистину сказка, но ее часто рассказывали глупцы и пошляки, а потому она не очень увлекает. Но здесь есть зеленый грот и это — изваянная музыка Грига, как сказал Иван Павлов[2], чуткая душа, которая тебя очень любит, за что я ее люблю еще больше.

Дружище! Здесь есть рыбак Спандаро, красавец-старик которого рисуют все художники — я ездил с ним ловить рыбу и это было гораздо, неизмеримо чудеснее и красивее загробных видений Лазаря. Ты не обижайся. Приедешь — увидишь. Нравится мне здесь все и даже люди — это такие славные ребятишки! Говорят они — жулики. Жульничество, которое я наблюдал, наивно и смешит, но не раздражает. Думаю, что буду здесь зимовать — такая масса работы у меня что пожить здесь полезно. Неаполь — сокровищница великих красот. Одна коллекция Фарнезе — стоит преклонения. Вообще — хорошо!

Езжай сюда? Что — немцы? Скучно это — немцы. А на лето — в Норвегию?

Я ничего не имею против смерти — но питаю отвращение к трупам, особенно к тем из них которых не похоронили, почему-то, и они ходят по улицам, женятся, пишут книги картины вообще — состоят при жизни, поддерживаемые какою то инертной силой на двух ногах. Смерть, если это целостно, закончено и кругло может быть даже красиво — но умирание — отвратительно всегда — так? Конечно, это трюизм. И мне страшно хочется что-бы ты возненавидел умирающих и со всей спокойной, огромной силой твоего таланта добивал их.

Я далек от тебя как негр от английского лорда, — ты прав! — но я тебя люблю, как индеец ночь своих степей, заманчивую тьму простора их — пишу глупо, но в Италии это простительно, здесь хочется быть ребенком, кувыркаться, ходить колесом и целыми часами лежа голым на камнях смотреть на море — вот море которое даже в бурю улыбается!

Ты подумай — болит живот, зуб, французы рыгают, анархисты надоедают, а у меня в голове веселый чорт танцует тарантеллу и я пьян — без вина. Вино здесь — красиво, прежде всего. Потом — оно вкусно и очень легко. Его можно выпить много, но лучше пить мало — жалко, оно так хорошо горит в стакане!

Пишу длинную повесть,[3] она тебе не понравится, а меня увлекает. Скоро кончу ее и тогда буду писать одну веселую повесть. Вчера прочитал пьесу Горького «Враги».[4] Прочитав, заметил ему что он напрасно трудился над этой вещью, — легкомысленно и торопливо. Последнее свойство — собственность Андреева Леонида, — сказал я — и вы напрасно грабите его. Поговорив, дружески и просто, посоветовал ему напи-

сать еще пьесу. Он напишет, если не умрет от животной боли. Ну, достаточно ерунды, я думаю.

Как дама Шура и новый?[5] Напиши.

Кланяюсь. Хотел послать письмо с П-в Пов. но он здесь очарован. Жду Пятницкого.[6] Кланяюсь еще раз.

А.

Мне жаль, что Царя[7] ты хочешь перестроить в пьесу — твой стиль для этих тем — рассказ и никто не напишет лучше тебя такую вещь, даже, думаю, сам Флобер, мой культ. Оставь, а?

ПРИМЕЧАНИЯ К ПИСЬМУ 3:

[1] «Елеазар» — рассказ, законченный Л. Андреевым в августе 1906 г.

[2] Возможно — Иван Павлович Ладыжников, издатель произведений писателей группы «Знание» за-границей (гл. обр. в Берлине).

[3] Осенью 1906 г. Горький на Капри перерабатывал роман «Мать» для русского издания. «Мать» была написана летом во время пребывания Горького в США и приобретена для опубликования в английском переводе американским издательством D. Appleton and Co., New York. В переработанной редакции «Мать» была впервые напечатана в № 18 сборника «Знание», (1907), в США на англ. яз. в 1907 г.

[4] «Враги» написаны были Горьким также летом в США, 1906.

[5] Летом и осенью 1906 г. Л. Андреев с семьей жил под Берлином. «Дама Шура» ожидала рождения второго ребенка; роды (28 ноября 1906 г. по н/с) закончились смертью Ал. Мих. Потрясенный этой утратой Л. Андреев вскоре приехал к другу — Горькому на Капри.

[6] К. П. Пятницкий — главный организатор издательства «Знание».

[7] У Л. Андреева был замысел написать рассказ «Царь», тему которого знал Горький. Подобное произведение не было опубликовано. Повидимому, Андреев использовал элементы задуманного рассказа в пьесе «Царь Голод» (1907) и в рассказе «Так было» (1907).

4

(Капри, октябрь/ноябрь 1906 г.[1])

(Без обращения)

Будь я критиком я написал-бы статью о тебе начав ее так: «Для меня несомненно, что Л. Андреев в данное время является самым интересным писателем Европы и Америки и

я думаю, что он, в то же время, самый талантливый писатель двух частей света».

Я без особенных усилий доказал-бы это путем сравнений и посредством указаний на широту захвата твоей мыслью количества явлений и идей. Затем я сказал-бы:

«Каждое его новое произведение есть более или менее крупный шаг вперед в области формы и содержания, вперед, по пути к новому и свободному, но он торопится и шаги его неровны. Он слишком торопится, чорт его возьми!»

И далее я стал-бы доказывать тебе, как это вредно для тебя — торопиться. И доказал бы, что для тебя это вреднее, чем для кого-либо другого. Но я еще не критик.

«Жизнь Человека»[2] — это превосходно, как попытка создать новую форму драмы. Я думаю, что из всех попыток в этом роде, твоя, по совести, наиболее удачна. Ты, мне кажется, взял форму древней мистерии, но выбросил из мистерии героев и это вышло дьявольски интересно, оригинально. Местами, как например, в описании друзей, врагов человека, ты вводишь простоту и злую наивность лубка — это тоже твое и это — тоже хорошо. Язык этой пьесы — лучшее, что когда-либо тебе удавалось. Но — ты поторопился. В жизни твоего человека — почти нет человеческой жизни, а то что есть — слишком условно, не реально. Человек поэтому вышел очень незначителен — ниже и слабее, чем он есть в действительности, менее интересен. Человек, который так великолепно говорит с Ним, не может жить такой пустой жизнью, как он живет у тебя — его существование трагичнее, количество драм в его жизни — больше. В жизни твоего человека я вижу одну драму — смерть сына. Это — ничтожно. В момент богатства своего — он совершенно непонятен — удовлетворен он богатством? Насколько? Не удовлетворен? Насколько? А богатство — тоже драма для сильного душой. Его — твоего героя — отношения к жене — буколичны — не естественны. С женами не живут всю жизнь, как с друзьями, это ты прикрасил — зачем?

Вот я познакомился с одним чудаком — это известный художник Диффенбах. На одной из своих картин он изобразил самого себя так — он тащит в гору тяжелый крест, на конце креста сидит его жена, а церковь погоняет его бичем, поддерживая жену. Это, конечно, слишком грубо, как символ, но это реальность. Ты скажешь — не хочу реальности! Пойми — говорю не о форме, а о содержании, оно не может не быть нереальным, надеюсь это не требует доказательства.[3]

Вообще ты слишком оголил твоего человека, отдалив его от действительности и тем лишил его трагизма, плоти, крови. Все написанное слишком значительно по форме и нельзя устоять от естественного желания подчеркнуть незначительность, неполноту, бедность жизни твоего человека. Замечу еще что присутствие старух в первом акте напоминают «Втирушу» Метерлинка. Старухи — мало понятны — что это? Ты говорил И. П.,[4] что это «подсудьбинки», но подсудьбинки, как это ясно у Афанасьева,[5] символизируют не только силы природы, враждебные человеку — но главным образом те явления в его жизни, которые люди считают случайными, но которые создаются сцеплением ряда причин, лежащих в отношениях людей друг к другу и становятся логически необходимыми. Последний акт красив, картина, но старухи мешают понять его и заслоняют трагизм конца жизни. Я также не могу понять почему ты избрал для твоего человека местом его окончательной гибели — кабак. Почему не церковь? Не площадь, на которой он пред глазами людей вступает в борьбу с Ним. Моя уверенность в силе твоего таланта говорит мне — ты мог-бы написать эту очень крупную вещь лучше, чем написал. Вот. Но ты торопишься. Куда? Тебе — не куда спешить, поверь мне. Никто тебя не ценит так, как я и я-то знаю, что ты писатель не современный, что и подчеркиваю. Тебя будут не только читать, но и изучать. По сей причине я и убеждаю тебя — без результата — относись к себе с бо́льшим уважением, чорт немецкий!

Я рад, что здесь Средиземное море похоже на Ниагару, потому что оно тоже несравнимо выше и грандиознее всего, что о нем говорят и пишут. Народ — жулик, но милый, грязен, но красив, любит деньги, но как ребенок. Употребляет их преимущественно на игру в карты. Капри — кусок крошечный, но вкусный. Только комары ночью кусают.

Вообще здесь сразу, в один день, столько видишь красивого, что пьянеешь, балдеешь и ничего не можешь делать. Все смотришь и улыбаешься. Дешево жить. Вот бы где дама Шура могла отдохнуть и поправиться! Об этом подумай.

Ну, пока до свидания! Крепко обнимаю тебя, поздравляю, Шуре[6] целую обе лапки, а маму тоже обнимаю. Кланяюсь тоже всем твоим. Всего доброго, дружище! Пиши! Когда соберешься — телеграфни Капри, мне.

Все, около меня, живущие, кланяются купно со мной.

А.

ПРИМЕЧАНИЯ К ПИСЬМУ 4:

[1] Письмо написано Горьким вскоре после его прибытия из США на Капри (Италия) и до кончины жены Андреева. В извлечениях письмо по-русски впервые опубликовано в моей работе «Облик «Некто» на сцене» («Русская Мысль», Париж, 1958, № 1274 и след.), полностью печатается впервые здесь.

[2] «Жизнь Человека» была закончена Андреевым 23 сентября 1906 года. Начиная с первой публикации, Андреев делал на пьесе следующую надпись: «Светлой памяти моего друга, моей жены, посвящаю эту вещь, над которой мы работали вместе».

[3] Повидимому, по недосмотру Горького в фразе одно лишнее отрицание.

[4] И. П. — возможно — Ладыжников (см. примечание № 2 предыдущего письма)

[5] А. Н. Афанасьев (1826-1871) исследователь-этнограф, фольклорист, знаток русских народных сказок и автор специальных работ (сторонник мифологической школы).

[6] Жена Л. Андреева.

БАЛЬМОНТ

Бальмонт ушел из мира живых давно, за десять лет до своей физической смерти. Он страдал душевной болезнью, о нем забыли, и мало кто знал, как борется со смертью непокорный дух Поэта, как мучительна и страшна была эта десятилетняя агония.

В прошлом, в годы своей всероссийской славы, Бальмонт был горд, заносчив, в гневе несдержан. Человек, стихи которого заучивала наизусть вся Россия, был бесконечно одинок, может быть потому, что Бальмонта-человека просто нельзя было любить. Жил он в каком-то странном, выдуманном им мире музыки и ритма, среди друидов, языческих богов, в мире колдовства, солнца и огненных заклинаний, в пышном и несколько искусственном нагромождении красок и звуков.

Не помню теперь, когда и при каких обстоятельствах мы познакомились. Первая, сохранившаяся у меня коротенькая записка поэта относится к 1926 году:

«...Вы указываете время до 3 часов дня. Трудно. Я засыпаю в 3 часа ночи, в 6 утра меня будит противный шум улицы, и долго я лежу с открытыми глазами, безгласно проклиная Город. Затем вторичный тяжелый сон — и, конечно, утро мое запоздалое. Заходите лучше, когда сможете, часов в 6 вечера.

Жму руку. Не сердитесь...»

Бальмонт жил в эти годы в замечательном квартале, неподалеку от Люксембургского сада, совсем рядом с Тургеневской Библиотекой, которую уничтожили наци во время оккупации Парижа. Жил он замкнуто, почти нигде не появлялся. Бальмонт ненавидел город, шумные улицы, бесполезных людей. К тому же, это были тяжкие годы — поэзия его оказалась вдруг ненужной, и к человеку, котрый написал так много замечательных стихов, новые, не всегда «молодые» поэты с Монпарнасса относились с снисходительным пренебрежением. Бальмонт от всего этого страдал невыносимо и бывал счастлив только вдали от всех, наедине с самим собой, у моря.

---

* Глава из готовящейся к печати книги «Близкие, далекие».

— Это, — великое счастье и великая душевная чистота — быть одному, — говорил он.

Почему-то, когда я шел к нему через весенний Люксембургский Сад, вспомнилась одна наша давнишняя встреча на берегу Атлантического океана. Бальмонт жил в то лето в деревушке, затерянной в песчаных дюнах, среди которых одиноко высился белый маяк. Случайно я попал на этот пустой, унылый, бесконечный пляж. В первый же день мы встретились на берегу, в час отлива. Он шел, глубоко задумавшись, слегка припадая на одну ногу, и на влажном песке, у самой воды, оставлял глубокие следы. Поэт нисколько не удивился встрече, словно ждал ее и сказал, после приветствия, слегка нараспев:

— Вы — многозоркий!

И должно быть, поймав мой вопросительный взгляд, перевел с поэтического языка на обыкновенный: в том, что я писал, ему нравилась некая наблюдательность.

Мы шли по пустынному берегу и Бальмонт читал свои певучие стихи:

И свадебным и похоронным звоном
Вхожу в неисчерпаемое Море,
Вокруг меня — лазурной рамой — Вечность.
В моей судьбе — камней редчайших россыпь
Жива, живу, и музыкой мгновенья
В моей крови любая плещет капля.

Он жил в небольшом домике, на краю деревни, там, где пески совсем вплотную подходят к рыбачьим хибаркам. Когда спадала жара, Бальмонт уходил вдоль моря, по пляжу, в сторону старинного, многобашенного протестантского города Ларошель. Иногда он присаживался на просмоленную барку, лежавшую на берегу, ждал прилива, и когда издали, с глухим и ровным гулом подходил океан, затапливал пески и с ревом разбивался у гранитной набережной, душа поэта наполнялась мистическим ужасом, — «неисчерпаемое Море» манило и пугало его.

Позже, этим летом, он прислал мне в Париж длинное письмо. Вот начальные его строки:

«Вы спрашиваете, как я живу, что думаю, что делаю.

Трудные вопросы, но постараюсь дать полные и точные ответы. Однако, живу ли я точно или это лишь призрак, — остается для меня самого не совсем определенным. Мое сердце в России, а я здесь, у Океана. Бытие неполное.

Я радуюсь возможности жить не в городе, особенно не в Париже, который последние пять лет мне стал ненавистен — и оттого, что я не выношу грязного воздуха и тупого грохота, —и оттого, что зарубежные русские или потопли в своей беде, или занимаются политическим переливанием из пустого в порожнее — и оттого, что современные французы плоски, неинтересны, душевно бессодержательны. Здесь с утра до вечера, и с вечера до утра, если бодрствую всю ночь, я слышу лишь один звук — широкий гул Океана, — и я вижу лишь два зрелища — простор полей и в особенности синий простор Океана...»

***

«Политическое переливание из пустого в порожнее»... Он не любил политики, чуждался ее и, кажется, считал политику ответственной за все свои личные несчастья и за то, что стихов его больше никто не читал. В юности был революционером, эмигрировал, писал антимонархические и не очень удачные стихи и до конца жизни считал себя человеком левым, что не мешало, однако, высказывать ему подчас мысли необычайно реакционные.

Однажды он рассказал мне:

— В Москве меня вызвали в Чека. Дама-следователь, подслеповатая, в пенснэ, спросила:

— К какой политической партии вы принадлежите?

Я ответил кратко:

— Поэт.

***

Помню вечер на парижской квартире Марины Цветаевой. Мы сидели вдвоем, в сумерки, и говорили о поэзии. Была сырая осень, в квартире еще не топили, Цветаева зябко куталась в оренбургский платок.

Говорили о Блоке («Он был нездешний. Он пришел с того света») о Брюсове, о Бальмонте.

— Бальмонт был не русский, — сказала Цветаева.

— Как? А его совершенно пушкинское: «Есть в русской природе усталая нежность»?

— Да. Хорошо. Но это — исключение. Бальмонт в русской поэзии — заморский гость. Мне всегда казалось, что он говорит и пишет на каком-то иностранном языке. На каком — не знаю. На бальмонтовском.

***

Он мог быть вспыльчивым, бешеным, невыносимо грубым, но мог быть и очень ласковым, приветливым, впрочем, даже в эти хорошие дни не терял своего высокомерного отношения к людям.

Однажды он подарил мне свою фотографию и надписал на ней стихи:

Хоть капля я, но путь всех капель — в море.

Был я тогда совсем молодым, начинающим литератором, самомнением никогда не страдал, но всё же в душе немного обиделся: ну, знаю, что я в литературе — капля, но для чего же нужно было это так подчеркивать?

Много лет спустя в «Воспоминаниях» Бунина прочел о Бальмонте: «Когда-то, в журнале Брюсова, в «Весах», называл меня в угоду Брюсову, «малым ручейком, способным лишь журчать».

Я после этого успокоился...

К слову сказать, Бальмонт никого не любил, а Брюсова ненавидел лютой ненавистью. По свидетельству Цветаевой, в день своего отъезда из России, 12 июня 1920 года, уже стоя на грузовике, Бальмонт на прощанье крикнул провожавшему его имажинисту Кусикову:

— С Брюсовым не дружите!

***

Сейчас не могу вспомнить — кажется, окно парижской комнаты Бальмонта выходило в чужой сад, или на верхушки платанов соседнего бульвара Пор-Руаяль, но первое, что он показал мне широким, горделивым жестом, — это были верхушки деревьев. Так утопающий в золоте магараджа показывает гостям свой сад с райскими птицами.

— Я уезжаю. Надолго, — сказал Константин Дмитриевич. Я много прожил на земле, много видел людей, бывал и раньше в изгнании и пришел сейчас к заключению, что эмиграция перестала существовать: душа умерла. Здесь больше нет ключа живой воды, нет служения, и я не знаю, что выйдет из наших жертв, и будут ли они когда-нибудь нам засчитаны.

Я познал первую горечь изгнания еще в 1902 году. После избиения манифестантов казаками я прочел на вечере мое стихотворение «Маленький Султан». Слышали ли вы его когда-нибудь?

Это было в Турции, где совесть вещь пустая,
Где царствует кулак, нагайка, ятаган,
Два-три нуля, четыре негодяя
И глупый, маленький Султан.

Обыск. Высылка. Я уехал в Англию переводить Шелли. Потом в Париже я застал Максимилиана Волошина и С. Л. Полякова-Литовцева. Они жили дружно, бедно и трогательно, всем друг с другом делясь. Второе изгнание, после 1905 года, продолжалось семь лет... И сейчас — третье. Признаюсь, я не нахожу удовольствия быть изгнанником.

Бальмонт вдруг разволновался и, закинув назад голову, — лоб его от волнения покрылся красными пятнами, начал отрывисто говорить:

— Я не знаю, где для меня было больше страданий: в России, где я три года подряд голодал, или здесь. Здесь нельзя дышать, здесь просто задыхаешься. Уехать в Россию? Я не хочу жить в непосредственной близости к «начальству» и не приемлю насилия...

***

Зимой, на писательском балу в Отеле Лютеция, мы сидели вдвоем за столиком. Перед нами стояла бутылка белого бордо. Бальмонт потягивал вино из своего бокала, быстро хмелел и всё читал стихи, — я любил слушать его певучий, какой-то носовой голос.

Буфетный лакей, томившийся без дела или желавший поскорее освободить столик, подошел без приглашения и положил на скатерть счет.

И здесь я увидел страшного Бальмонта. Он побелел, поднялся во весь рост, бешено сверкнул глазами и, подняв бокал с вином, не сказав ни единого слова, разбил его о голову лакея...

Позже такие случаи участились, и его уж боялись приглашать в семейные дома и на литературные вечера из опасения скандала. Должно быть, это было начало той длительной душевной болезни, которая привела Бальмонта сначала в больницу, потом в Дом Отдыха матери Марии, где он прожил последние годы своей тяжкой жизни, — притихший, ничего больше не сознававший, никогда больше не улыбавшийся.

***

Он мог говорить о себе в третьем лице:

— Поэт хочет любить!

Охотно декламировал Есенина, Ахматову, Цветаеву. Об Ахматовой говорил:

— Я знал ее еще в Петербурге. Она была тогда прекрасной женщиной: тонкое лицо, полное одухотворенности, гибкое, змеиное тело, и вся она походила на египетскую плясунью.

Он мог рассказывать часами о своих странствиях, о лесах Явы, об австралийских просторах, о священных танцах Индии, о малайских заклинаниях, ночных ритуалах «вуду». У него столько накопилось, он так много в жизни видел! Поражала любознательность Бальмонта, его жажда знания, его неутомимая работоспособность — он писал целые ночи напролет, он говорил, что ночь — это рабочий день Поэта. По существу, Бальмонт был великим тружеником, он не ждал вдохновения или «посещения Музы», он писал регулярно, по многу часов каждый день, всю жизнь. Что стало с множеством его неопубликованных рукописей?

Он был не такой, как все люди, отличался от других не только душевно, но и внешним видом. Казалось, он сошел с полотна Рембрандта. Его часто сравнивали с испанским грандом, — Испания была необыкновенно ему близка и, кажется, он культивировал в себе внешнее сходство с рыцарем Гойи или средневековым трубадуром. Читая, он откидывал назад голову. У него был высокий, открытый лоб, копна рыжих волос, к которой в последние годы начала прибавляться седина; глаза внезапно загорались и быстро потухали, — они были странного, зеленоватого оттенка, такого же, как большой изумруд в его галстухе.

В последнюю нашу встречу, когда Константин Дмитриевич был по настоящему уже болен, подавлен душевно, как-то особенно высокомерен, словно бросал вызов всему миру, он прочел мне мрачуню поэму Эдгара По о «Вороне». И я слышу еще сейчас его голос: рыкающий, неровный, резкий и в то же время певучий:

И сидит, сидит зловещий, Ворон черный, Ворон вещий.
С бюста бледного Паллады не умчится никогда,
Он глядит, уединенный, точно демон полусонный,
Свет струится, тень ложится, на полу дрожит всегда,
И душа моя из тени, что волнуется всегда,
Не восстанет — никогда!

***

Мне рассказывали: Бальмонта хоронили глубокой осенью. Свеже вырытая могила была наполовину затоплена водой. Так, в эту холодную и мутную воду и опустили гроб Поэта.

Андрей Седых

В БУРНЫЕ ГОДЫ*

В ТОЛСТОВСКОМ ДОМЕ

Осенью 1906 года я был оставлен при Московском университете для подготовления к профессорскому званию со стипендией из сумм Министерства народного просвещения в 50 рублей в месяц. Это давало мне возможность не искать заработка и тотчас же приступить к подготовке к испытаниям на ученую степень магистра государственного права. Испытания по избранной мной специальности — по истории политических учений — были делом нелегким: нужно было изучить по утвержденной факультетом программе сочинения всех выдающихся политических мыслителей, начиная с древности и кончая нашими днями; затем, государственный строй главнейших европейских держав и, наконец, в качестве дополнительного предмета, международное право. Магистерские испытания происходили на заседании профессоров юридического факультета, каждый профессор мог задать экзаменующимся какой угодно вопрос в пределах утвержденной программы, кроме того требовалось представить факультету до десяти рефератов на заданные руководителем экзаменующегося темы. Около двух лет потратил я на эту подготовку, сидя за книгами с утра и до вечера. Наконец, предстал перед лицом седовласых мужей, которые начали меня «испытывать», задавая часто вопросы только для того, чтобы показать, что они знают предмет не хуже, чем сконфуженный перед лицом важного собрания молодой экзаменующийся. Профессор международного права, граф Комаровский, задал мне, например, такой вопрос: какое отношение устанавливает Аристотель между государственным строем государства и организацией войска? Я случайно вспомнил, что в «Политике» Аристотеля высказывается такая мысль: в аристократических государствах предпочитают конницу, а в демократических пехоту, — и заслужил, как видно было, всеобщее одобрение. Видно, что хорошо изучил молодой человек предмет, знает мелкие дета-

---

* См. кн. 53 и 54 «Нового Журнала».

ли.. а таких деталей у политических мыслителей сотни — не вспомнишь — будет положение неловкое. Гора свалилась с плеч, когда я, в совершенном изнеможении, вышел из заседания факультета. Оставалось еще держать экзамен по дополнительному предмету, международному праву, что оказалось не очень трудным. Стипендия моя подходила к концу, нужно было думать о заработке, поиски которого мешали подготовлению к дополнительному экзамену и к двум пробным лекциям для получения звания приват доцента. Здесь мне помог счастливый случай. Мне предложили гувернерство и урок в доме старшего из детей Льва Николаевича Толстого, Сергея Львовича. Нужно было заниматься с его сыном, внуком великого писателя, Сережей, мальчиком лет 11-12, который днем будет ходить в гимназию, так что день у меня будет свободным, а после гимназии гулять с ним, помогать готовить уроки и исполнять обязанности воспитателя. Деятельность эта была мне знакома, аристократическая среда известна по предшествующим урокам в доме графа П. А. Шувалова и светлейшей княгини Ливен. Толстовская семья была для меня более интересна, чем аристократические родители моих прошлых учеников. Я не был толстовцем, но Толстой был моим любимым писателем. Лица, изображенные в его романах, нарисованы с такой художественной отчетливостью и правдой, что казались мне живыми людьми, с которыми я был давно знаком и которых нежно любил. Среди кружка товарищей моих по университету не было ни одного толстовца, но мы все ценили Толстого за необыкновенное умение остро ставить самые волнительные для нашего поколения вопросы. Постоянно нами обсуждалась проблема непротивления злу насилием, так прямолинейно решенная Толстым. Мы решали ее иначе, чем Толстой, — решали так, как решил Владимир Соловьев: применение физического насилия, говорил он, само по себе не является злом, но злом делает его та цель, с которой оно применяется. Мы часто спорили о том, с чего нужно начинать усовершенствование человеческой жизни — с внутреннего состояния человека или с общественных учреждений? И опять-таки мы не соглашались здесь с Толстым, который весь упор делал на внутреннее усовершенствование, но считали Толстого возбудителем этой проблемы, который шевелил мысль и пробуждал совесть. Познакомиться с Толстым и с толстовством мне казалось очень интересным, а кроме того предложенные мне условия были очень хорошими. Я должен

был жить в толстовском доме в «Хамовниках» на всем готовом и получать гонорар в 100 рублей в месяц.

В начале сентября 1908 года я переехал в толстовский дом. Дом был старый, одноэтажный, с «антресолями», в которых никто не жил. Был он окружен высоким забором с деревянными воротами. За воротами был большой двор с цепной собакой в конуре, службами, сараем, конюшнями. За домом был большой сад, окруженный высокой изгородью. Словом — целое поместье на московской окраине. Местность в то время была глухая, около дома возвышалась большая шелковая фабрика Жиро. Переулок одной стороной выходил на Девичье поле, где помещались московские клиники, так называемый «клинический городок», кончавшийся оградой Новодевичьего монастыря, за которым уже шли пригородные огороды на берегу реки Москвы. Другая сторона Хамовнического переулка упиралась в казармы на берегу делающей извилину реки Москвы. Мне отвели в доме последнюю комнату, направо по коридору, окнами в сад, рядом с комнатой моего будущего воспитанника. Жена Льва Николаевича, София Андреевна, была тогда в Москве и сама ввела меня в предназначенную мне комнату, сказав: «это была комната Льва Николаевича. Смотрите, вот здесь гвоздь, на котором он хотел повеситься во время своего религиозного кризиса, когда совсем сходил с ума». На стене был большой, черный железный гвоздь, на который обычно вешались картины.

Отец Сережи, старший из сыновей Льва Николаевича, Сергей Львович, был женат первым браком на дочери С. А. Рачинского, известного ученого агронома и бывшего директора Сельскохозяйственной академии в Петровском-Разумовском под Москвой. Дочь Рачинского, первая жена Сергея Львовича, была ученой женщиной, получившей образование в Оксфорде, и обладала выдающимися способностями по математике. Сергей Львович, окончив Московский университет по естественному факультету, как сам мне рассказывал, пришел советоваться к отцу, что ему делать дальше. К отцу в его кабинет, считавшийся настоящей святыней, нужно было входить по особому докладу. «Доложили, — рассказывал мне Сергей Львович, — я вошел к папá. Говорю: 'пришел поговорить с тобой, что мне делать'. — 'Научись шить сапоги' — ответил мне отец». Сергей Львович вышел от отца, поехал к Яру, напился, потом выехал в Петербург искать службу и поступил чиновником особых поручений в Министерство внутренних дел. Служба эта его не удовлетворяла, да в сущ-

ности говоря, и не было никакой службы, а было сплошное безделье. Когда Петербург ему надоел, он переехал в свое собственное имение, Никольское-Вяземское в Орловской губернии, завещанное ему его дядей, родным братом Льва Николаевича. Потом женился и стал в своем уезде земским начальником — должность не вполне подходящая графу. Имение было небольшое. Дом в нем был старенький, деревянный, непропорционально растянувшийся в длину по сравнению с его высотой. Около дома сад и деревенька, в которой жили чрезвычайно бедные мужики, принадлежавшие к секте «субботников» — «мы по жидовской вере» говорили они. Не могу удержаться от того, чтобы передать впечатление, которое произвел этот дом на женевского швейцарца, *Monsieur* Кюэса, который занял место сережиного гувернера, когда я покинул Толстых и уехал за границу. «Стены с обвалившейся во многих местах штукатуркой представляли собою для пораженного взгляда серое поле со следами, оставленными многочисленными мухами и улитками, зимовавшими в этом милом, старом доме и оставлявшими на стенах свои причудливые узоры. Потолок обнаруживал внушавшие беспокойство выпуклости, а искривленный пол скрипел под ногами. Потолок на террасе готов был обвалиться. Крошечная входная лестница со стороны фруктового сада представляла собою живописную руину».* На меня этот дом не производил столь «художественного» впечатления, так как я привык видеть дворянские поместья совершенно такого же стиля, и даже похуже. Можно предположить, что во время молодоженства Сергея Львовича дом был не лучше, и жене его, привыкшей к Оксфорду и к богатой жизни у своих родителей в Бельском уезде Смоленской губернии, он был не по душе. Не знаю, как там сложилась семейная жизнь, но мать Сережи, ждавшая ребенка, за несколько дней до родин велела заложить лошадей и уехала от мужа к своим родителям. Здесь она родила Сережу и при родах умерла. Мальчик остался у дедушки и бабушки. Ему были выписаны из Англии две гувернантки, старые девы довольно анекдотического характера. Я слышал, но не ручаюсь за истину этого слуха, что дедушка и бабушка Рачинские не хотели отдать мальчика в «развратную семью Толстых», прибегнув при этом к высочайшей протекции со стороны вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Так мальчик про-

---

* *Maurice Kues. Tolstoi vivant. "La Guilde du livre"*, Lausanne, p. 161.

жил в Бельском уезде до тех пор, когда Сергей Львович женился во второй раз на графине Марии Николаевне Зубовой, женщине немолодой, очень культурной, в чертах лица которой не было особой прелести, но видна была «порода». Она была довольно состоятельна, имела порядочно запущенный, но доходный дом в Москве и долю участия в огромных зубовских владениях в Ковенской губернии. Город Шавли был построен на зубовской земле, и все его домовладельцы были зубовскими арендаторами.

В мое время Сергей Львович нигде не служил, вечно сидел в своем кабинете и наигрывал что-то на рояле. У него было много черт его знаменитого отца. Сыном своим он вовсе не занимался, редко с ним разговаривал, разве только за обедом. Унаследовал страсть к карточной игре, которой страдал в молодости Лев Николаевич. Мария Николаевна мне рассказывала, что Лев Николаевич не раз говорил Сергею Львовичу: «Сережа, если уж играешь, то играй не с этими 'дантистами' в Художественном кружке, играй в Английском клубе». Английский клуб, как известно, был аристократическим учреждением. Там собиралась высшая чиновная и родовая аристократия Москвы. Сергей Львович играл и там и часто проигрывал. Дочь Льва Николаевича, Александра Львовна, в своей книге об отце рассказывает, что в среднем возрасте Льва Николаевича мучали разные семейные заботы и между прочим желание, чтобы дети «сносились с аристократическими семьями» (*«Отец»*, том первый, стр. 341). Родители Сережи после того, как он приехал, стали приглашать к нему товарищей — и все они были из аристократических семей (Бобринские, Львовы, Голицыны и т. д.). Знакомые у Толстых были все аристократические — «цвет» высшего московского общества. Ближайшими друзьями были два брата, графы Олсуфьевы, один важный, напомаженный и надушенный, Димитрий Адамович, член Государственного Совета по назначению; другой — Михаил Адамович, добродушный толстяк, дмитровский уездный предводитель дворянства, к которому я позднее, когда стал на свои ноги, ездил в Дмитров на охоту. В каком несчастном положении я встретил первого из них во время эмиграции в Париже — похудевший, какой-то «облезлый», грязно одетый, он часто выступал на эмигрантских собраниях в качестве оратора из самых правых эмигрантских кругов. Напыщенным и надутым был другой член Государственного Совета, Рачинский, родной дядя Сережи со стороны покойной матери. Но были и совершенно замечательные близ-

кие друзья Сергея Львовича, из них первый — глубокий старик А. С. Бутурлин. Его лучше всего охарактеризовать словами Достоевского: «*Gentilhomme russe et citoyen du monde*». В молодости он жил за границей, был близок к первому Интернационалу, знал лично Карла Маркса и Бакунина, сочувствовал больше первому, чем второму. Заслушаться можно было его рассказами и воспоминаниями о Герцене, Нечаеве, Лаврове и других интересных людях далекого прошлого. Жил он в то время, когда я его встречал, в маленькой квартирке на Плющихе, днем спал до вечера, читал и работал по ночам до утра. Приходил часто обедать к Толстым, или мы с Сергеем Львовичем ходили к нему к часам одиннадцати ночи и до двух часов утра разговаривали и слушали его рассказы. В те времена он занимался изучением ассиро-вавилонской истории, учился английскому языку, и писал свои воспоминания. Тогда ему было восемьдесят лет.

Окружающая среда в Хамовническом доме меня не тяготила, сами хозяева были людьми, лишенными всякого чванства, интеллигентными, радушными, милыми. Для меня жизнь была тяжела только в одном отношении — в вегетарианской пище. Я был молод и мне постоянно хотелось есть. Сергей Львович любил поговорить в защиту вегетарианства, причем всегда приводил аргументы не из религии (грешно есть «убоину»), а из естественно-научных соображений. Он утверждал, что человек, происшедший от обезьяны, по природе своей был травоядным, а не плотоядным животным, как все обезьяны. Эти рассуждения не мешали ему, однако, и отступать от вегетарианства, стараясь скрыть это от своей жены. По средам он отправлялся обедать в Английский клуб, где делали замечательный суп «*à la tortue*». Помню, когда я много позднее гостил у них в Никольском-Вяземском, Сергей Львович потихоньку от жены зазывал меня в чулан, где висели окорока ветчины, и мы подкреплялись ими после голодных вегетарианских обедов. Мария Николаевна была попечительницей каких-то школ и членом разных благотворительных обществ, что брало у нее немало времени. К пасынку своему, Сереже, она относилась хорошо, но без особой нежности.

Через два-три дня после моего переезда в толстовский дом приехал мой будущий питомец, Сережа. Это был мальчик немного сутулый, маленького роста для своего возраста, смущенный и испуганный новой для него обстановкой. Как будто его привели в лагерь врагов, которые собираются его убить. Я не знаю, видел ли он когда-либо своего отца, но мачеху

свою Марию Николаевну, конечно, никогда не видел. Не только стеснительность перед незнакомыми людьми, но, главное, недоверие к толстовской среде, против которой его восстанавливали дедушка и бабушка, у которых он жил, заставляли его сжиматься при всяких попытках его приласкать и ободрить. На меня он глядел с нескрываемым ужасом, считая, повидимому, что я являюсь главным мучителем или палачем. Не желая присутствовать при начавшихся семейных разговорах с гувернанткой Сережи, старой англичанкой, за которую мальчик старался держаться, я предложил пойти погулять в сад. Повел его под руку, стараясь занять разговором. Когда мы сделали несколько шагов по садовой дорожке, Сережа зарыдал, вырвался у меня и пустился бегом назад в дом. Он плохо спал первые ночи, так что приходилось входить в его комнату и стараться его успокоить. Московские улицы и главное толпа его пугали. Помню, как я его повел гулять к Хамовническим казармам, где был сквер и играл оркестр военной музыки. Было много народа, преимущественно фабричных рабочих. Зрелище это его так смутило, что он начал плакать и умолять меня уйти как можно скорее.

Все это быстро прошло. Сережа начал ходить в Поливановскую гимназию, сначала с провожатым, потом один. С гимназией он быстро освоился, оказался мальчиком способным, умным, даже самодеятельным. Мне не нужно было готовить с ним уроки, он все делал сам и очень редко просил объяснить ему какую-нибудь трудную математическую задачу. Гимназия ему, видимо, нравилась, к Москве и семье он привык. Воспитание его почти исключительно лежало на мне. Я только постоянно советовался с Марией Николаевной, которая всегда давала советы умные и, видимо, полагалась на мои педагогические способности, которыми я обладал в молодом возрасте и, как мне кажется, совершенно утерял в старости. Сережа стал любимым моим учеником из многочисленных других, которых мне пришлось иметь в течение моего студенчества. По окончании гимназии он поступил на юридический факультет Московского университета, очень интересовался философскими вопросами, и я мечтал оставить его при университете для подготовления к профессуре. Последующие катастрофические события разрушили эти планы, и я потерял из вида и его самого и его семью. Недавно в Европейском Отделении Объединенных Наций в Женеве один советский переводчик сообщил мне, что он учился английскому языку в Москве у Сергея Сергеевича Толстого, внука Льва Толстого.

На Рождество 1908 года мы, Сергей Львович, Мария Николаевна, Сережа и я, поехали в Ясную Поляну. Имение Л. Н. Толстого отстояло в нескольких верстах от станции Курской железной дороги, за Тулой, и мы приехали туда ранним утром. Была зима, не холодная и с небольшим количеством снега. Сели в сани и поехали в усадьбу, которая расположена была на небольшой возвышенности. С большой дороги к усадьбе вела широкая дорога в гору, обсаженная большими березами. Подъем к усадьбе был не крутой, но всё-таки по нему можно было в снежную зиму, сев на деревянные санки, катиться вниз к большой дороге и к воротам усадьбы. Это было любимым занятием молодежи, жившей в Ясной Поляне. В усадьбе было два дома, один старый, оставшийся еще со времени деда Льва Николаевича, князя Волконского, но позднее перестроенный; другой новый, зимой необитаемый, построенный для гостей. За домами расположен был огромный сад, спускающийся вниз, в обратную сторону от большой дороги, в низину, за которой тянулся большой лес, именуемый «Засекой». Внутри дома, где жила семья, не было никакой преувеличенной роскоши — вроде той, которую я видел в шуваловском доме на Поварской или у княгини Ливен на Страстном бульваре. Встретивший нас лакей, в серой куртке с серебряными пуговицами, свидетельствовал, что в доме живут не простые состоятельные дворяне, но помещики аристократического стиля. Нас с Сережей поместили в нижнем этаже, в комнате со сводами. Наверху были жилые комнаты, столовая, большая гостиная, где висели портреты Льва Николаевича и вечером собиралась вся семья. Я первый раз увидел Льва Николаевича в окно из сеней разговаривающим с какими-то людьми, пришедшими к нему для советов и поучений. Такие люди приходили к нему каждое утро, со всех концов России, но не в большом числе. Меня представили многочисленным родственникам и гостям, собравшимся тогда в Ясной Поляне. Общество было очень разнообразным — и даже с первого взгляда можно было различить две категории людей, которые его составляли. С одной стороны — представители дворянско-помещичьей России, с другой — те, которых по свидетельству Александры Львовны, в семье Толстых называли «темными». (*«Отец»*, т. II, стр. 35). К первым принадлежали старшая дочь Льва Николаевича, Татьяна Львовна Сухотина с своим мужем, обрюзгшим и толстым человеком дворянско-помещичьего вида. Татьяна Львовна была полной, некрасивой, преувеличенно просто одетой дамой, и

суровые черты лица ее отца приобрели у нее облик, чуждый обычной женской привлекательности. К хорошему обществу, собравшемуся в Ясной Поляне, принадлежали также родственник Толстых, петербургский лицеист или правовед, Кузьминский, и немолодая, но «хорошо сделанная» барышня, которую все звали «Марусей» — сестра известного присяжного поверенного, члена Государственной Думы и общественного деятеля, В. А. Маклакова.

По внешнему виду, по манерам держать себя, по скользящей из каждого жеста самонадеянности, к «светлым» должен был бы принадлежать и ближайший к Льву Николаевичу человек, его наиболее видный последователь, Чертков, — статный, высокий, с орлиным носом и высоким лбом, над которым художественно были зачесаны назад волосы. Я думал, глядя на него, что он создан для того, чтобы в него влюблялись женщины. Но будучи «светлым» по внешнему виду, он держался с «темными», многочисленная компания которых, как я потом увидел, его окружала. К «темным» принадлежал и доктор Душан Маковицкий, по роду словак, производивший на меня впечатление юродивого старика. Отлично его описывает Александра Львовна: «выпуклые серые глаза его упирались в одну точку, лысая, с белокуро-седыми волосами и рыжеватой с проседью бородой, голова его — застывала в напряженной неподвижности». Он вечно что-то записывал «и записывание это, и святость Душана меня раздражали, и я немилосердно дразнила Душана и мешала его записям» («Отец», том 2, стр. 271). Александре Львовне можно посочувствовать, Душан действительно раздражал какой-то сквозившей от него тупостью, хотя и был человеком «почти святым». Так раздражают иногда «почти святые» бабы богомолки, а Душан смотрел на Льва Николаевича, как на святого, и молился ему, как Богу. К «темным» принадлежал и скромный художник Орлов, из «передвижников», бедный и милый человек, одетый всегда в блузе по-толстовски. Секретаря Льва Николаевича, В. Ф. Булгакова, я почти не видел, он был в отпуску.

В день нашего приезда, в первом часу нас позвали к завтраку в столовой, где был накрыт стол на двадцать-двадцать пять человек. Перед завтраком меня предупредили, что толстовский завтрак имеет два меню — одно вегетарианское, для Льва Николаевича и других толстовцев, другое — скоромное, мясное. Сергей Львович шепнул мне, что в вегетарианском меню сегодня будет цветная капуста под бешамелью,

— овощь в те старые времена на Рождество довольно редкая, которую можно было достать только в Москве у Елисеева. За столом мы заняли промежуточное место — недалеко от цветной капусты и довольно близко от «убоины». Когда все уже кончили рассаживаться, растворилась дверь и в столовую вошел сам Лев Николаевич — среднего роста, сутуловатый, худой, но еще бодрый для своих восьмидесяти лет старец, с суровым, окаймленным седой бородой лицом, с суровыми чертами лица, с большими бровями и с пристальным взглядом, в котором не видно было свойственной иногда старым людям благодатной доброты, но скорее начертана была беспощадная строгость обличителя человеческих грехов и проповедника совершенной жизни. Такими изображали художники христианских божьих угодников и аскетов, религиозных реформаторов и создателей новой веры. Он был внушителен и представителен в своей простой серой блузе, и с первого взгляда импонировал людям. Он внушал уважение к себе, даже более того, заставлял говоривших с ним людей как-то подтянуться, преодолеть в себе распущенность, стать более строгим к себе и, почувствовав кривизну своей жизни, хотя бы на короткое время выпрямить ее.

Меня представили Льву Николаевичу, как нового учителя, и по моему первому впечатлению во взгляде Льва Николаевича я не нашел никакого одобрения и поощрения моей деятельности. Ведь сколько перебывало учителей и репетиторов в толстовской семье! Сели за стол. И мне показалось, что одна только хозяйка, Софья Андреевна, перекрестилась согласно русскому обычаю. Принужденный и безразличный разговор вполголоса, который обычно бывает в начале обеда, был вдруг нарушен Львом Николаевичем: «Николай Николаевич, — обратился он ко мне громко и строго — сидели ли вы в тюрьме?». Вопрос этот привел меня в неописуемое смущение, увеличенное тем, что я стал центром внимания всех присутствующих. Я колебался и не знал что ответить. Потом решил говорить правду: «сидел, Лев Николаевич, — сказал я громко и внятно, — в Бутырской тюрьме, шесть месяцев». «Вот видите, — заключил Лев Николаевич, — у нас в России все порядочные люди сидели, а я не сидел, нехорошо».

Водворилось неловкое молчание. Я сразу почувствовал, что многими зачислен в лагерь «темных». Оставался вопрос, за что сидел. И здесь могли возникнуть крупные разногласия со взглядами Льва Николаевича. Вопроса этого мне не удалось подвергнуть дальнейшему обсуждению.

В течение моего недолгого пребывания в Ясной Поляне я не имел никакого принципиального разговора с Львом Николаевичем. Учение его я знал. Спорить с ним считал невежливым, просить у него жизненного совета считал излишним. Однако я сталкивался с ним лицом к лицу и имел разговоры не миросозерцательные и философские, а чисто житейские. И они представляются мне поучительными для уяснения того, что такое представляла из себя толстовская жизнь в Ясной Поляне.

Вечером этого дня, да и всех последующих дней, все собирались в большой гостиной, куда Лев Николаевич выходил из своего рабочего кабинета и, расхаживая в своей любимой позе — руки за поясом серой блузы, вступал в разговор, иногда острил и мило шутил. Присутствующие вели разговоры, играли в шахматы и карты. Оказалось, что не было четвертого партнера за столом для игры в винт. Начали усаживать меня, я не играл в винт и вообще не был картежником. Но всё-таки меня усадили, говоря: «будем помогать, научитесь». Я делал непростительные ошибки, возбуждал смех. Ко мне подошел сзади Лев Николаевич и начал помогать. «Да не так ходите, — говорил он с раздражением, — нужно было с червей, а не с пик. Да ведь у вас был малый шлем, а вы сидите без двух». «Не учите, — вступился Сергей Львович, — пусть сам играет». Видно было, что игра Льва Николаевича очень интересовала и даже увлекала — и под его компетентным руководством, в конце концов, я даже выиграл. Это ведь не очень обычная вещь быть в картах учеником Льва Николаевича Толстого.

После завтрака, мы катались на санках или брали лыжи и ходили вниз в лощину к «Засеке». На только что выпавшем снеге было много заячьих следов. Я говорю Сергею Львовичу: — «у вас в саду зайцев много». «А вы охотник? — спрашивает он, — Возьмите у лакея ружье и отправляйтесь завтра рано утром распутывать заячьи петли по снегу». — «Да неловко, — говорю я, — в Ясной Поляне заниматься охотой». Мы порешили, что Лев Николаевич не увидит, и я на следующее утро достал ружье и отправился в сад. Я уже выходил по цельному, неглубокому снегу из сада на границу леса, когда увидел заячий след, который вел к одинокой небольшой елочке. След около елочки пропадал, так что ясно было, что заяц залег под елкой спать и еще не пробуждался, не выходил гулять после ночного отдыха. Когда я подошел по следу к елке шагов на тридцать, большой русак выпрыгнул из под

дерева и пустился длинными прыжками в лес. Я выстрелил и уложил зайца на месте. Побродив еще с час по свежему морозному воздуху, я решил идти домой, чтоб поспеть к утреннему кофе. Я вышел на дорожку, которая специально расчищалась вокруг сада для прогулки Льва Николаевича. Иду задумчиво, смотрю на прелестный зимний пейзаж, и вдруг на завороте дорожки, из-за кустов, вижу, что навстречу мне идет с палочкой Лев Николаевич, в коричневом полушубке, в какой-то вязаной шапке на голове. Не могу описать степени того смущения, которое я испытал при этой встрече — главное с поличным, убитым зверем в руках. Отступление было невозможно, и мы встретились лицом к лицу.

«А, Николай Николаевич, здравствуйте, — приветливо и ласково сказал мне он. — Русак-то какой, фунтов на девять. Я таких по десятку травил с борзыми в старые времена». Видно было, что пробудилась в нем старая страсть, вспомнились молодые годы, вольный бег коня, позыв охотничьего рога, гиканье и крик доезжачих. Разгладились у него морщины строгого лица, молодая улыбка озарила лицо — но вдруг он замолчал, оборвал свою речь, насупился. «До свидания», отрезал он сухо и строго — и пошел по своей дорожке прочь, вдоль сада.

Незабвенна для меня прогулка, которую Лев Николаевич предложил совершить Марии Николаевне, Сереже и мне по «Засеке». Мы ехали в санках, я сидел на козлах, правил, мой ученик и его мачеха сидели сзади. Лев Николаевич ехал верхом на своей небольшой лошадке, то рядом с нами, то обгоняя нас, иногда отставая. Я был поражен тем, как он свободно садился на лошадь и как по-молодецки сидел на седле в свои восемьдесят лет. Снегу было мало, мы ехали иногда дорогой, иногда напрямик по просекам. Он был бодр, весел и, когда равнялся с нами, что-нибудь рассказывал и шутил. Он любил вставлять в разговор разные смешные и даже глупые поговорки. Помню он сказал Марии Николаевне, говоря о каких-то московских дамах: «Тяжело жить на свете в шелковом корсете, лучше в простом, только голубом».

Мы поехали ряжеными в имение Александры Львовны «Телятники» в нескольких верстах от Ясной Поляны. Здесь жил Чертков со своей многочисленной свитой, состоявшей из молодых людей, более всего похожих на слушателей учительской семинарии или на архиерейских певчих, и девиц неопределенного типа. Чертков выстроил здесь прекрасный деревянный дом, двухэтажный с большими окнами, с балконами и

террасой. Внутренность дома была устроена под русскую избу — бревенчатые стены, лавки вместо стульев и самая простая деревянная мебель. Нас угощали каким-то взваром вместо чая, с медом вместо сахара, — сахар ведь в процессе рафинирования пропускался через порошок из животных костей и потому не употреблялся строгими толстовцами.* Старая дама, таперша, села за рояль, играла польки, вальсы, кадрили, под которые мы весело танцовали. Сын Черткова Дима, красивый юноша, одетый под русского парня, — красная рубашка, шаровары, высокие сапоги, — плясал русскую с какой-то толстовской девицей. Этот Дима, как мне рассказывали, вырос в Англии и будучи юношей 18-20 лет только начал учиться читать и писать — отец считал, что учение излишне и вредно. Недавно приехав из Англии, он легко вошел в русскую деревенскую жизнь, ездил по деревенским свадьбам, играл на гармошке, братался с деревенскими парнями и девицами. Когда, уже по смерти Льва Николаевича, Чертков открыл вегетарианскую столовую в Москве, где-то около Газетного переулка, Дима заведывал там гардеробом, подавал шубы посетителям и женился на одной из прислуживающих в ресторане кельнерш. Не знаю, что с ним стало после революции 1917 года.

Когда мы наплясались и навеселились вдоволь, Чертков повел нас наверх и мы очутились в большой комнате, отделанной как фотографическое ателье. Около огромной фотографической камеры стоял по-заграничному одетый, хорошо выбритый англичанин фотограф, специально вывезенный Чертковым из Англии для заведывания фотографическим ателье, в котором, главным образом, изготовлялись портреты Льва Николаевича. Вся наша компания была увековечена на хорошо отпечатанных фотографических карточках, которые

---

* Не могу удержаться от того, чтобы сообщить один факт, касающийся крайнего толстовского «ригоризма», почерпнутый из вышецитированной книги швейцарца Кюэса: «Чертков, — пишет он, — выдающийся толстовец, имел ту особенность, что со времени своего обращения в толстовство не прикасался более к деньгам. Эта либеральность, сколь она ни была элегантной, имела некоторые неудобства. Она была более символической, чем реальной, ибо Чертков для себя тратил деньги, и не малые. Если он входил в магазин, то за него должен был платить или его слуга, или ученик, или один из друзей» (вышецитированная книга, стр. 73).

у меня пропали вместе со многими моими вещами после отъезда из Москвы.

То был год восьмидесятилетия Толстого. В Ясную Поляну прибыла депутация от студентов разных петербургских учебных заведений — человек пятнадцать-двадцать. Студентами этими завладел Чертков и, по общему мнению, испортил все дело. Он начал с ними спор по поводу их политических взглядов, резко их обвинял за революционность и восстановил их против себя. К самому Льву Николаевичу их пустили один или два раза и опять-таки в сопровождении Черткова. Я говорил с некоторыми из этих студентов, они были этим приемом недовольны и уехали хмурые назад в Петербург. Чертков, самый любимый из толстовских учеников, был не очень умен и чрезвычайно самонадеян. Видно было, что он весь соткан из мелкого самолюбия, которое не умел скрывать. «Смотрите, — сказал мне Сергей Львович, после того как обыграл Черткова в шахматы, — смотрите как он надулся из-за этого пустячного проигрыша. И так всегда, во всех своих делах».

Даже от такого постороннего человека, каким был я, не могло укрыться то напряженное состояние, которое чувствовалось в семье в силу глубоких недоразумений между хозяйкой дома, Софией Андреевной, с одной стороны, и Александрой Львовной и Чертковым, с другой. В подробности этих прискорбных отношений посвятила меня сама София Андреевна, нашедшая во мне человека, которому можно было изливать душу и жаловаться на все несчастья. Нельзя судить чужих семейных отношений. Я и не хочу судить, я только хочу поделиться теми впечатлениями, которые остались у меня от жены Льва Николаевича. София Андреевна была со мной предельно любезна и ласкова. «Вы сережин учитель, — говорила она, — представьте себе, что отец вашего ученика постоянно говорит, что учиться не стоит, что в гимназии ничему путному не научишься, что ходить туда нет смысла. В каком бы вы были положении как учитель? А ведь у нас именно было так — дети не хотят идти в гимназию, отец в это не только не вмешивается, но видимо считает их поведение правильным». Что так действительно было, подтверждает и Александра Львовна. «Два мальчика, — пишет она, — каждое утро будились со скандалом, ругали лакея, почтительно раскачивающего их за плечи; извольте вставать, девятый час, опять в гимназию опоздаете... Мальчики учились скверно, весной неизменно проваливались, осенью шли переэкзаменовки». Об отце — ни слова, он был выше всего этого, его это не каса-

лось. «Все лежало на мне, — продолжала София Андреевна, — имение, хозяйство, денежные расчеты, воспитание детей. Что я могла сделать с этими мальчиками, для которых нужна была отцовская воля, отцовский авторитет. Старший, Сергей, кончил университет, следующий был в университете, но не держал государственного экзамена, следующий кончил гимназию, но не пошел в университет, следующий кончил только шесть классов гимназии... Простите меня, я считала мужа величайшим русским писателем, для меня его религиозные искания казались напускной блажью. Что вы скажете, когда этот отвратительный человек (она говорила о Черткове) стоит у дверей кабинета моего мужа, запрещает ему писать литературные вещи и старается отобрать и уничтожить все то из написанного, что имеет литературный характер. А ведь Лев Николаевич, как запойный пьяница, он не может не писать. ...Как я могу это терпеть».

София Андреевна была так мила, что дала мне на прочтение некоторые части своих дневников, в настоящее время уже опубликованные. Помню две таких части — «Ходынка» и «Смерть Ванечки» (самого младшего сына), написано все это было прекрасно. Она сама была немного писательницей — опубликовала два рассказа, напечатанных в «Журнале для всех». Когда ее спрашивали, почему она больше не пишет, она отвечала: «Если будет хорошо написано, скажут, что автором был муж, Лев Николаевич; а если плохо, то мне будет стыдно, как жене Льва Николаевича». Она была порывистой, нервной, вероятно, взбалмошной. Когда говорила, волновалась, на ее лице, еще молодом для ее возраста, выступали от волнения красные пятна. Мне было ее жалко: по-житейски, по-обывательски, она была вполне права как мать, ей нельзя было возражать, и я не знал, что ей возразить. Я думал: если хочешь стать проповедником, пророком, аскетом, тогда не нужно жениться и плодить кучу детей.

Вообще в яснополянском доме чувствовался этот неприкрытый, трагический дуализм между учением, которое проповедовал хозяин, и тем дворянско-помещичьим, чисто барским и богатым бытом, который на каждом шагу бросался в глаза. Мне кажется, что этот дуализм и помешал толстовству как моральному и религиозному учению, развернуть и реализовать те возможности, которые в нем таились. Ведь толстовство имело корни в народе, вспомним «духоборов», которых не Толстой произвел на свет. Не могу не сравнить Толстого с Ганди, до известной степени его учеником. Ганди в социаль-

но-политическом отношении перевернул индусскую жизнь. Толстовство, как учение, ничего не перевернуло в России и в настоящее время почти что забыто. Я не хочу сваливать вину на одного Толстого. Ганди действовал в иной среде, чем Толстой. Отец его, происходя из богатой семьи, был вегетарианцем и придерживался строгой буддийской морали. Все ближайшее окружение Толстого, вся «каста», к которой он принадлежал, считала, что он просто «сошел с ума». А русский народ? В народе были секты близкие толстовству, но наряду с этим народная масса была от него далека.

Толстовство, если бы оно, скажем, в 80-ые годы прошлого века, вышло на широкую дорогу и стало массовым движением, как гандизм в Индии, не могло, разумеется, предотвратить революции, но оно могло бы сделать революционный процесс менее кровавым и мстительным, чем он оказался на самом деле.

Н. Н. Алексеев

МОИ АДВОКАТСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Я помню совет знаменитого русского адвоката А. Я. Пассовера, моего учителя и даже устроителя моей адвокатской жизни. Александр Яковлевич говорил нам, молодым стажиерам, что каждый адвокат должен писать свои воспоминания, ибо профессиональная жизнь адвоката полна интересных переживаний. Многие английские адвокаты пишут свои воспоминания, так же должны поступать и русские.

И вот я решил последовать совету А. Я. Пассовера. Русская адвокатура за свое краткое существование достойно послужила делу русского правосудия и действительно жаль, что русские судебные деятели так мало оставили своих воспоминаний.

Гимназия и университет

Я родился в апреле 1877 года в Уфе, где отец служил инспектором классической гимназии. Окончил гимназию в Оренбурге в 1894 году, куда отец был переведен директором. Вследствие тяжелой болезни отца последние четыре года учения я прожил в пансионе при гимназии, получая казенную стипендию. Учился я хорошо и был при окончании курса удостоен золотой медали. Уже с пятого класса гимназии я мечтал о поступлении в Институт инженеров путей сообщения и соответственно вел свои занятия, подготовляясь к конкурсному экзамену. Гимназическое же мое начальство в виду моих успехов по древним языкам предполагало, что я поступлю в СПБ Историко-филологический институт, где все студенты были казенными стипендиатами и жили в общежитии, в так называемой Коллегии имп. Александра II. Однако, в последний момент по причинам, которых теперь даже вспомнить не могу, я неожиданно для всех подал бумаги в СПБ университет на юридический факультет. Так «случай», о котором М. А. Алданов написал целую книгу «Ульмская ночь» начал свое воздействие на течение моей жизни. В то время юридический факультет СПБ ун-та был в зените своей славы. Профессора Сергеевич, Исаев, Фойницкий, Сергеевский, Коркунов, Дювернуа, Мартенс были украшением университета, и нет русского юри-

ста-петербуржца, кто с благодарностью не вспоминал бы своих славных учителей.

Мою университетскую учебную работу я выполнял, как и подобает бывшему первому ученику гимназии. Чтобы углубить свои познания в юридических науках и использовать иностранную литературу, я изучил в университете немецкий и французский языки и много времени проводил в императорской публичной библиотеке. И, конечно, сочинение, которое каждый студент должен написать, чтобы быть допущенным к государственным экзаменам, я решил писать на тему, данную факультетом для получения медали. Но опять простой случай решил, что в 1897 г. медальная тема была объявлена по римскому праву «Владение правом». По уголовному же праву, которым я особенно много занимался, медальной темы объявлено не было. Скрепя сердце, я принялся за разработку сочинения по римскому праву.

Но университетская наука не препятствовала и моей общественной деятельности. Для студента в то время было обязательно участие в землячестве. Землячества эти объединяли бывших воспитанников средних учебных заведений одного города. Цель их прежде всего была в материальной взаимопомощи, хотя сюда примешивалась и политика, для которой, однако, организовывали особые кружки. В такой кружок попал и я, и через два года из желторотого гимназиста превратился во всезнающего марксиста, увлеченного марксовой доктриной и умудренного в писании всяких прокламаций и воззваний к рабочему классу. К сожалению, я не помню подробностей этого процесса увлечения неопытной молодежи этими крайними политическими учениями, а было бы интересно проследить, как постепенно подготовлялся и совершался этот первый скачек русской интеллигенции в революцию.

Будучи активным работником в студенческих организациях, я был избран в Совет землячеств и даже принял участие в организации в 1897 году демонстрации на Казанской площади, чтобы протестовать против жестокого обращения тюремной администрации с курсисткой Ветровой, которая из-за этого покончила самоубийством. Я не помню подробностей этой политической акции, но за участие в ней я был на три месяца лишен стипендии, которую получал в университете. Мое марксистское увлечение отразилось и на моей медальной работе. Я ухитрился соединить юридическую разработку такого специального вопроса, как владение правом, с теорией Карла Маркса. Удивительное это было время. За такую выходку

я не только не пострадал, но получил почетный отзыв за свою работу.

Весной 1898 года я выдержал государственный экзамен на круглую пятерку и уехал на каникулы, чтобы поразмыслить, что мне делать дальше. Это был последний спокойный год для держания государственных экзаменов. В 1899 году начались студенческие беспорядки, и мои коллеги, отложившие экзамены, потеряли два года для получения диплома.

Заграничная командировка

Вернувшись осенью в СПБ, я явился к профессору римского права Ефимову и просил его представить факультету мое оставление при университете для подготовки к профессуре по римскому и гражданскому праву. Профессор Ефимов был особенно известен тем, что получил степень доктора римского права, не побывав ни разу заграницей. Этот факт почему-то меня очень подбодрял в моих устремлениях к профессорской деятельности. После того, как мое оставление при университете совершилось, я с проф. Ефимовым выработал программу моих подготовительных работ к магистерскому экзамену по римскому праву и с проф. Дювернуа такую же программу по гражданскому праву.

К моему удовлетворению от проф. Ефимова я получил сообщение, что факультет предоставил мне стипендию на два года по 50 руб. в месяц. С приближением весны 1899 года для меня стало ясно, что студенческие беспорядки в университете неизбежны, и мне пришла в голову мысль: просить моего профессора представить факультету ходатайство о командировании меня на время получения стипендии заграницу. Проф. Ефимов согласился, но предупредил, что таких прецедентов не бывало и чтобы я не надеялся на успех. Однако и на этот раз случай сделал свое дело: факультет предоставил мне командировку, и я получил приглашение явиться в канцелярию университета, где мне было вручено удостоверение на получение бесплатного заграничного паспорта.

11 апреля 1899 года я с Варшавского вокзала уехал в Берлин. Я выбрал этот город как первоклассный научный центр, где надеялся найти самые лучшие условия для моей научной работы. Берлин не обманул меня, и если я сейчас обращаю свой взор назад в мою далекую молодость, то моя студенческая жизнь в Берлине представляется мне самым счастливым и плодотворным временем моей жизненной подготовки. Она была продолжением моей университетской работы,

только протекала в лучших условиях. Возьму для примера библиотеку. В СПБ я должен был работать в здании библиотеки, а в Берлине я, как студент, имел право брать на дом шесть книг без всякого залога.

В Берлине я полностью использовал все возможности предоставленные мне Берлинским университетом. При этом я не ограничился изучением только моих специальных доктрин гражданского права. Я слушал профессоров: по уголовному праву (проф. Лист); по государственному праву (проф. Прейсс); по философии (проф. Зиммель). Очень хорошо были поставлены в университете практические занятия по римскому праву. Однако, они зародили во мне первые сомнения в том, что я обладаю достаточными способностями, чтобы быть профессором римского права. Я скоро увидел, например, что моя гимназическая пятерка по латинскому языку ничего не доказывает. Проф. Экк, читавший нам институции Гая, говорил по-латыни. Студенты, ему отвечавшие, владели также хорошо этим языком. Но главное мое сомнение возникло по весьма деликатному основному вопросу, а именно: одарен ли я самостоятельной творческой мыслью, чтобы двинуть науку, а не только повторять чужие слова.

В этом отношении на меня произвел громадное и неизгладимое впечатление труд проф. Петражицкого «Учение о доходе», изданный по-немецки в двух томах. Заслуга проф. Петражицкого заключалась в том, что дав новое толкование латинским текстам, он опрокинул существующее учение о доходе и установил новую доктрину, разрешавшую все сомнения. Юридическое творчество проф. Петражицкого ставило настоящему ученому такие требования, которых не могли осилить мои слабые силы 23-летнего молодого человека. Мне нужно было напрячь всю волю, чтобы довести до конца мою подготовку к магистерскому экзамену.

Не скрою, что мои научные занятия, как и в СПБ, не помешали мне продолжать изучение марксизма. Я прочел с большим старанием сочинения Карла Маркса, слушал на собраниях речи вождей рабочего класса Бебеля, Зингера, Либкнехта и всё более укреплялся в правильности этого учения. Отдавая всё мое внимание научной работе, я вел очень замкнутый образ жизни и желая наилучшим образом усвоить немецкий язык, держался в стороне от русской колонии Берлина.

Жизнь в Берлине мне очень нравилась. Самое удивительное, что я наблюдал — это постоянная забота администрации о нуждах среднего класса населения. Поэтому на мою стипен-

дию я мог прекрасно организовать мою жизнь. Теперь мне иногда жаль, что я прошел мимо жизни Берлина, редко бывал в театрах, не слушал музыки, не пользовался развлечениями. Утешаюсь одним, что при моем возвращении из командировки я мог засвидетельствовать, что, получив казенные деньги для научных занятий, я все их до копейки истратил по назначению.

Возвращение в СПБ и поиски работы

Осенью 1900 года я вернулся в СПБ, где меня при первом моем посещении университета, как ударом грома, поразило сообщение, что проф. Ефимов умер и его кафедру занял известный романист проф. Покровский, которого я совершенно не знал. Смерть моего патрона разрушала все мои планы. Идти с моей программой к профессору для меня новому было до очевидности безнадежно. Требовалась большая дополнительная работа по указанию проф. Покровского. Для этого у меня не было никакой возможности, ибо стипендия моя кончилась, а личных средств у меня не было никаких. В СПБ я не имел связей и никто не мог мне помочь найти заработок. В моих раздумиях меня осенила мысль, что я получал стипендию четыре года в гимназии, затем в университете четыре года и два года в командировке. Таким образом, десять лет казна несла расходы по моему образованию. Для меня было очевидно, что если я не могу держать экзамен, то должен отработать государству мой долг. Для подкрепления такого моего намерения мне пришла на память страничка из курса административного права известного юриста, профессора Венского университета, Лоренца Штейна. В своем курсе Штейн рекомендовал государству не скупиться в деле помощи молодым людям, желающим подготовляться к профессуре, ибо даже в случае неудачи государство получает, если не ученого, то высококвалифицированного чиновника.

Составив соответствующее прошение, я отправился в министерство народного просвещения и, будучи принят товарищем министра, изложил ему мое ходатайство о приеме на службу. Но Л. Штейн не был убедителен для товарища министра, который равнодушно заявил, что кандидатов на поступление на службу много, и для меня не может быть исключения. Такой отказ удивил меня, но я не пал духом. Я сообразил тогда, что если не государству, то народу я должен отслужить все мои стипендии. Для этого самое лучшее поступить на службу в министерство земледелия. В то время в СПБ было очень известно имя действительного тайного советника Ар-

нольда, члена совета министерства, которого за его заслуги величали «отцом русского леса».

К нему я получил рекомендательное письмо. Принял он меня на дому рано утром, за чашкой кофе, в халате, и очень ласково расспросил, о чем я хлопочу. Я подробно изложил ему мою просьбу и всю мою аргументацию. Ответ его был поразительный. Действительный тайный советник Арнольд откровенно мне заявил, что при моем образовании, при моем знании языков мне нечего делать на государственной службе, так как никакой карьеры я не сделаю. Мне следует поступить в банк, в адвокатуру. Тут я найду лучшее применение своих сил. Такой прием меня ошеломил, но я всё же сделал попытку получить самое маленькое место в Публичной библиотеке. Неудача постигла меня и здесь.

После всех этих попыток я был в полном смущении, что же мне делать? И опять на выручку является случай. В один прекрасный день на улице я встречаю своего коллегу по университету А. И. Бунге, который уже два года состоял помощником присяжного поверенного. А. И. Бунге, сын минского предводителя дворянства, внук б. министра финансов, был милейшим и добрейшим человеком, хотя вращался он в университете среди белоподкладочников. Я с ним был в приятельских отношениях, почему он и заинтересовался и моей заграничной командировкой, и моим хождением по департаментам.

Но он очень удивился моей наивности и решительно настаивал, чтобы я сделался адвокатом. После продолжительных разговоров А. И. Бунге убедил меня, что единственный для меня путь — это адвокатура. Он обещал мне всякую помощь и назавтра назначил свидание в здании Окружного суда, чтобы найти мне патрона. Таким образом моя будущая судьба определилась: я делаюсь адвокатом.

Помощничество

Это было в октябре или ноябре 1900 года, когда я встретился с А. И. Бунге в здании СПБ Окружного суда. Задача наша была найти для меня патрона, т. е. присяжного поверенного, который согласился бы приписать меня своим помощником. В основу организации помощничества в нашей адвокатуре было положено начало личного патроната. Но жизнь свела это требование к простой формальности: очень редко патрон обеспечивал работу своему помощнику. Вопрос о работе молодого стажиера был его личным делом после окончания приписки к сословию.

Процедура отыскания для меня патроната свелась к двухчасовой прогулке по коридорам суда и уговариванию присяжных поверенных, приятелей А. И. Бунге, согласиться на мою приписку.

Наконец совсем молодой прис. пов. Б. П. Гартунг поддался на уговоры и дал свое согласие приписать меня. Затем мое прошение без замедления было рассмотрено предварительно в Комиссии пом. прис. поверенных, представительном органе СПБ стажиеров, и также без препятствий было удовлетворено Советом присяжных поверенных. Одновременно разрешился и вопрос о моем заработке. Проф. М. И. Свешников, исключенный из состава доцентуры СПБ университета за либерализм, в это время состоял юрисконсультом министерства торговли и подготовлял какой-то научный труд. При подготовке необходимых материалов нужно было перерыть Полное собрание российских законов. Эту работу по рекомендации того же А. И. Бунге я и получил, что обеспечивало мне достаточный заработок для моего скромного существования. Параллельно с этим занятием начался процесс моего втягивания в адвокатскую деятельность. Первое мое появление перед судом во фраке моего покойного отца состоялось по громкому процессу по обвинению целого ряда лиц из СПБ интеллигенции в демонстрации, т. е. в нарушении общественной тишины и порядка в театре Суворина, где была поставлена антисемитская пьеса «Контрабандисты».

Обвиняемых было более ста человек. Коллективная защита насчитывала не менее 15-ти адвокатов, среди которых я припоминаю Н. П. Карабчевского, М. Л. Гольдштейна, М. В. Беренштама, М. Г. Казаринова.

Дело это рассматривал один из лучших СПБ мировых судей Меньшуткин. Я не помню защитительных речей, но на меня большое впечатление произвел допрос свидетелей Карабчевским, который всегда считался мастером перекрестного допроса. Мне, конечно, говорить не пришлось, мое участие ограничилось только наблюдением, как совершается судебное действие. Но второе мое судебное выступление убедило меня в том, что я могу быть адвокатом. У проф. Свешникова, моего работодателя, оказалось серьезное гражданское дело в Троицком окружном суде. Троицк Оренбургской губернии — это город, где отец мой служил директором классической гимназии и где в это время моя мать была начальницей второй женской гимназии. Проф. Свешников был очень хороший и добрый человек, но достаточно легкомысленный, чтобы послать меня

для представления объяснений по этому делу в Окружном суде. Дело было трудное, насколько я помню это был земельный спор. Моим противником оказался лучший местный адвокат, который знал меня еще гимназистом местной тимназии.

56 лет тому назад я выступил перед судом с моей первой судебной речью, которая длилась около часа. Трудно теперь понять, откуда у меня взялась достаточная смелость. Но по тому факту, что судья-докладчик делал заметки во время моих объяснений и что суд отложил объявление резолюции на две недели, можно заключить, что суд нашел мою аргументацию серьезной и интересной. Следующее дело в моей адвокатской карьере было уже политическим процессом в Саратовской судебной палате.

К тому времени правительство с введением нового уголовного уложения решило передать рассмотрение политических преступлений, предусмотренных новым уложением, судебным учреждениям, а именно судебным палатам с участием сословных представителей. Сразу же обнаружилась потребность обеспечить (особенно в провинции) защиту обвиняемых по этого рода процессам. Для этой цели из общей адвокатской массы выдвинулась особая группа так называемых политических защитников. Политическая защита, как термин, носит некий боевой характер. Но, по моему убеждению, это представление неправильное. Конечно, в практике адвоката, политическая защита — специальная область, но выполнялась она по общим правилам нашей профессии, только с учетом особого характера и положения обвиняемого.

Вступив в ряды СПБ адвокатуры, я примкнул к группе молодой адвокатуры, возглавляемой прис. пов. Беренштамом, выдающимся общественным деятелем. В СПБ адвокатуре не было деления на политические партии, почему молодая адвокатура и не была политической организацией. Ее целью была только координация профессиональной работы с требованиями времени. Эта группа и взяла инициативу организации политической защиты.

Как представители этой группы осенью 1902 года пом. прис. пов. Ф. А. Волькенштейн и я отправились в Саратов, где был поставлен политический процесс по обвинению в устройстве противоправительственной демонстрации. Защита в этом процессе была коллективная; съехались адвокаты из разных городов. Я помню М. Л. Мандельштама из Казани, А. М. Александрова из Екатеринослава, С. Е. Кальмановича из Саратова. Судоговорение продолжалось две недели, почему я имел воз-

можность на практике изучить всю постановку защиты в политическом процессе. Процесс этот остался у всех памятным вследствие комического инцидента во время допроса жандармского вахмистра председателем палаты о криках, которые раздавались в толпе демонстрантов. Свидетель стеснялся ответить на вопрос и только после настояний председателя вдруг ко всеобщей веселости выпалил: «Кричали, ваше превосходительство, что следует: долой самодержавие!»

Обвинителем по этому делу был прокурор палаты будущий министр внутренних дел Макаров, который прямо громил обвиняемых. Защита не уступала ему в красноречии, особенно проникновенна была речь прис. пов. А. М. Александрова. Я защищал второстепенного обвиняемого и говорил очень коротко и просто. Уехал я с того процесса убежденный, что мой жизненный путь определился окончательно.

Вернувшись из Саратова, я сразу получил приглашение от прис. пов. М. К. Адамова сделаться его фактическим помощником. М. К. Адамов, б. военный юрист, был очень популярным СПБ уголовным защитником. У него была большая известность в провинции. В кабинет его поступало немало гражданских дел. Ведение гражданских дел и было моей главной обязанностью, причем я ежедневно присутствовал по вечерам в кабинете М. К. Адамова, помогая ему в приеме клиентов. Пять лет я проработал у М. К. Адамова, сделался боевым адвокатом, выступая ежедневно во всех судах столицы. Мне удалось составить и самостоятельную практику, почему я и зарабатывал очень хорошо. Память о моем фактическом патроне я по сие время храню с благодарностью.

Для воспитания адвокатской молодежи СБП адвокатура организовала конференции помощников присяжных поверенных, которых было три разной специальности: гражданское, уголовное и административное право. Работой конференции руководили прис. поверенные, избранные советом из числа знатоков данной отрасли права. Каждый помощник должен был записаться в одну из конференций, так как для получения звания присяжного поверенного надо было прочесть в своей конференции три доклада. Доклады эти подвергались свободной дискуссии участников конференции и затем разбору руководителей. В порядке такой процедуры доклад обычно принимался к зачету; но были случаи, что доклад признавался и неудовлетворительным. Отношение к конференциям было различное. Я не ошибусь, если скажу, что большинство помощников находило представление докладов простой формально-

стью и тяготилось этим. Но были и ревностные сторонники конференций. Я принадлежал к последним, находя, что конференции были и полезны и интересны. Записался я в конференцию, пользовавшуюся большим успехом у стажиеров. Это была конференция гражданского права и главным руководителем ее был прис. пов. А. Я. Пассовер. А. Я. Пассовер, человек исключительно одаренный, был одним из первых адвокатов-цивилистов России, к моему времени уже почти закончивший свою судебную практику. Знаток гражданского права, блестящий судебный оратор, энциклопедист по образованию, Пассовер был замечательным руководителем конференции. В 1910 году в журнале «Право» я напечатал о нем статью «А. Я. Пассовер, как руководитель конференции».

Каждая конференция требовала от докладчика знания материального и процессуального права, умения изложить свои аргументы письменно и представить их устно перед аудиторией, чтоб защитить свои положения в свободных прениях. Не нужно забывать, что адвокат прежде всего должен научиться говорить перед судом. Адвокатская речь это речь особого рода, так как аудитория адвоката это суд, т. е. три судьи или максимум двенадцать присяжных заседателей.

Я прочел в конференции не только три обязательных доклада, но после окончания моего стажа остался постоянным сотрудником конференции, представляя доклады по интересным юридическим вопросам. Конференция А. Я. Пассовера сыграла большую роль в моей жизни, сблизив меня с ее руководителем и превратив меня в его ученика. Это приближение мое к Александру Яковлевичу является результатом несколько комического недоразумения между нами. Я работал в конференции с увлечением, так как меня привлекал самый порядок публичного обсуждения докладов, представляемых участниками и узлекали заключения руководителя. Каждое такое заключение было настоящей лекцией по данному вопросу с глубоким юридическим анализом, с литературными ссылками и практическими примерами. Но руководитель не забывал и докладчика, тщательно подчеркивая достоинства доклада; если даже доклад бывал неудовлетворителен, А. Я. старался избежать отказа и предпочитал дать зачет «по праву бедности». Постоянно участвуя в прениях по докладам я не замечал, чтобы А. Я. выделял меня из общей массы. Все мы были для него «коллеги справа», «коллеги слева», «коллеги из середины». В сословии было убеждение, что А. Я. состоял членом адвокатского сословия в Лондоне; верно ли это, я не знаю,

но его манера обращения со стажиерами напоминала правила английских дебатов: не называть по имени участников прений. Возвращаюсь к рассказу о моем столкновении с А. Я. Не помню по какому поводу, но А. Я. внес однажды предложение, чтобы участники конференции давали свои объяснения, вставая, как им и приходится говорить перед судом. Я, по чистому озорству, внес дополнительное предложение, чтобы и руководитель для вящего поучения давал свои заключения, тоже стоя. Помню хорошо, как А. Я. пристально взглянул на меня и затем спокойно сказал, что если «коллеге справа» не нравится его предложение, то он может не посещать его конференций. Я так и поступил. Но недели через три меня в суде остановил второй наш руководитель прис. пов. проф. М. Б. Горенберг и передал мне запрос А. Я., почему я покинул его конференцию. Я рассказал ему, как произошло мое изгнание. Но при ближайшей встрече М. Б. Горенберг сообщил мне, что по мнению А. Я. вся эта история чистейшее недоразумение, никакого изгнания из конференции не было и он просит меня возобновить мои посещения. Мало этого. На той же неделе, вернувшись домой, я нашел у себя визитную карточку А. Я. Пассовера, при чем прислуга объяснила, что какой-то старичек занес эту карточку. Прямо потрясенный такою честью, я немедленно полетел на Николаевскую улицу, дом № 45, где помещалась библиотека А. Я. и где он принимал редких посетителей, так как был уже на покое.

Швейцар предупредил меня, что нужно постучать в дверь и что А. Я. откроет сам. Так оно и случилось. Замечу, что зимой, когда было темно, А. Я. появлялся в двери со свечей в руке. Электрического освещения в квартире не было. Это свидетельствует о некоторых странностях, почти чудачествах этого большого человека в его обыденном быту. Принял меня А. Я. так, как будто ничего не случилось и даже стал меня упрекать, что я обещал сделать доклад в конференции, а вместо этого не являюсь на заседания. Это мое первое посещение А. Я. положило начало постоянным визитам к нему от четырех до шести часов дня на Николаевскую улицу. А. Я. очень любил беседовать со своими посетителями. Будучи всесторонне образован, обладая удивительной памятью, он поражал каждого. Казалось, что А. Я. всё знает, всё читал и обо всем может поспорить. Для примера приведу его пушкинианство. Он не только знал наизусть всего «Евгения Онегина», но знал и то, что в четвертом издании в такой-то главе допущена опечатка. Для меня эти беседы были школой, ибо для каждого нового

посещения надо было или прочесть какой-либо юридический трактат или разработать какой-нибудь интересный вопрос из юридической хроники.

Во время этих бесед А. Я. убедил меня начать писать статьи для журнала «Право», ибо не боги горшки толковал он мне. И под его влиянием я сделался сотрудником этого журнала

К моему великому сожалению я моих бесед с А. Я. Пассовером не записывал, поэтому и не могу восстановить его всегда очень интересных заявлений. В моей памяти запечатлелось только одно — политического характера — относительно деятельности первой Государственной Думы и ее роспуска.

Нашу беседу по этому, тогда злободневному, вопросу А. Я. закончил такой бутадой: «Видите, коллега, наши политические деятели очень неосмотрительны и не считаются с психологией царя. Что бы ни говорили, царь дал конституцию. Как ему ответить? Прежде всего благодарить и коленопреклоненно его просить отныне именоваться не только самодержавным, но великосамодержавным. Вместо этого ему преподносят требование отказаться от этого исторического титула. Он просто испугался и вот результаты!»

Упомяну о моей сословной работе. Сословие помощников присяжных поверенных имело свой представительный орган. Подобно тому, как присяжные поверенные имели свой Совет, пом. прис. пов. имели свою Комиссию, избранную на один год на общем годовом собрании. Председатель Комиссии назывался секретарем и был главой этой организации. Комиссия подготовляла для Совета все дела, имевшие отношение к стажиерам.

Уже на третий год я был избран членом Комиссии и, будучи активным работником, в 1904 году занял пост пом. секретаря. Секретарем в этом году был сын придворного протоиерея Н. Д. Соколов, впоследствии известный большевик и даже автор приказа № 1. Странный он был человек, и вся его карьера необъяснима! У меня осталось о нем одно воспоминание: в каком бы собрании он ни появлялся, он немедленно просил слова. Ему было всё равно, какое это было собрание и чем оно было занято, он, Н. Д. Соколов, всегда должен был изложить «требования рабочего класса». В 1905 году я баллотировался в Секретари Комиссии: такое уже было правило: пом. секретаря предыдущего года единогласно избирался секретарем данного года.

На моих выборах обнаружилось, что революционный дух

проник и в наше сословие и политиканство начало влиять и на нашу работу. В этом году наше общее отчетное собрание состоялось в мае месяце. Перед собранием меня, как исправляющего должность секретаря (в виду перехода Н. Д. Соколова в прис. пов.) попросил член Комиссии А. Я. Гальперин, видный меньшевик, о допущении на наше собрание рабочих для изложения их требований. Так как наше собрание происходило в помещении Окружного Суда, то, конечно, только Совет был компетентен в решении вопроса. Поэтому я в разрешении отказал. Последствием этого было то, что я был выбран в секретари большинством одного голоса, так как по инициативе А. Я. Гальперина появился другой кандидат, который только случайно не побил меня.

Адвокатура

Так благополучно протекли пять лет стажа, и 6-го ноября 1905 года я был принят Советом в число присяжных поверенных округа СПБ Судебной палаты. Через несколько дней я в заседании Судебной палаты принял присягу. Церемония эта прошла шаблонно, без всякой торжественности, а между тем это был важный момент в жизни адвоката, когда он приносит клятву служить закону.

В Совете Присяжных Поверенных прием нового сочлена был обставлен более соответственно: председатель произносит приветственную речь, в которой кроме приветствия разъясняет новому присяжному поверенному его обязанности перед законом и клиентом. СПБ Совет в деле морально-правового воспитания русской адвокатуры сыграл большую роль. Его дисциплинарная деятельность создала целый кодекс профессиональных норм русской адвокатуры весьма высокого качества. Сословие присяжных поверенных приняло меня чрезвычайно благосклонно, что показало первое отчетное собрание. На таком собрании рассматривался отчет о деятельности Совета за истекший год, представлявший собою печатный том страниц в 500. Для первого собрания я проштудировал отчет и выступил с обстоятельным разбором всей работы Совета. Так за мной и сохранилась на всё время моего пребывания в сословии роль присяжного критика отчета. Моя работа присяжного поверенного началась также очень благоприятно. Почти сразу я получил гражданское дело с крупным гонораром. Это было так: ко мне явился т. с. Митусов, проигравший в СПБ Судебной палате большое наследственное дело. Нужно было жаловаться в Правительствующий Сенат. Я был очень удивлен и откровенно

указал моему посетителю, что он обращается к молодому неизвестному адвокату, тогда как противника его в суде представлял прис. пов. Винавер, один из крупных наших цивилистов. Однако т. с. Митусов настаивал на своем предложении, так как по его объяснениям я ему рекомендован председателем Департамента Палаты бароном Нолькен, который председательствовал в заседании и сам написал решение, подлежащее обжалованию. Я был очень польщен таким сообщением т. с. Митусова. Бар. Нолькен был грозой выступавших у него адвокатов: так строго относился он к их объяснениям перед судом. Рекомендация бар. Нолькена свидетельствовала, что моя судебная работа была отмечена и магистратурой. В результате я дело т. с. Митусова принял, но с гонораром по неопытности просчитался и размер его определил сам клиент.

Пословица говорит, что хорошее начало половина дела. Но однако судьба не пожелала меня благословить и послала мне испытание, которое могло перевернуть всю мою жизнь. Присяжная адвокатура была обязана по назначению суда и Совета бесплатно представлять на суде интересы лиц, не имеющих средств для оплаты адвоката. Обязанность эта распространялась и на гражданские и на уголовные дела. Военный суд также имел такое право назначения. В первые месяцы моей самостоятельной работы я получил повестку СПБ Военно-окружного суда о назначении меня защитником солдата Семеновского полка, обвиняемого в самой простой краже. Семеновский полк тогда недавно вернулся из Москвы после подавления революционного восстания, и имя его было непопулярно среди интеллигенции. Ни с кем не посоветовавшись, с легкомыслием не соответствующим моему высокому званию, под влиянием пореволюционного настроения я решил отказаться от такой защиты.

Я сделал соответствующее заявление Военному Суду, который освободил меня от защиты, но сообщил Совету прис. пов. о моих неправильных действиях. Совет в дисциплинарном порядке разъяснил мне недопустимость моего поступка, так как адвокат не имеет права без законного основания отказываться от защиты по назначению. Вот здесь и начинается история, которой я не предвидел! Прокурор Судебной палаты опротестовал постановление Совета, что имело последствием пересмотр моего дела общим собранием Судебной палаты. Прокурор в своем протесте потребовал моего исключения из сословия.

Много лет прошло с тех пор, но я хорошо помню эту тя-

желую для меня субботу, когда я один сидел перед длинным столом, за которым заседали 35 членов Судебной палаты, решавших судьбу моей жизни. С тех пор у меня сохранилось твердое убеждение: на суде у подсудимого должен быть защитник, иначе он бессилен перед лицом суда даже при полной своей невиновности. После долгого совещания Суд. палата объявила свою резолюцию о запрещении мне практики на один год, отвергнув требование прокурора об исключении меня из сословия. Что меня спасло? Думаю, здесь сыграла роль моя хорошая репутация у гражданских судей; как политический защитник я не мог ожидать снисхождения от уголовных судей. Я вышел из залы заседаний глубоко потрясенный. Так как по субботам наш Совет всегда имел свои заседания, то мои друзья, члены Совета М. В. Беренштам и Н. Н. Раевский, встретившие меня при выходе, пригласили меня в заседание Совета, чтобы доложить Совету о результатах заседания Палаты. Последующие события наилучшим образом характеризуют нашу сословную жизнь и сущность нашего товарищеского единения.

Совет, выслушав мой доклад, постановил: предложить всем членам сословия заменять меня без всякого вознаграждения во всех моих заседаниях, конечно, в случае моего к ним обращения. В тот же день вечером Н. Н. Раевский собрал у себя общих приятелей, чтобы в дружеской беседе отвлечь меня от моих мрачных мыслей. Мною действительно овладела тревога, что я, лишенный практики, не смогу с моей семьей прожить предстоящий год. Неожиданно вопрос этот получил совсем не банальное разрешение. Н. Н. Раевский, отозвав меня в отдельную комнату, посоветовал мне отбросить всякие тревоги, при чем предложил получить от него сумму денег, необходимую для моего годового существования. Где и когда найдется другая корпорация, где чувство товарищества было бы развито до такой степени? Но, как оказалось, брать мне этих денег не пришлось. Вопрос о моем годовом бюджете разрешился иным образом.

Я уже упоминал, что в том году я принял для ведения дело т. с. Митусова с крупным гонораром. После запрещения мне практики я на очередном свидании с А. Я. Пассовером поделился с ним моим горем и моими тревогами. А. Я. сильно сетовал, что я допустил такое нарушение адвокатского долга служения правосудию, но в конце нашей беседы предложил мне свою помощь. Я тогда рассказал ему о деле т. с. Митусова. А. Я. особенно заинтересовался делом, узнав об имени против-

ника — прис. пов. М. М. Винавера. Ознакомившись с кассационной жалобой, А. Я. предложил выступить вместо меня в Сенате. Мой клиент, т. с. Митусов не возражал против такой удачной для него замены, и мы с А. Я. приступили к изучению дела. Мне пришлось немало поработать по собиранию материала, необходимого А. Я. для подготовки его объясненний в Сенате. Нужно иметь в виду, что дело это слушалось не в отделении, а в пленарном департаментском заседании. Как обычно, мы узнали заранее, что проект резолюции, предлагаемый оберпрокурором, был за оставление моей жалобы без последствий. Наконец наступил день слушания. Речь А. Я. Пассовера была классическим образцом адвокатского красноречия по гражданскому делу. Мой приятель, прис. пов. Я. Г. Фрумкин, который присутствовал в этом заседании, до сих пор восхищается объяснениями А. Я. Стоит вспомнить одну шутку, которую А. Я. блестяще использовал в своей речи. Дело Митусова имело своим предметом спор против духовного завещания. По делу были допрошены свидетели, которые Митусовым были обвинены в лжесвидетельстве, были предану суду прис. заседателей и были оправданы их вердиктом. Судебная палата в своем решении указала, что показания этих свидетелей вне спора, ибо за эти показания они были судимы и оправданы. В моей кассационной жалобе я указывал недостаточность такой аргументации без обсуждения показаний свидетелей по существу. А. Я. предложил вниманию сенаторов этот пункт жалобы в такой форме: такая мотивировка, конечно, недостаточна, она является отказом от обсуждения свидетельских показаний, «представьте себе, г.г. сенаторы, что кто-нибудь просит своего приятеля прислать ему слугу для найма и тот присылает кандидата с такой рекомендацией: заслуживает полного доверия, ибо был судим за кражу со взломом и приговором суда оправдан». Понятен эффект такого шуточного сравнения, вызвавшего смех в аудитории и даже улыбки судей-сенаторов. Но мало слышать, надо было видеть в этот момент фигуру и жесты оратора! Насколько я помню совещание Сената длилось около трех часов. А. Я. оставался в Сенате, ожидая резолюции и все время приговаривая для моего одобрения: «вы видите, коллега, они думают, значит нашли что-то интересное». Резолюция Сената, вопреки проекту оберпрокурора, оказалась нам благоприятной: решение Судебной палаты было отменено.

На другой день рано утром ко мне явился т. с. Митусов

и вручил мне назначенный им самим гонорар. Моя жизнь на год была обеспечена.

Итак, моя работа как самостоятельного адвоката возобновилась. Я приступаю к этой части моих воспоминаний с большим смущением. Я с завистью читал воспоминания О. О. Грузенберга, знаменитого нашего криминалиста-кассатора, который помнил детально свою профессиональную работу. Из его рассказов видно, что он не забыл имена своих подзащитных, что помнит фактические обстоятельства своих многочисленных защит. В моей памяти всего этого не сохранилось. Расставшись в 1906 г. с прис. пов. М. К. Адамовым, я много работал самостоятельно, имел недурной, вполне меня обеспечивающий заработок. Что я пробил себе дорогу в адвокатуре, в этом не было ничего удивительного: относительно адвокатской профессии в то время сложилось твердое и правильное убеждение, что всякий работающий адвокат, даже со средними способностями, может обеспечить себе хороший заработок. С. Каменский в своей книге «Век минувший» писал обо мне, что я добился в сословии положения «большого адвоката». Возможно, что такова была оценка моей работы со стороны моих коллег, но я сам этого не сознавал.

Еще в университете я много занимался уголовным правом. Обладая даром свободной речи, я мечтал об уголовной практике в суде с присяжными заседателями. Но очень скоро убедился, что на этом поприще я успеха иметь не могу. У меня не было дара образной речи и способности психологического анализа. Помню, как после одного моего выступления по делу об убийстве мой большой приятель Ф. А. Волькенштейн, выдающийся судебный оратор, критиковал меня и наставлял, как нужно подходить к подобным делам. Поэтому-то я и отказался от роли уголовного защитника.

Но среди политических защитников мне удалось создать себе некоторое положение. Я уже упоминал, что примкнул к группе молодой адвокатуры, сорганизовавшейся вокруг прис. пов. М. В. Беренштама. Беренштам был выдающийся человек по уму и по своему моральному характеру. Он был левого устремления, числился народным социалистом. Был хороший юрист и убедительный оратор. В сословии он занимал большое место. В первый же год вступления в сословие он был избран членом Совета — честь очень редкая! Он пользовался везде большим авторитетом и скоро был избран товарищем председателя Совета. На него выпало трудное испытание — быть последним председателем Совета.

Мои отношения с М. В. Беренштамом перешли в близкую дружбу. Он ввел меня в группу политических защитников и под его руководством я постиг сущность защитительной работы по политическим делам. При тогдашнем настроении умов неопытный защитник мог легко впасть в ошибку, превращаясь в защитника самого деяния, вменяемого в вину подсудимому. В вопросах фактической виновности, правильности квалификации деяния, соблюдения процессуальных гарантий политический защитник ничем не отличался от уголовного. Но в выяснении мотивов деяния начинаются затрудения. Всякий адвокат в силу своей присяги должен был служить закону, почему и политическое преступление не подобало оправдывать перед судом, но можно было выяснить мотивы революционной деятельности подсудимого. В этом выяснении причин, приведших обвиняемого на скамью подсудимых, и заключается все мастерство адвоката. Надо было уметь вести защиту так, чтобы не вызвать санкций председателя суда и вместе с тем не оскорбить чувств подзащитного. Повидимому я постиг этот секрет политической защиты, ибо даже бывали случаи, когда мне поручали основную речь при коллективной защите.

Я позволю себе рассказать об одной такой защите в СПБ Судебной палате. Кажется в 1908 году СПБ Судебная палата разбирала дело по обвинению группы лиц в принадлежности к СПБ комитету с.-д. партии. Обвиняемые были арестованы полицией, и им было предъявлено обвинение в участии в сообществе, имеющем целью ниспровержение государственного строя. Дело это для защиты было выгодное и легкое. Облава на собрание комитета была произведена неумело. Полиция явилась чересчур рано, когда еще собрание не начиналось, почему никаких признаков преступного совещания установлено не было. Никаких уличающих документов захвачено не было. Не было также и обычного провокатора, который мог бы уличить всех. Для меня это дело памятно потому, что на скамье подсудимых находился частный поверенный Д. С. Постоловский, захваченный на лестнице дома, где происходило собрание. Обвиняемый имел при себе портфель с деловыми бумагами. Защитник его, известный СПБ прис. пов. М. Л. Гольдштейн, утверждал в своей защитительной речи, что его клиент был арестован случайно, когда он пришел по своему делу в этот дом. После прений, во время которых я изложил основные положения защиты, Судебная палата вынесла приговор, а Д. С. Постоловский был оправдан.

Процесс этот приготовил мне два сюрприза. После прений во время перерыва ко мне подошел М. Л. Гольдштейн, поздравил меня с успехом и предложил перейти с ним на «ты». Получить такое признание из уст одного из лучших ораторов нашего сословия явилось для меня самым ценным вознаграждением. Этот жест М. Л. Гольдштейна тем более замечателен, что по своей натуре он был человек очень сухой.

Затем через несколько месяцев ко мне явился Д. С. Постоловский. За это время он успел выдержать государственный экзамен по юридическому факультету и теперь, намереваясь заняться адвокатурой, просил меня приписать его моим помощником. Мне тоже было лестно, что клиент М. Л. Гольдштейна, оправданный судом после защиты последнего, обращается ко мне за патронатом. Д. С. Постоловский оказался хорошим юристом и очень приятным человеком, он быстро сделался моим первым помощником и работал у меня до моего ухода из сословия.

В кратком очерке у меня нет возможности рассказать о многих политических делах, в которых я выступал защитником. Скажу только, что общее впечатление, сохранившееся у меня от этих выступлений было тяжелое. По политическим делам трудно было искать правды и милости в судах гражданских и военных.

Гражданская практика и большое дело

Теперь я перехожу к воспоминаниям из главной области моей работы, т. е. из моей гражданской практики. Я уже говорил, что она у меня развивалась ординарным порядком. У меня не было юрисконсульств, меня не приглашали на консультации, но я много работал и думаю, что не затерялся во всей массе нашей многочисленной адвокатуры. Свидетельствует об этом избрание меня Советом в руководители конференции помощников присяжных поверенных, что, как ни судить, есть всё же почетное положение. В моей гражданской практике не было таких важных дел, о которых было бы интересно рассказать, но один большой процес я вел, и дело это перевернуло всю мою жизнь.

О таком деле мечтает каждый адвокат как о величайшей удаче, которая увенчивает карьеру адвоката. Получил я такое дело только благодаря великодушию моего незабвенного учителя А. И. Пассовера, который еще раз активно вмешался в мою жизнь. Думаю, что это было в 1909 г. Однажды А. Я.

Пассовер вызвал меня к себе, в чем для меня не было ничего особенного, но предложение, которое он мне при этом свидании сделал, было совершенно исключительное. Не успел я приветствовать А. Я., как он начал мне объяснять, что к нему обратилась московская купчиха с наследственным миллионным делом, которое рассматривается в московском окружном суде, и клиентка хочет обязательно, чтобы он, А. Я., был ее адвокатом. Так как А. Я. категорически отказался, то клиентка заявила, что тогда она передаст свое дело только тому адвокату, который ей будет указан А. Я. А. Я. рекомендовал меня, почему он и предлагает принять к производству это дело. При этом прибавил: «Примите это дело, коллега, сами составьте договор о гонораре, сами ведите его, а меня не беспокойте!» Я, конечно, с великой благодарностью принял предложение А. Я. и обязался его не беспокоить. Но мне фактически и не пришлось беспокоить А. Я. К моему великому горю, в апреле 1910 г. мой учитель скончался. Помню этот солнечный день 3-го апреля, когда пешком мы провожали тело этого замечательного человека к месту его последнего упокоения. Мне было особенно горестно, так как во время болезни А. Я. мне не удалось посетить его, я не был допущен к нему. На могиле А. Я. сказал блестящую речь О. О. Грузенберг. Почему я промолчал и не почтил память моего учителя, никак не могу объяснить.

Итак, на следующий день после разговора с А. Я. ко мне явилась моя неожиданная клиентка, г-жа Коншина, которая после смерти московского миллионера Морозова оказалась его наследницей по нотариальному духовному завещанию. Брат покойного предъявил иск о недействительности этого завещания, избрав своим адвокатом Н. В. Тесленко. По окончании моих переговоров и подписания договора о гонораре, я понял, какое счастье выпало на мою долю. Выиграть такое дело — это значит обеспечить себя материально на всю жизнь, освободить себя от житейской суеты, быть свободным духовно. Я не могу выразить чувства, волновавшие меня тогда, но было для меня ясно, что спокойная скромная жизнь моя кончилась и что я буду переживать годы волнений и ожиданий.

Изучив порученное мне дело, я увидел, что нотариальное духовное завещание оспаривается на том основании, будто завещатель не был в здравом уме при совершении этого акта. Правительствующий Сенат разъяснял неоднократно, что такой спор допустим, при чем истец имеет право доказывать

свои утверждения свидетельскими показаниями. Таким образом дело шло не о трудной и сложной юридической контроверзе, а сущность его сводилась к допросу свидетелей и уменью их истолковать в пользу своего клиента. Выступление в чужом суде, да еще по большому делу, для всякого адвоката некоторое событие. Незнакомая обстановка, чужие судьи, незнакомые адвокаты, не очень обрадованные появлением непрошенного конкурента, — всё это волнует. Моего противника Н. В. Тесленко я хорошо знал, мы были коллеги по участию в группе политических защитников.

Дело Коншиной слушалось в третьем отделении Московского окружного суда, и, как я предвидел, мой противник заявил ходатайство о допросе свидетелей. Однако, содержанием этого ходатайства я был поражен: истец просил о допросе до ста свидетелей (точную цифру я позабыл), проживающих в двадцати различных городах и четырех иностранных государствах. Такая процедура могла потребовать много лет и необычайно затянуть дело. С одной стороны это было утешительно: значит истец не очень уверен, что ему удастся доказать сумасшествие наследодателя, почему и прибегает к затяжке процесса, угрожая ответчице взять ее измором. С другой стороны для меня встала задача, как бороться против такого маневра? В мучительных поисках такого способа вдруг меня осенила простая, но спасительная мысль. Я выдвинул встречное ходатайство, чтобы суд обязал меня представить столько копий всех бумаг настоящего дела, чтобы возможно было одновременно разослать требование о допросе свидетелей сразу во все 20 судов. Несмотря на возражения Н. В. Тесленко окружной суд удовлетворил мою просьбу и таким образом первая судебная стычка была мною выиграна. Н. В. Тесленко мотивировал свое возражение тем, что он намерен сам лично присутствовать на всех допросах, а по моей системе возможны совпадения. И вот началась скучнейшая и длиннейшая процедура допроса свидетелей, которых не всегда можно было найти по указанным адресам, почему требовались повторные вызовы. Я не могу сказать, какое количество свидетелей было допрошено, но могу утверждать, что ни одного совпадения допроса в двух разных судах не произошло. Длился этот мой объезд разных российских судов года три. Кажется всё это надоело самому Н. В. Тесленко, и он отказался от ряда свидетелей. Наконец, допрос свидетелей закончился, и дело было назначено к слушанью, как это у нас называется, по существу. Как это ни удивительно для

меня самого, но я совершенно забыл, как прошло это заседание, что говорили адвокаты, чем интересовались судьи. В своем решении суд установил, что истец не доказал отсутствия здравого ума у наследодателя. Согласно показаниям свидетелей в поведении покойного Морозова бывали странности, но они не были достаточно серьезны, чтобы опорочить нотариальное завещание. При таком решении я мог считать, что дело закончилось для меня благополучно. Но когда я явился в канцелярию суда, чтобы навести справку о положении дела об утверждении спорного завещания, я узнал, что другой наследник стал оспаривать это духовное завещание, и суд снова по его ходатайству приостановил утверждение завещания. Для меня было ясно, что начался настоящий измор наследницы и нужно было принять меры против такого судебного издевательства. Я немедленно обжаловал постановление Окружного суда о приостановке утверждения духовного завещания Морозова. В жалобе я указал, что при таком порядке всегда возможно задержать бесконечно утверждение всякого духовного завещания. Судебная палата быстро рассмотрела мою жалобу и отменила постановление Окружного суда. Перед заседанием мои коллеги предупредили меня, что дело будет разрешаться в департаменте судебной палаты, где вновь назначенный председатель очень хороший юрист, но очень строгий руководитель прений, ибо адвокатов он не жалует. Вопреки моим ожиданиям, председатель суда был со мной очень любезен, и два раза предложил дать дополнительные объяснения.

Итак, мои обязанности как поверенного г-жи Коншиной кончились: спор против духовного завещания был окончательно устранен, и духовное завещание могло быть утверждено. Я письмом сообщил об этом моей клиентке, но ответа от нее не получил. Стороной я узнал, что г-жа Коншина помирилась с законными наследниками покойного Морозова. Тогда я снова написал ей, прося уплатить мне условленный гонорар. Но и это письмо осталось без ответа. Бочка мёду, т. е. моя радость по поводу выигрыша такого дела, была испорчена ложкой дёгтя, т. е. недобросовестностью моей клиентки. Мне ничего другого не оставалось, как судом потребовать от г-жи Коншиной уплаты моего гонорара. Г-жа Коншина осталась себе верна: она внесла деньги судебному приставу, когда он явился к ней с моим исполнительным листом для описи ее имущества. Итак чудо совершилось: я оказался обладателем крупного капитала, который обеспечивал мне годовую ренту,

достаточную для моей будущей жизни. Мне исполнилось тогда 36 лет, и я, начавший свою адвокатскую карьеру без гроша в кармане, оказался материально обеспеченным и свободным от житейских забот человеком. И всё это благодаря моему учителю и покровителю А. Я. Пассоверу.

Уход из сословия адвокатуры

Мне трудно восстановить в памяти мое душевное состояние в этот момент моей жизни, но я не ошибусь, если скажу, что состояние самоудовлетворения, вызванное моим успехом, продолжалось недолго. Вдруг родилась у меня мысль, что я должен кончить мою адвокатскую работу и обратиться к общественной деятельности.

Я уже говорил, что радость моя по поводу выигрыша дела была отравлена гадостью, которую проделала со мной моя клиентка. Мне стало противно продолжать иметь дело с клиентами, и думалось, что самое лучшее — совсем отделаться от них, раз это возможно. Напрасно мне внушали, что именно после этого первого успеха большие процессы повалятся ко мне, и я буду зарабатывать большие тысячи. Однако большие тысячи меня не увлекали. То, что я получил, мне представлялось достаточным. Но, конечно, самое главное соображение, которое увлекало меня на новое поприще, это — желание приобщиться к настоящей общественной работе. Когда-то А. Я. Пассовер поучал меня, что, конечно, адвокатская работа есть служение правосудию и звание адвоката почетное, но настоящая работа, настоящее служение праву есть работа судьи, звание которого выше всякого другого. Вот и мне захотелось настоящей общественной работы, которая ввела бы меня в процесс построения народного благополучия.

Но всё же я должен признать, что во мне была внутренняя борьба. И если бы опять случай не помог мне, я бы может быть и не решился отказаться от адвокатуры. По какому-то делу я должен был посетить прис. пов. В. О. Люстига. В. О. Люстиг был одним из наших патриархов. Он был первым помощником присяжного поверенного, принятым Советом при организации нашего сословия. Это был человек высоких духовных качеств, с общественной жилкой, почему и состоял гласным СПБ Городской Думы. Разговор наш коснулся городских дел, которые волновали общественное мнение. Новый городской голова граф И. И. Толстой был в большом затруднении. Министр внутренних дел Н. А. Маклаков не утверждал вновь избранных членов управы, если они принадлежали к

прогрессивной группе гласных, т. н. обновленцев. Только что он отказал в утверждении прис. пов. А. В. Винберга. Огорчение городских деятелей было не малое, ибо было трудно найти кандидатов на должность члена управы. Видя мой интерес к городскому делу, В. О. Люстиг неожиданно предложил мне поставить мою кандидатуру, которую, как он думал, поддержала бы вся обновленческая группа гласных. Так как это предложение отвечало моим собственным мечтаниям, я с той поспешностью, с которой уже не раз решал самые серьезные вопросы моей жизни и которая должна быть отнесена к моим большим недостаткам, дал свое согласие баллотироваться в члены управы. Тут я должен тоже отметить странный факт. Мне помнится, что я вообще ни с кем, даже с самими близкими друзьями не обсуждал вопроса о моем уходе из сословия. Вернувшись домой, я размышлял по поводу моего решения и пришел к определенному выводу. Всё это одна авантюра! Министр Н. А. Маклаков никогда не утвердит б. участника демонстрации на Казанской площади в 1897 г. и члена группы политических защитников. Поэтому я решил спокойно ждать результатов моего начинания, а пока отправился заграницу, чтобы отдохнуть после всех моих трудов. Но перед отъездом произошло событие, которое нельзя не отнести к чистой случайности и которому даже трудно поверить. Года три-четыре тому назад ко мне пришел студент-юрист 4-го курса, и просил меня поддержать его кандидатуру на место помощника секретаря в СПБ Мировом съезде. Было известно, что я пользовался симпатиями председателя съезда М. И. Глебова, очень приятного человека и образцового судьи. Проситель произвел на меня хорошее впечатление, почему я и отправился к М. И. Глебову и отрекомендовал ему моего посетителя. Затем я эту историю совершенно забыл. Вдруг ко мне ночью, как раз перед моим отъездом заграницу, позвонил тот самый студент, которого я когда-то рекомендовал М. И. Глебову. За это время он оставил службу в Мировом съезде и занимал место столоначальника в Главном управлении по городским делам. Оказывается мой собеседник должен был подготовить для министра внутренних дел доклад об утверждении моих выборов в члены управы. По его мнению, утверждение выборов было более, чем сомнительно, но доклад можно так отредактировать, что утверждение пройдет. Поэтому он спрашивал меня, хочу ли я этого утверждения. На мой утвердительный ответ, мой собеседник пожелал мне успеха и повесил трубку. Этот странный ночной разговор

можно понимать, как угодно, но только факт на лицо: мое утверждение прошло. Гр. И. И. Толстой потом рассказывал мне, что незадолго до моего утверждения он по делу посетил Н. А. Маклакова и между прочим в разговоре коснулся моих выборов, высказав уверенность, что снова городские выборы не будут утверждены. На это Н. А. Маклаков, смеясь, ответил, что на этот раз все ошибутся. Вернувшись в СПБ я узнал, что 29-го июля 1913 г. состоялось мое утверждение. Так как по закону члены СПБ Городской управы числились на государственной службе, то я не мог оставаться в сословии. Я был принужден явиться к С. Т. Иванову, делопроизводителю Совета, всеобщему адвокатскому любимцу, и вручить ему мое заявление о выходе из сословия. Сословие не осталось безразличным к моему уходу. Мои близкие друзья взяли на себя инициативу устройства прощального обеда, который собрал многих моих коллег. Обед прошел в дружеской беседе, были речи и пожелания мне успеха в новой моей деятельности. Все участники собрания снялись в общей группе.

Итак я ушел из адвокатуры, но я отчетливо сознавал, что всеми моими достижениями я обязан сословию, почему в душе я и остался адвокатом. С этим почетным званием я не расстанусь до конца моих дней. Как только в 1920 г. я очутился в Париже эмигрантом, я сейчас же вернулся в адвокатскую громаду, вступив в члены Союза русских адвокатов заграницей. Задачей союза была охрана заветов и традиций русской адвокатуры для наших преемников. Нам не верилось, что русская адвокатура, как она сорганизовалась по уставам императора Александра II, прекратила свое существование навсегда.

Я нередко выступал с докладами в собраниях Союза и вот тогда я выполнил свое слово о вечной благодарности моему учителю А. Я. Пассоверу. Я могу утверждать, что в каждом докладе, в каждом выступлении я не забыл посвятить хотя бы несколько слов светлой памяти моего учителя.

То, что я написал, написано без всяких претензий, и моя работа, если претендует, то только на правдивость свидетельского показания о том, как жил и работал один из русских адвокатов в дореволюционной России.

Вячеслав Новиков

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС ФРАНЦИИ

Что будет с Францией? Этим вопросом я озаглавил статью, которую написал для «Нового Журнала» после освобождения Франции — четырнадцать лет тому назад. То же заглавие можно было бы дать статье о Франции и сегодня. Правда, в середине ноября, когда пишется эта статья, нет оснований для таких острых опасений надвигающейся катастрофы, как это было полгода тому назад. Но все еще нет и уверенности в том, что Франция уже вступила на путь здорового и относительно устойчивого развития. Корни французской драмы слишком глубоки, чтобы их можно было удалить одной, хотя бы и очень смелой, операцией. Да и та ли это операция, в которой Франция нуждается? Правильно ли поставлен диагноз и найден ли правильный метод лечения?

Медицинские сравнения приходят на ум, потому что о Франции уже говорят как о «больном человеке» Западной Европы. Но, продолжая эти сравнения, я не ставлю вопроса, правилен ли был выбор хирурга. Вопрос не имеет смысла, так как фактически выбора не было. Поставить нужно другой вопрос: как это случилось, что генерал де Голль оказался единственным человеком, который мог остановить развитие событий, ведшее к катастрофе — к военно-фашистскому перевороту и, вероятно, к гражданской войне с неизвестным исходом? Де Голль давно уже не был чаемым спасителем, к которому обращены надежды нации. Он не был окружен «культом личности». Если сохранялись уважение и благодарность, то у большинства французов — без всякой мистики и связанные не с надеждами на будущее, а с воспоминаниями о прошлом. Его приход к власти не вызвал в самой Франции никакого энтузиазма (в Алжире было иначе). Насколько я могу судить по печати, рассказам и моим личным впечатлениям, преобладающей была примерно такая реакция: ничего не поделаешь, другого выхода нет. Почему же не было другого выхода?

Непосредственным основанием для такого заключения было то, что только де Голль с его авторитетом в военной среде мог сдержать взбунтовавшуюся в Алжире армию и в

частности удержать парашютистов от нападения на Париж и другие французские города. Чтобы предотвратить — буквально за несколько часов — это нападение, де Голлю было достаточно возвестить, что он приступил к формированию своего правительства — чего на самом деле еще не было. За эту спасшую положение неправду никто, конечно, де Голля не упрекал, тем более что приход де Голля к власти представлялся уже неизбежным. Но это всё же не объясняет, почему центральное правительство демократической Франции оказалось в такой мере беспомощным перед лицом алжирского мятежа. Чтобы в этом разобраться, нужно идти в прошлое — и не к началу алжирской войны, а много дальше. Однако, и не слишком далеко. А то можно дойти, как сделал автор одной книги о современной Франции, до культуры «магдаленийского» человека, жившего во Франции двадцать пять тысяч лет тому назад.

Желая представить современную Францию в исторической перспективе, многие авторы начинают с того разрыва внутри французского общества, который был одним из следствий Великой Революции. Это помогает многое понять, но и связано с опасностью недооценить значение того критического перелома, от которого идут злоключения Франции за последние десятилетия, а именно после Первой мировой войны, когда произошел такой разрыв с прошлым, по сравнению с которым другие факторы имеют лишь второстепенное значение. Этот разрыв долгое время не был осознан или был осознан лишь очень немногими. Во многих отношениях Франция продолжала жить, как будто она оставалась такой же, какой была до войны. В ней оставалось слишком много от девятнадцатого века, который — к несчастью! — кончился в 1914 году. Пришел новый век с новыми требованиями, и, чтобы удовлетворить этим требованиям, нужна была совсем иная политическая мускулатура, чем та, которую имела французская Третья республика до Первой мировой войны.

Я говорю о «мускулатуре», потому что считаю, что решающее значение имеет не конституционный «скелет», а те живые ткани, которыми он обрастает и которые лишь отчасти зависят от характера конституции. Теперь очень принято видеть главный корень всех зол французской политики в конституции Четвертой республики, а так как она не слишком отличалась от предыдущей, то в конечном счете в конституции Третьей республики. Правильно ли это? В мою задачу не входит анализ конституций. Недостатки конституции Треть-

ей республики объяснялись уже условиями, в которых она была принята. Ведь это была «конституция 1875 года». Она была выработана и принята палатой с монархическим большинством, которая только вследствие раздора между различными монархическими группами и большинством только одного голоса приняла поправку, которая провозглашала Францию республикой. Авторы конституции вынуждены были мириться с неизбежностью введения демократических учреждений, но меньше всего были заинтересованы в создании сильной и возможно теснее связанной с избирателями демократической власти. И тем не менее, как пишет английский автор, эта «самая неопределенная, наименее идеологическая, наименее систематичная» из всех конституций, которые принимались во Франции «с тех пор как в 1789 собрались Генеральные Штаты», оказалась и самой долговечной.[1] Несовершенство конституции не помешало Третьей республике устоять во всех бурях, которыми изобиловали первые три десятилетия ее истории, отбить все атаки враждебных республике монархических и клерикальных элементов, сделать Францию непоколебимо республиканской страной и получить свое высшее оправдание в изумительном сопротивлении и победе Франции в Первой мировой войне.

Как и позже, в то время существовали такие явления, как обилие партий и групп, затруднявшее образование устойчивого большинства, и связанные с этим частые смены правительств. В 1914 г. в Палате имелось десять различных групп и кроме того пятьдесят депутатов не были приписаны ни к какой группе. За последние десять лет перед Первой мировой войной сменилось двенадцать правительств. Это, конечно, не было благодеянием, но и не приводило к каким-либо бедствиям. При наличии темных пятен, о которых я еще буду говорить, этот период был во многих отношениях очень благополучным и даже блестящим. С начала столетия внешняя политика, несмотря на некоторые неудачи и даже унижения (вынужденная Германией отставка Далькассэ в 1905 г.) в общем была очень успешной. Перед лицом нароставшей германской опасности, французская дипломатия не только неуклонно укрепляла союзные отношения Франции, но и подточила Тройственный Союз, обеспечив нейтралитет Италии в случае нападения Германии на Францию и фактически под-

---

[1] *D. W. Brogan. The French Nation from Napoleon to Pétain*, p. 164.

готовила участие Италии в войне на стороне Франции и ее союзников. В последние годы перед войной Франция увенчала здание своей колониальной империи таким приобретением, как протекторат над Марокко.

После бури, вызванной делом Дрейфуса и последовавшей за ней борьбой против клерикализма, когда политические страсти и взаимная ненависть накалились почти до атмосферы гражданской войны, внутренняя политика приняла гораздо более уравновешенный характер. Отличительной чертой республиканских правительств было то, что они предоставляли очень широкий простор деятельности граждан. Они мало правили, как у Анатоля Франса говорит его господин Бержерэ: «Республика не блистает ни женщинами, ни лошадьми и имеет тот недостаток, что она дорого стоит. Но это хорошее правительство, потому что оно мало правит». А французы, как правило, не любят, чтобы ими «много правили» (в отличие от большинства немцев). Ну а если правительство мало правит, то его состав не имеет слишком большого значения, и частая смена министерств, имея свои неудобства, всё же не представляется и действительно не является бедствием. Но, замечу тут же, только в условиях Франции до Первой мировой войны.

Страна имела тогда относительно устойчивую экономику. Она в значительной мере была еще страной крестьянской. Процесс индустриализации шел сравнительно медленно. В 1906 г. в земледелии было занято 45 процентов трудового или «активного» населения, в 1911 г. 44 процента, а доля занятых в промышленности увеличилась за это время всего на две десятых процента. Более значительно, и то лишь на шесть десятых процента, возросла доля свободных профессий и чиновничества. Социальная структура оставалась почти неподвижной. Французы славились своей страстью и умением делать сбережения. Явные годичные сбережения достигали почти размеров государственного бюджета, а кроме того значительные суммы откладывались в знаменитые крестьянские «чулки». Сбережения не были связаны с каким-либо риском, потому что франк неизменно сохранял то же отношение к золоту в течение более чем ста лет — с 1803 года. Во всем мире французские франки были равноценны золоту. Значительная часть сбережений вкладывалась в иностранные займы или иностранные предприятия. Доходы от этих внешних капиталовложений способствовали равновесию платежного баланса, что было особенно важно, так как способность фран-

цузской индустрии конкурировать на мировом рынке постепенно уменьшалась вследствие ее относительной отсталости. Это предвещало большие осложнения в будущем, но пока что особого беспокойства не вызывало.

Обеспечившая свое существование республика была республикой буржуазной. Ее правящим классом была буржуазия не в марксистском смысле слова, как класс капиталистов, а в более широком, включая и свободные профессии, а также вообще всех с известным уровнем достатка и образования. Это было почти то же прежнее «третье сословие» или «средний класс», как английский «middle class» или с более заметным отличием — немецкий Mittelstand. Из этой, вероятно, в общем самой культурной и в некоторых отношениях самой передовой буржуазии вербовались политические кадры различных направлений, включая социалистов, у которых не было выдающихся рабочих вождей. Французский социализм не имел своего Бебеля, но имел Жореса, отец и брат которого были адмиралами. Из этого буржуазного «политического класса» выдвинулся ряд политических деятелей гораздо более крупного масштаба, чем их преемники в период между двумя войнами и в особенности после Второй мировой войны.

Один французский историк различает среди них «больших теноров» (которые однако в большинстве случаев были не только «тенорами»): Жорес, Де Мэн, Дешанель, Рибо, Бриан, Клемансо, и «больших техников»: Пуанкарэ, Рувье, Кайо, Мильеран, Этиенн, Жоннар, Думер.[2] Следует еще вспомнить Вальдек-Руссо, социалиста Гэда и среди правых — Барреса.

Были, как я упомянул, и темные пятна. Одним из них было отставание Франции от индустриального развития других больших стран. Оно и тогда было уже опасностью, так как усиливало преимущества военного потенциала Германии. Опасным, но в другом отношении, было также отставание в области социальных проблем и в особенности рабочего вопроса. Уровень жизни большинства населения можно было считать высоким, одним из самых высоких в Европе. Но из рабочего населения это относилось только к одной его части — к сравнительно хорошо оплачиваемым квалифицированным рабочим. Наряду с этим существовали разные степени нищеты. Условия труда часто были очень тяжелыми. Социальное законодательство было очень отсталым. И за исключением социалистов, политическая «элита» проявляла свою «буржуаз-

---

[2] *Jacques Chastenet. La France de M. Fallières.*

ность» в почти что безразличном отношении к социальным проблемам, становившимся все более острыми. Рабочему движению понадобилось время, чтобы оправиться после беспощадного разгрома Парижской коммуны. Социалистическое движение долго было разбито на несколько групп, которые объединились в одну социалистическую партию лишь в 1905 г. (на тридцать лет позднее, чем в Германии). Объединенная партия быстро росла. В 1914 г. она имела в Палате уже 104 депутата — одну шестую всего состава Палаты. Но до начала войны ей удалось добиться лишь немногих улучшений законодательства о труде. Профессиональное движение отличалось боевым духом, но имело лишь посредственную организацию. Всё-таки благодаря борьбе синдикатов, то-есть профессиональных союзов, за последнее десятилетие перед войной заработная плата поднялась в среднем, вероятно, на двадцать процентов. Тем не менее условия труда давали более чем достаточно оснований для острого недовольства и роста революционных настроений.

В последние годы перед войной было отмечено новое для Франции того времени явление: рост активности молодежи, ее стремление участвовать в общественной жизни. Я могу об этом только упомянуть, так как не имел материала кроме главы в упомянутой книге Шастенэ, кторый между прочим цитирует очень интересные, относящиеся к 1912 году, слова Бергсона: «Развитие теперешней молодежи мне представляется своего рода чудом». Шастенэ указывает (стр. 350), что стремление молодежи к идеалу проявилось в трех направлениях: «к идеалу религиозному — отсюда возврат к католицизму, к идеалу гуманитарному — отсюда успехи социализма, и в особенности — к идеалу патриотическому». Молодежь тех лет жила в ожидании войны, которая представлялась неотвратимой и в близости которой почти никто не сомневался. Война, как ее тогда представляли себе, была делом молодых, и значительная часть молодежи была готова стать героями защищая родину, республику и свободу. Они пели песнь французской революции с ее словами «Республика нас призывает» и «Идем защищать свободу» («Chant du depart»). Они пошли, в особенности в первые месяцы войны, часто со слишком неосторожным героизмом. В рядах молодежи война произвела огромные опустошения. И очень многие из погибших принадлежали к лучшей части молодежи.

Свою победу Франция оплатила страшной ценой. Она потеряла больше пяти процентов своего довоенного населе-

ния — убитыми и умершими в первые послевоенные годы вследствие участия в войне (ранения, болезни). В 1921 г. население Франции, несмотря на присоединение Эльзаса и Лотарингии, было на четыреста тысяч ниже довоенного. Население Франции без вновь присоединенных областей опустилось до уровня 1881 года. Но пять процентов всего населения это было десять процентов мужского населения, а процентная доля погибшей мужской молодежи была еще значительно выше. Эта потеря молодой рабочей силы лишь отчасти возмещалась присоединением Эльзаса и Лотарингии, которые также потеряли в войне значительную долю своей молодежи. Недостаток рабочей силы возмещался притоком иммигрантов. Доля иностранцев в населении Франции составляла до войны около трех процентов, а в 1936 г. уже семь. Иммиграция помогла решать проблемы рабочей силы, но и создавала другие проблемы, которые были использованы для разжигания националистических страстей, ксенофобии и антисемитизма. Но вопреки националистической пропаганде, наплыв иностранцев не был существенным фактором той деморализации, которая имела место после войны.

Огромное и в высшей степени неблагоприятное влияние имела послевоенная инфляция. «Без здоровых денег нет устойчивой демократии». В этих словах французского автора[3] много правды. С того времени до наших дней инфляция была во Франции почти что постоянным явлением. Но самое глубокое и самое бедственное влияние оказала инфляция первых лет после Первой мировой войны. Здесь я могу говорить только о результатах, но не о причинах этой инфляции, которая привела к тому, что в середине 1926 года франк имел только десятую часть своей довоенной стоимости (49 франков за доллар) и был затем с большими усилиями стабилизован по курсу 25 с половиной франков за доллар (против довоенного курса 5 франков за доллар).

Это означало, что все французы, которые имели сбережения во франках, окончательно потеряли четыре пятых своих сбережений. А после еще трех девальваций, имевших место во Второй мировой войне, от сбережений не оставалось и одной десятой.

Бурное развитие инфляции выражается в бурном росте цен и вместе с тем в расцвете спекуляции и черного рынка. Повышение заработков — кроме доходов от спекуляции —

---

[3] *Robert Lacour-Gayet. La France au XX siècle,* p. 185.

не поспевает за ростом дороговизны. Приближаясь к полному обнищанию, люди хватаются за каждую возможность увеличить свои доходы, все менее брезгуя средствами. Развивается взяточничество чиновников, жалование которых особенно сильно отстает от повышения цен (во время послевоенной инфляции это имело место и в Германии, раньше гордившейся неподкупностью своего чиновничества). Рабочих доводит до отчаяния стремительное понижение покупательной способности их заработной платы и они становятся восприимчивыми к пропаганде, утверждающей, что только революционный переворот может улучшить их положение. Особенно глубокое действие имеет потеря сбережений. Стремление и умение копить считались одной из черт французского «национального характера». Теперь сберегатели потеряли и сбережения во франках, и бо́льшую часть того, что пошло на займы другим странам. Они не только озлоблены, потому что чувствуют себя ограбленными, но и не видят смысла делать сбережения, которые могут быстро превратиться в ничто. Они живут в постоянном беспокойстве, не имея возможности обеспечить свое будущее и потеряв надежду последние годы — и даже десятки лет — своей жизни прожить спокойно и без нужды как рантье. А что оставить детям? Как обеспечить приданое дочерям? В то же время мелкие, более или менее темные, дельцы, которые были, так сказать, на периферии буржуазии, бросившись в спекуляции, создают себе большие состояния, возбуждая против себя ненависть и разорившихся честных сберегателей, и традиционной «большой буржуазии».

Послевоенная инфляция подорвала устойчивость, которой до войны отличалась социальная структура Франции. А это сказалось в более резких колебаниях политических настроений вообще и в частности в усилении крайних тенденций, левых — коммунизм — и правых — более или менее определенно фашистских. Если при этом стала проявляться тенденция прибегать в политической борьбе к грубому насилию, то это явление не только французское, но более общего характера. Я склонен видеть в этом едва ли не самую страшную сторону влияния мировой войны на человеческую психологию — понижение в восприятии людей ценности человеческой жизни. Гибель сотен тысяч и миллионов человеческих жизней уже перестала ужасать, стала волновать меньше, чем волновала в начале столетия судьба константинопольских собак. Французский дипломат Филипп Бертелло очень ярко оха-

рактеризовал эту психологическую установку: «Если умирает один человек, это меня волнует. Полтора миллиона людей, это уже статистика».[4] И сколько бы ни было во французской жизни явлений глубокой деморализации, я думаю, что в общем французы менее, чем кто-либо были готовы мириться с беспощадностью наступившего нового века и упорно старались сохранить более человеческую атмосферу и «сладость жизни» их прошлого. Но в том был и один из корней их драмы. У победившей страны не было оснований менять политический режим и что-либо изменять в его конституции. Иначе обстояло дело после Второй мировой войны. Но прежде чем к этому перейти, я должен хотя бы и очень кратко остановиться на деградации парламентского режима в период между двумя войнами. Такие явления, как обилие партий и групп и частая смена правительств, имели уже гораздо более отрицательное значение, чем до 1914 года. Это было следствием как изменившихся условий политической жизни страны, так и понижения качества политической «элиты», нашедшего свое отражение и в падении политических нравов. Принимая условное деление на «левую», «центр» и «правую», можно получить впечатление, что распределение сил в Палате 1939 года было почти таким же, как и в Палате 1914 года.[5] Но это впечатление было бы очень обманчивым, так как характер этих условных подразделений существенно изменился, в особенности что касается «левой» и «правой»: на «левой» стороне Палаты появились коммунисты, а на «правой», где раньше преобладали традиционные консерваторы, теперь рядом с ними сидели депутаты с тенденциями фашистского характера. Правда, до 1936 года коммунисты были представлены в Палате очень слабо, вне пропорции с количеством поданных за них голосов. Но раскол социалистической партии и возникновение коммунистической затормозили рост социалистической партии и приток свежих сил в социалистическую часть политической элиты. Благодаря образованию Народного фронта коммунисты в 1936 году впервые вошли в Палату, как большая группа (12 процентов всех депутатов). Без коммунистов не могло быть сколько-нибудь надежного большинства, а как показал опыт Народного фронта, большинство с коммунистами, хотя и значительное, было еще менее надежным. Отсутствие значительного и прочного, то есть длитель-

---

[4] *Chastenet,* op. c. p. 360.

[5] *Lacour-Gayet,* op. c. pp. 160-61.

ного, большинства может не быть большим злом, если нет насущной необходимости проводить большие реформы. Но в 30-х годах во Франции потребность в таких реформах достигла критической остроты. Становилось все более очевидным, что рабочий класс не будет долго мириться с низкой заработной платой и отсталостью французского законодательства о труде. Прочное левое правительство могло бы провести необходимые реформы в несколько лет, не вызвав этим больших потрясений. Реформы, проведенные в 1936 году, так сказать, «залпом», под давлением охваченных энтузиазмом и нетерпением масс, сами по себе почти все были вполне разумны. Но их проведение в кратчайший срок вызвало расстройство в промышленности и возобновление инфляции, а также яростную реакцию со стороны не принадлежавших к Народному фронту группировок. Все это неблагоприятно отразилось на подготовке к надвигавшейся войне. Если бы сохранилось единство социалистической партии, развитие несомненно пошло бы другим путем, более отвечающим интересам и рабочего класса и всей страны. После Второй мировой войны наличность в Палате большой коммунистической фракции станет постоянным фактором, парализующим и деморализующим парламентскую жизнь.

Но далеко не одни коммунисты были ответственны за деградацию парламентской активности. Я позже вернусь к вопросу о понижении уровня политической элиты, но укажу сейчас на его проявление в развившейся у очень многих депутатов — и соответственно министров — боязни ответственности, сделавшей обычной практику, которую один французский публицист недавно назвал «политикой *alibi*»: вышло плохо, но я тут не при чем. Чтобы оправдать себя перед избирателями, депутаты и министры старались сложить с себя ответственность, если обстоятельства вынуждали их проводить непопулярные мероприятия. Так как все правительственные комбинации были коалиционными, то каждый депутат мог ссылаться на то, что его группа была не одна в правительстве и в составе правительственного большинства, что приходилось считаться с другими, идти на компромиссы или из солидарности даже голосовать за мероприятия, которым данный депутат или министр не сочувствовал. Установилась особенно удобная практика предоставлять правительству чрезвычайные полномочия, чтобы оно посредством декретов проводило мероприятия, за которые депутаты не хотели открыто голосовать. После можно было возмущаться и свергнуть правительство,

которое сделало то, чего хотели сами выражавшие ему на другой день недоверие депутаты. После Второй мировой войны эта «политика alibi», с одной стороны, и наличность большой коммунистической фракции, с другой, привели к полному бесплодию или «иммобилизму», неподвижности парламента и зависящих от него правительств. Но это было уже при Четвертой республике.

В Первую мировую войну Третья республика покрыла себя славой, во вторую она бесславно погибла. Возникшая после освобождения Четвертая республика переняла однако все немощи Третьей и сумела быстро довести их до крайних последствий. На этот раз Франция вышла из войны униженной поражением и оккупацией, глубоко деморализованной режимом Виши, коллаборацией и опять-таки инфляцией с ее обычными спутниками — черным рынком, спекуляцией, всякими видами нечестной наживы. Но было и сопротивление против завоевателей, которое стало предметом гордости большинства французов. Был генерал Шарль де Голль, естественно возглавивший освобожденную страну. Были основания ожидать свежих сил, обновления политических кадров. Я не могу останавливаться на том, почему эти надежды не сбылись. Появились новые лица, но они не смогли — а иные и не хотели — помешать тому, что новая республика стала не только продолжением, но и ухудшенным изданием Третьей, как и конституция Четвертой республики не устранила недостатков «Конституции 1875 года». В актив правительств новой республики нужно занести ее социальное законодательство, сделавшее Францию в этом отношении одной из наиболее передовых стран. Но там, где нужны были смелые и при том непопулярные мероприятия, правительства Четвертой республики, начиная с возглавляемого де Голлем, предпочитали идти по линии наименьшего сопротивления. План стабилизации франка, выработанный Мандес-Франсом, который был министром народного хозяйства в первом кабинете де Голля, не был принят и инфляция не была во время остановлена. Когда франк стал относительно стабильным, его покупательная ценность была по меньшей мере в 25 раз ниже довоенной. Его курс по отношению к доллару искусственно поддерживался на не соответствующей его реальной стоимости высоте, что делало французскую продукцию чрезвычайно дорогой по отношению к ценам других стран, очень затрудняло экспорт и сделало постоянной и чрезвычайно острой про-

блему платежного баланса. Это положение существует и сейчас, несмотря на имевшие место четыре девальвации франка.

Парламентские нравы не улучшились, а продолжали ухудшаться. При «иммобилизме» политики большая активность проявилась в интригах. Одной из главных забот депутатов и министров было — еще больше, чем раньше — старание уклониться от ответственности за что-либо, что могло не понравиться какой-либо части избирателей. Правительства сменялись чаще, чем когда-либо. Нынешнее правительство де Голля двадцать шестое со времени освобождения. Некоторые из первых правительств еще возглавлялись значительными фигурами — два де Голлем, одно Леоном Блюмом. После этого смена председателей совета министров была почти без исключения своего рода конкурсом посредственностей. При этом любопытно, что наиболее живучими были правительства, которые возглавлялись наиболее бедными по дарованию и слабыми по характеру личностями — умеренным правым Ланиелем и социалистом Ги Молле (который однако проявил гораздо больше способностей в качестве секретаря партии). Мне представляется неправильным довольно обычное объяснение, что это предпочтение слабых премьеров вызывалось боязнью, что сильный премьер (или президент) может проявить диктаторские наклонности. Так было в первое десятилетие Третьей республики, но в Четвертой республике такой опасности не было. Но была боязнь людей со смелой инициативой — и без боязни ответственности — которые бы ставили парламентариев перед неприятными решениями.

Тем не менее этот режим, по всей вероятности, мог бы существовать и дальше, если бы для него не оказалась роковой его неспособность справиться с алжирской проблемой. В отличие от всех прежних революций он был свергнут не в Париже, а в Алжире. Но в самой Франции народ в своем большинстве «безмолствовал», словно ему было совершенно безразлично, что будет с одним правительством и каким будет другое. Все свидетельские показания сходились в том, что население Франции в самые драматические месяцы находилось в полной политической апатии. Как мне говорили, во Франции можно было жить неделями, не слыша ни одного политического разговора, ни одного упоминания имени де Голля. Когда я в августе приехал в Париж, то и личное впечатление и разговоры с очень осведомленными французскими друзьями вполне подтвердили правильность упомянутых рассказов. Одной из причин этого безразличия было то, что

если не всем французам, то значительному большинству в последние годы жилось — и сейчас живется — лучше, чем когда бы то ни было. Как это произошло нельзя объяснить без детального анализа развития французской экономики. Но здесь существенно лишь отметить факт материального благополучия при отсутствии благополучия политического. И то же относится к интеллектуальной жизни, уровень которой во Франции является, вероятно, самим высоким в Европе. Зачем же тогда беспокоить себя размышлениями об игре парламентских интриг и о постоянно меняющихся правительственных комбинациях, к тому же ничего не меняющих в политике? Наличность большой коммунистической фракции делала невозможным образование определенно левого большинства, которое соответствовало бы преобладанию в стране левых настроений. Но не было возможно и определенно правое большинство, потому что большинство палаты состояло из левых партий, включая коммунистов, которые всегда голосовали против, свергая то вместе с правыми относительно левое правительство, то вместе с демократическими левыми партиями правительство правое. Уже поэтому было слишком трудно сдвинуть политику в ту или другую сторону. Это на короткое время удалось Мандес-Франсу, у которого были идеи — правильные или нет, я здесь не разбираю, — была энергия и не было боязни ответственности. Как мне говорили в Париже мои французские знакомые, время, когда шла борьба за или против Мандес-Франса, было последним периодом подлинного политического оживления. После этого в политике снова царил «иммобилизм», а нация впала в полную политическую апатию.

Алжирская проблема слишком сложна, чтобы ее трактовать мимоходом. Здесь достаточно отметить, что правящие круги Четвертой республики еще до алжирского мятежа в мае нынешнего года совершили свое политическое самоубийство, когда Ги Молле в феврале 1956 г. капитулировал перед алжирскими экстремистами, после чего в Алжире фактически установилась диктатура армии. До этого армия еще повиновалась. Я слышал мнение, что она повиновалась бы и позже, может быть даже и в мае нынешнего года, если бы было правительство, которое имело бы авторитет и чувствовало себя в состоянии приказывать. Не могу судить так ли это. Во всяком случае, начиная с Ги Молле, таких правительств не было. Во Франции стали говорить, что столица страны перенесена в Алжир. Центральная власть была совершенно бес-

сильной уже и потому, что в парламенте нельзя было образовать большинство для той или иной определенной политики в алжирском вопросе. Слишком много было парламентариев, которые боялись быть за какую-либо политику. И когда последнее правительство Четвертой республики пыталось защищать себя против мятежа, оно не нашло повинующихся ему органов порядка. Его крушение стало неотвратимым. Тогда правительственная власть неминуемо должна была перейти к единственному человеку, который мог восстановить авторитет центрального правительства, так как имел шанс добиться повиновения алжирских мятежников. Этим человеком был генерал де Голль, и так начался эксперимент де Голля.

Я говорю об эксперименте, потому что пока невозможно сколько-нибудь определенно предвидеть результаты начатого де Голлем преобразования. Де Голль знает, чего он хочет достичь. Но во-первых, всё еще неизвестно, сможет ли он делать то, что хочет, а во-вторых очень сомнительно и то, к каким результатам приведут его реформы. Я заканчиваю статью в несколько неудобный момент — в день первого круга французских выборов. Но то, что известно о подготовке выборов — в особенности в Алжире — и об избирательной кампании, не дает оснований для радужных надежд. Де Голль уже потерпел очень серьезную неудачу, подрывающую шанс успеха его политики. Его желание иметь в составе избранных в Алжире депутатов группу авторитетных представителей мусульманского населения — не осуществилось. И что особенно серьезно, не осуществилось потому, что находящаяся в Алжире армия (то есть ее командование на различных ступенях) не подчинилась твердым предписаниям де Голля обеспечить свободу выборов и дать мусульманскому населению выбирать, кого оно хочет (с исключением только участников вооруженной борьбы). Вместо этого армия различными методами вплоть до арестов намечаемых кандидатов сфабриковала списки кандидатов, включающих только послушных армии, но фактически никого не представляющих мусульман. План де Голля получить в результате выборов партнеров для переговоров был сорван. И этим находящаяся в Алжире армия обнаружила, что она все еще не намерена подчиняться центральному правительству, то есть в данном случае даже де Голлю. Она изменила только формы неповиновения, но, соблюдая видимость лояльности, продолжает вести собственную политику, добиваясь пресловутой «интеграции», то есть превращения Алжира в часть Франции и всех алжирцев во французов, тогда как

де Голль является противником «интеграции». Он ищет соглашения на основе какой-либо формы федеративного решения проблемы. Замечу, что абсурдная идея «интеграции» по существу есть не что иное, как лицемерная маскировка желания сохранить колониальное положение Алжира. Как выразился один корреспондент, было бы слишком мягко сказать, что де Голль «раздражен» поведением армии, но, как бы ни велико было его негодование, добиться повиновения находящейся в Алжире армии он всё еще не может. А это неизбежно вызывает разочарование у всех тех, кто приветствовал приход де Голля к власти в надежде, что он сможет положить конец алжирской войне.

Де Голлю приходится проводить намеченные им реформы в очень трудных условиях. Но допустим, что ему удастся их осуществить так, как он того хочет. Приведет ли это к тому обновлению французской политической жизни, которое является насущно необходимым? Де Голль начал с конституционной реформы, которая прошла, не встретив большого сопротивления. Новая конституция принята огромным большинством голосов. Необходимость изменения конституции была очевидна, чего не отрицали и противники де-голлевской конституции. Но голосовали за нее главным образом не потому, что ее одобряли, а потому, что это было голосование за или против де Голля. Не было сомнения, что де Голль уйдет, если конституция будет отвергнута. А что тогда?

Будет ли новая конституция действительно *принята* большинством, как в свое время была принята конституция Третьей республики, зависит от того, насколько она оправдает себя на практике. Можно много спорить о ее достоинствах и недостатках. Можно считать, что она оказалась более демократической, чем многие опасались. Но можно и сомневаться в том, что страна с такой конституцией вообще может считаться демократией. В том, что характер конституции окажет значительное влияние на дальнейшее политическое развитие, вряд ли можно сомневаться. Но я не думаю, что значение этого влияния будет решающим, как я не считаю, что решающим фактором, вызвавшим крушение Четвертой республики, были недостатки ее конституции.

Интересно отметить, что и автор конституции, министр юстиции в правительстве де Голля, Мишель Дебрэ не придавал конституции решающего значения. По его мысли, конституция должна была быть не началом, а завершением ряда боль-

ших реформ. План этих реформ и главных черт новой конституции Дебрэ, давний сотрудник и советчик де Голля, изложил в книге, вышедшей еще в прошлом году[6]. Приняв лишь с немногими изменениями предложения Дебрэ, касающиеся самой конституции, де Голль не последовал за ним в одном очень существенном пункте, а именно в вопросе о переходе от Четвертой к новой республике. Дебрэ предполагал, что тем или иным путем на смену обычного правительства придет *возглавляемое де Голлем* «правительство общественного спасения». Любопытно предвосхищение того, что произошло спустя больше года после того, как Дебрэ писал свою книгу! Новое правительство должно быть временным для переходного периода. Однако этот переходной период должен продолжаться не менее полутора, но не более пяти лет, и для него потребуется своего рода временная конституция. Постоянная конституция должна быть завершением законодательной деятельности «правительства общественного спасения», которое охватит все стороны общественной жизни: индустриальное развитие, земледелие, социальные отношения, административную и судебную реформы вплоть до статута печати, реформы финансовой системы, народного образования — словом буквально все. Дебрэ не скрывал, что такое правительство переходного периода будет диктатурой. На это де Голль не пошел. Он сократил переходной период, для которого он просил и получил полномочия от старого парламента, до шести месяцев, в течение которых была принята новая конституция и — можно уже сказать — были проведены новые парламентские выборы. Но я склонен думать, что Дебрэ — с которым я во всем основном, конечно, радикально расхожусь — был прав, считая, что не следует торопиться с принятием постоянной конституции. Было бы много лучше сначала ограничиться немногими необходимыми поправками, которые позволили бы издать новый избирательный закон и обеспечили бы стабильность правительства на ближайшие годы. Тем более, что вообще совершенно нелепо ставить на всенародное голосование обширный и сложный документ, далеко не всем понятный и поддающийся различным толкованиям.

Де Голль, без сомнения, надеялся, что произведенный им переворот привлечет новые силы и приведет к обновлению политической «элиты». В своей книге Дебрэ ставил вопрос о новых силах, но его ответ на этот вопрос был очень не-

---

[6] *Michel Debré. Ces princes qui nous gouvernent.*

убедителен. Он отвечал ссылкой на Великую революцию. Он указывал на то, как народ, состарившийся и впавший в скептицизм в последние годы Старого режима, с началом революции стал полным энергии; тогда как раньше Людовик XVI видел вокруг себя безлюдье, в 1789 г. обнаружилось изобилие кандидатов на правящее положение. Но разве перед революцией весь народ, а не только окружавший короля верхний слой, находился в состоянии одряхления и скептицизма? Разве не было стремившейся «стать всем» буржуазии, не было кипения, нашедшего свое выражение во множестве «*cahiers*»? Революция привлекла и втянула в политическую активность людей, которым она открывала поле деятельности и борьбы за идеи, за которые стоило бороться.

Я говорил о том, как поднимался уровень политических деятелей Третьей республики. Дело было не в том, что Франция оскудевала даровитыми людьми, а в том, что ослабевало притяжение политики. Раньше была идея республики, необходимости ее защищать и укреплять. Это была задача, которая могла привлекать людей большого формата. Даже крупные ученые, как химик Марселэн Бертело (отец выше цитированного Филиппа Бертело) и математик Пэнлевэ становились депутатами, сенаторами и министрами. Идея социализма привлекла Жореса, Гэда, Мильерана, Бриана, Марселя Самба, наконец Леона Блюма и других, которые были куда значительнее социалистических лидеров нашего времени. В атмосфере Четвертой республики Бертело и Пэнлевэ не оторвались бы от научной работы ради министерских портфелей, а Жорес остался бы философом или историком. Преимущества и выгоды, которые обещала парламентская карьера в Четвертой республике, были привлекательны лишь для людей меньшего калибра.

У де Голля есть идеи, с помощью которых он надеется воодушевить страну и привлечь к государственной работе свежие и ценные силы. Это — идеи «величия» Франции и ее «национальной миссии». В сущности это две формулировки одной и той же идеи. Или, как недавно писал тот же Дебрэ: «подлинными строителями могут считать себя только те, кто борются, чтобы восстановить авторитет, независимость и мощность Франции». Такие идеи могут увлечь. Я не сомневаюсь, что у многих французов есть тоска по прежнему величию, но, если сделать эту тоску руководящим принципом политики, то это будет бесплодно и опасно. Конечно, если понимать величие в смысле материального могущества. Великой держа-

вой в прежнем смысле Франция снова стать не может. Стремление к этому будет или только мечтой — и это в лучшем случае, или будет выражаться в опасных формах — таких, как истощение страны непомерными военными расходами, тратой молодых человеческих жизней и материальных средств ради предотвращения независимости Алжира. Такой идее величия, без сомнения, искренне преданы те элементы армии, которые беспрерывно сражаются уже пятнадцать лет (участие в колониальных операциях во время мировой войны, Индокитай, Алжир) и глубоко уязвлены рядом неудач и поражений. Но эти же элементы являются теперь не опорой де Голля, а его противниками, так как де Голль сознает бесплодность алжирской войны и ищет выхода из нее путем соглашения с алжирскими националистами. Еще хуже те сторонники «политики величия», которые объявляют себя «голлистами», чтобы прикрыть свои фашистские вожделения и к которым де Голль, без сомнения, относится с глубоким презрением.

Франция нуждается в новом политическом классе, гораздо более высокого качества чем тот, который она сейчас имеет. Может ли образоваться такой политический класс? Я не вижу оснований считать это невозможным. Человеческий материал для этого имеется. Французы не стали глупее. В даровитых людях недостатка нет, но сейчас они отталкиваются от политики и ищут применения своих дарований в других областях. Среди них, без сомнения, имеются люди, которые могут быть мобилизованы для политической активности. Но такая мобилизация возможна только вокруг больших идей, внесение которых в политику ее очистит, превратив ее из «грязного дела», как часто говорится, в сферу деятельности, которая может удовлетворять людей с высокими интеллектуальными и моральными запросами. Этому требованию идеи де Голля не отвечают, несмотря на всю их благородную романтику. Какие же это могут быть идеи? На этот вопрос со стороны ответить нельзя. Найти ответ или ответы — дело мыслящих французов, которыми Франция по-прежнему богата.

Ю. П. Денике

УСТОИ ДЕМОКРАТИИ

В СВЕТЕ НОВОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ КОНСТИТУЦИИ

1

Знаменитому английскому государствоведу Бэджготу принадлежат слова: с 1789 г. Франция непрестанно производит политические эксперименты, из которых другие могут извлечь для себя большую пользу. Последний по времени эксперимент Франции — оформление в конституции V-ой республики. И из него нельзя не извлечь определенной «пользы»: достоинства и недостатки конституции — повод и материал для проверки устоев демократии, которой приходится сейчас отбиваться на два фронта, направо и налево.

Начнем с общей характеристики новой конституции, чтобы потом перейти к тому, какой представляется демократия к концу 1958 г., чего от нее можно требовать и к чему призывать.

Как и вся политика генерала де Голля, конституция V-ой республики, скроенная и сшитая по его заказу, — результат намеренного компромисса. Конституция отталкивается от крайних решений и выбирает средние, не считаясь с тем, что в одних случаях они противоречивы, а в других неопределенны и двусмысленны.

Новая, четырнадцатая со времени великой французской революции, конституция повторяет — иногда буквально — многие из статей предшествующей ей конституции 1946 года. Другие статьи она откидывает или замещает новыми. Как и прежняя, новая открывается Введением, торжественно провозглашающим «приверженность французского народа к правам человека и принципам государственного суверенитета, установленным декларацией 1789, которую подтвердило и дополнило Введение в конституцию 1946» (женское равноправие, право на труд, право союзов, стачек и т. д.). Конституция признает всеобщее, равное и тайное голосование, отступая лишь от прямых выборов в большей мере, чем то допускалось конституцией 1946 г.

«Франция — республика, неделимая, светская, демокра-

тическая и социальная. Она обеспечивает равенство перед законом всем гражданам без различия происхождения, расы или религии. Она уважает все вероисповедания». Она признает и участие в выборах партий и политических группировок. Им ставится одно только условие: «считаться с принципами государственного суверенитета и демократии». Конституция утверждает и ответственность правительства перед парламентом.

Наряду с этим почти безупречным признанием начал демократии имеются и столь же несомненные отступления от них. Наиболее резко это сказывается в статьях 16 и 92. Ст. 16-ая предусматривает случаи, когда республиканские учреждения, независимость государства, целостность его территории или выполнение им международных обязательств находятся под «непосредственной и серьезной угрозой», а нормальное осуществление государственной власти, предусмотренное конституцией, прервано. В таких случаях президенту, по выслушании мнения премьера, председателей обеих законодательных палат и имеющего быть созданным Консультативного Совета, предоставляется принимать «требуемые обстоятельствами» меры. Их должна подсказывать президенту «воля к обеспечению конституционным учреждениям выполнения их назначения в кратчайший срок». Во время действия такого чрезвычайного положения Национальное Собрание собирается по собственному почину и не подлежит роспуску.

В созданном де Голлем для обсуждения проекта конституции Совещательном Комитете он публично заявил, что ст. 16-ая не будет никогда применяться. Тем не менее в окончательном тексте она сохранилась, и, каковы бы ни были заверения и намерения самого де Голля, его преемников они не могут связать.

Еще более резкое нарушение демократических требований имеется в последней, XV-ой главе конституции, о «переходных постановлениях», — особенно в заключительной статье 92-ой. В течение четырех месяцев в метрополии и шести месяцев во французском Сообществе (Communauté) правительству предоставляется право, по выслушании мнения Государственного Совета, издавать в это переходное время постановления, имеющие силу закона, и право осуществлять всё, что «сочтет необходимым для жизни государства, защиты граждан и сохранения свобод».

Противники конституции усмотрели в этом «смягченный» и «скрытый» фашизм, даже тоталитаризм. Эти мнения, конечно, пристрастны, неосновательны и несправедливы, — не учи-

тывают других статей конституции. Не делая из нужды добродетели, необходимо все же признать, что конституция в общем не так плоха, какой могла бы быть, как реакция на провалы и дефекты прошлой конституции и как выражение взглядов былого де Голля и его отношения к «системе», «многопартийности» и проч. Конституция 1946 г. парализовала парламент, делала его неспособным принять какие-либо решения по не терпевшим отлагательства вопросам. У лидеров демократии не оказалось умения или не хватило решимости провести нужные реформы. И тогда произошло то, что обыкновенно бывает в подобных случаях: не пожелавших вести за собой повели другие — события и люди. Как сильно ни заблуждался редактор «Экспресс» Серван-Шрейбер со своими мечтами о создании нового народного фронта, как ни восстановлен он против де Голля, однако, и он признал: «не один де Голль ответствен (за случившееся), но и те, кто за десять лет свели демократию к интригам кланов» (23. X. 58).

Сила вещей вынудила французскую демократию принять более серьезные изменения политического строя, чем те, которыми она могла бы ограничиться, если бы сама пошла на них раньше.

В соответствии с усилением власти президента республики, умалена в конституции и власть парламента. Самое расположение текста свидетельствует об этом. Непосредственно за Введением и главой о Суверенитете в прошлой конституции шла обширнейшая глава о Парламенте, и только 5-ая и 6-ая главы говорили о Президенте республики и Совете министров. В новой конституции наоборот: сначала подробно говорится о полномочиях президента и правительства и только затем идет речь о парламенте и об отношениях между парламентом и правительством.

Парламент призван законодательствовать: ст. 34 дает подробный перечень регулируемых законом предметов. Все они чрезвычайно существенны, но самый их перечень ограничивает компетенцию парламента[1]. А ст. 37 это уточняет, подчеркивая, что «другие предметы носят регламентный характер» и «после выслушания мнения Государственного Совета могут быть изменены декретами». С разрешения парламента правительство вправе в течение определенного срока принимать путем

---

[1] В конституции США предусмотрено, что конгресс и отдельные штаты *не* могут делать (секция 9 и 10 ст. 1-ой).

постановлений меры, которые нормально входят в сферу ведения законов, — другими словами, допускается делегация парламентом своей власти.

Сужены права парламента, ограничены и права парламентариев: им воспрещено совмещать мандат законодателя с функциями члена правительства; воспрещено и совмещение правительственных функций с профессиональным представительством общегосударственного значения и вообще с профессиональной деятельностью.

Конституция признает принцип парламентаризма при соблюдении определенных условий и процедуры. И здесь наиболее своеобразное в новой конституции и, вместе с тем, спорное и легко уязвимое. Глава правительства, премьер, назначается президентом республики без того, чтобы назначение было скреплено одобрением Национальным Собранием программы и политики премьера, — как то требовалось конституцией 1946 г. Если же Национальное Собрание, в ходе дальнейших работ, «примет предложение о порицании правительства или не одобрит его программы или декларации об общей политике», премьер обязан вручить отставку президенту республики, который и «кладет конец функциям премьера». Конституция не говорит, — вправе ли президент республики увольнять по собственному почину назначенного им премьера.

Процедура выражения недоверия правительству много сложнее, чем она была раньше[2]. Осложнения преследуют одну цель: облегчить положение правительства, дать ему время и возможность управлять, а не только длить свое существование, отбиваясь от нападок. Эти ограничения в известном смысле результат — или расплата — за политическое прошлое Франции. Достаточно напомнить, что за 65 лет существования III-ей республики сменилось 111 правительств (считая и первое правительство Петэна). Переходный к IV-ой республике период знал 5 временных правительств и, наконец, IV-ая республика имела 21 правительство (считая и нынешнее). За тот же

---

[2] Предложение о недоверии должно быть подписано по меньшей мере 1/10 общего числа депутатов; подсчету подлежат лишь выразившие недоверие голоса; оно входит в силу при наличности большинства голосов, не подлежащих передаче по доверию; будущий закон может разрешить передачу в порядке исключения, но и в таком случае никому не может быть передано больше одного голоса; и, наконец, подписавшие предложение о цензуре не вправе вносить такое предложение в течение той же сессии.

срок — с 1875 г. — в Соединенных Штатах Америки сменилось всего 16 правительств. Пример Америки не мог не быть соблазнительным, и новая конституция отдает этому дань — пробует заимствовать кое-что из американского опыта.

Одним из новшеств является создание Конституционного Совета, имеющего самое отдаленное сходство с одним из главных устоев американской демократии — Верховным Судом. Конституционный Совет и организован совсем не так, как его якобы американский прототип, и компетенция его совсем иная: и шире, и у́же компетенции Верховного Суда.[3] Тем не менее это новшество дает лишнее основание к сближению нового строя Франции с тем, что в терминах государственного права носит название президентской системы. Новая конституция может быть истолкована в таком случае, как своеобразное сочетание парламентарной системы с президентской.

Такое понимание проходит, однако, мимо той трансформации, которой подверглись одинаково и парламентаризм, и президентская система.

Демократия повсеместно возникала в борьбе против королевского абсолютизма. И в Америке она создалась в процессе отталкивания от деспотической власти. Но тогда как в Англии и на европейском континенте монархическому абсолютизму противопоставлялась власть народного представи-

---

[3] Конституционный Совет состоит из 9 членов, назначаемых в равном числе президентом республики и представителями каждой из законодательных палат. Все члены назначаются на 9 лет и не могут быть вторично назначены. Бывшие президенты республики входят в состав Совета пожизненно.

Верховный Суд решает вопрос о соответствии изданных законов с конституцией. Конституционному же Совету Франции предстоит выносить заключение о конституционности будущих «органических законов» *до* их опубликования, равно как о конституционности регламента той и другой палаты *до* его практического применения. (К будущим органическим законам, которые урегулируют весьма важные отношения, конституция отсылает 17 раз).

Конституционный Совет призван следить и за правильностью выборов (президента республики, депутатов и сенаторов), равно как и за производством референдума. Президент, премьер и председатели обеих палат могут обращаться к Конституционному Совету за заключением до опубликования любого закона. Ответ должен последовать в течение месяца, а то и 8 дней. Заключение не подлежит обжалованию.

тельства, парламента, в Америке демократический режим возник путем отталкивания и от короны, и от парламента Англии, обложившего заморские колонии налогами без предоставления им представительства.

Отчасти по этой причине, отчасти чтобы туже сцепить «конфедерацию» 13 штатов, отчасти благодаря личным качествам американских президентов и популярности учения Монтескье, уравнивавшей законодательную власть с властью исполнительной, последняя сосредоточилась в руках президента — главы государства и правительства в одно и то же время. Американские историки подчеркивают, что «сильные» президенты — в наше время оба Рузвельта и Вильсон — доминировали над конгрессом, не останавливаясь в некоторых случаях перед «нажимом» или угрозами «нажима» на закон.

Не следует всё же преувеличивать достоинства президентской системы. Она не раз оказывалась в тупике. «Чтобы властью не злоупотребляли, нужно чтобы по расположению вещей власть останавливала власть», — писал Монтескье («О духе законов», книга XI, гл. 3). И он оптимистически прибавлял: «Так как в силу необходимости они (три власти) вынуждены будут двигаться, они будут принуждены действовать согласно» (Там же, кн. 6). Как известно, это случалось далеко не всегда. Иногда власти так усердно сдерживали одна другую, что государственная машина тормозилась. Особенно болезненно это сказывалось накануне и во время двух мировых войн. Это бывало обыкновенно, когда президент и большинство той или другой палаты принадлежали к разным политическим партиям. Этот дефект американской системы был с самого начала подмечен как иностранцами, так и самими американцами (статьи Мэдисона в «Федералисте», судья Стори и др.). Совсем недавно бывший премьер Англии Эттли повторил жалобу: «одна из отрицательных сторон американской системы демократии состоит в том, что иногда трудно бывает установить, где в конечном счете обретается власть».

Идет постоянная борьба или соревнование между президентом, отстаивающим прерогативы Администрациии, и конгрессом, домогающимся реального и более широкого контроля действий Администрации, настаивающим на предъявлении ему секретных доссье при расследованиях, отказывающим в утверждении лиц, назначенных президентом на ответственные посты, или производимых им в высшие чины генералов и адмиралов, — не говоря уже о сокращении бюджетных

ассигнований, обычного средства воздействия на правительство.

Авторитетнейшие государствоведы и публицисты Америки доказывали и доказывают, что президентская система отстала от требований времени, отмечают преимущества парламентаризма. С своей стороны, европейские авторитеты, разочаровавшись в парламентарной системе демократии, отдают предпочтение другим системам. Сошлюсь всего на одного, но исключительно авторитетного свидетеля, — теоретика и практика одновременно.

В первую мировую войну Леон Блюм приобщился к государственному управлению, пробыв полтора года на посту начальника кабинета министра общественных работ, Марселя Семба. Уже тогда он убедился в несоответствии правительственного аппарата Франции своему назначению и высказался в пользу «сильной власти в интересах демократии». В «Письмах о правительственной реформе», опубликованных им под тремя звездочками в «Ревю де Пари» 1917-1918 гг. и перепечатанных за подписью автора в 1937 г., Блюм рекомендовал сосредоточение всей правительственной власти в руках первого министра, «вдохновителя, руководителя, арбитра», которому надлежит направлять работу не только своих коллег-министров, но и парламента, — на подобие «Военного кабинета» Ллойд Джорджа.

Ставши премьером в 1936 г., Леон Блюм осуществил кое-что из рекомендованного им двумя десятилетиями раньше. Однако, и собственный опыт управления его не удовлетворил. Размышляя о прошлых ошибках и недостатках французской демократии в риомской тюрьме, Блюм пришел к более радикальным выводам. В замечательной книге «A l'Echelle humaine» он подверг парламентаризм суровой критике и, напомнив, что это не единственная форма демократии, высказался в пользу американской и даже швейцарской системы. Всемогуществу парламента Блюм предпочел равновесие властей, хотя бы и тормозящих одна другую.

Это было еще до новейшей, атомной эпохи.

В Англии, у «матери парламентов», и на европейском континенте демократия складывалась иначе, чем в Америке. Там парламент стал постепенно выдвигаться вперед и сделался всевластным не только как орган контроля правительства. Исчезло различие между обыкновенными законами и основными, конституционными: последние могут быть отменены, измене-

ны и дополнены без соблюдения специальной, осложненной процедуры. Власть парламента стала формально неограниченной: говорилось, что парламент может всё, кроме как «из женщины сделать мужчину и обратно». Сейчас эта бутада уже устарела и даже вдвойне устарела: новейшая медицина считает возможным в известных условиях превращение мужчины в женщину, а, с другой стороны, развитие демократии в Англии не остановилось на утверждении всемогущества парламента.

Верховенство перешло от парламента к увеличившимся в числе избирателям, оказывающим прямое воздействие не только на направление политики, но и на то, какой партии руководить парламентом, кому быть или не быть первым министром. Если в Америке исполнительная власть сравнялась по значению с законодательной, а порой и доминирует над ней, в Англии законодательная власть сначала подчинила себе исполнительную, чтобы потом, вместе с ней, оказаться в зависимости от избирателей.

Уже в 1867 г. Бэджгот подметил этот процесс перемешения центра управления от парламента к кабинету министров. Формально кабинет — производное от парламента, фактически же министры выбираются премьером, который им становится волею победившей на выборах партии, то-есть волей избирателей. Кабинетная система вытеснила парламентарную. «Кабинет намечает законодательную программу, контролирует финансы, распределяет работу палат, ведет внешние сношения, располагает военными силами, контролирует колонии, осуществляет возможный надзор за каждым отделом администрации», — описывает «Британскую систему управления» профессор административного права в лондонском университете Уильям Робсон (последнее издание книги 1952 г.).

И в других странах, где утвердилась демократия, происходит тот же процесс *концентрации* государственной власти параллельно с ее демократизацией.

Сосредоточение власти в руках главы правительства служило почти всегда пугалом для левого сектора французской демократии. Два Наполеона, никак не сравнимый с ними генерал Мак Магон и призрачный Буланже, не говоря уже о режиме Виши, оставили после себя неизгладимый след в сознании людей, преданных идеям свободы и социальной справедливости. Свою роль, и немалую, конечно, сыграла и пропаганда коммунистов, подрывавшая парламентарную демократию во

имя якобы более совершенной «народной демократии». Отсюда низведение правительственной власти на второстепенную роль — подчинение ее всяческому контролю со стороны парламента. Однако, и Национальное Собрание, в принципе полновластное в стиле английской Палаты Общин, оказалось неработоспособным — парализованным из-за разъедавшей его борьбы и склоки партий и групп.

Конституция V-ой республики концентрирует власть, делает ее более устойчивой, обеспечивает известную длительность и последовательность начинаниям правительства. В этом ее положительная сторона. Отрицательная же — в искусственной попытке совместить несовместимое: некоторые черты президентской системы со старой практикой парламентаризма. Редактор религиозного «Эспри» Жан-Мари Доменан, возмущаясь конституцией, считает ее «незаконным ребенком президентской системы и парламентаризма» (Сентябрь 1958).

По новой конституции президент Франции будет не тем, чем были его предшественники. Из декоративной фигуры, лишь представляющей государство, только осведомляемой о ведущихся международных переговорах и ставящей подпись под законодательными и административными актами, он отныне превращается в активного руководителя внешней и внутренней политики, — на американский лад. Ст. 5-ая наделяет его в известных случаях правом «арбитража» и считает его «гарантом» государственной независимости, территориальной целостности и соблюдения международных договоров и соглашений внутри французского Сообщества.

Здесь полномочия французского президента превосходят полномочия его заатлантического коллеги. С другой стороны рядом с французским президентом будет премьер, тогда как американский президент в то же время и премьер своего кабинета. Назначенный президентом французский премьер в дальнейшем ответствен не перед президентом, а перед Национальным Собранием, тогда как американские министры — Секретари отдельных правительственных ведомств — увольняются по личному усмотрению президента. Премьер же Франции может оказаться солидарным не с президентом, который его назначил, а с Национальным Собранием, перед которым он по конституции ответствен. И из такого «треугольника» конституция не намечает выхода.

Будущее покажет, как обернется в реальности противоречивый компромисс, пронизывающий конституцию. Пойдет ли развитие французской демократии в американском направ-

лении? Вернется ли она к привычному своему отталкиванию от сильной власти? Или вступит на путь диктатуры? Угрожающе и тревожно звучит предостережение де Голля от 24 октября: «если имеющий быть избранным парламент не приспособится к указанной ему (конституцией) роли и республика окажется перед новым кризисом, никто не может предсказать его исход, кроме того, что парламентарная система будет сметена на долгое время».

Всякий демократ и, особенно, привязанный к Франции не может не уповать, что эта участь минет Францию, родоначальницу демократии на европейском континенте.

2

Переходя от Франции и ее новой конституции к общей проблеме — кризису демократии и ее устоев, надо прежде всего сказать, что эти последние не исчерпываются и не вполне определяются соотношением властей в демократии, — какая власть, законодательная или правительственная призвана играть руководящую роль. К устоям и необходимым условиям демократии относятся права гражданина и народоправство. Доказательством того, что права человека и гражданина неотъемлемы от демократии, служит вся история человечества, политическая, религиозная, социальная, которая есть не что иное, как история борьбы за признание и расширение этих прав, как ценности самоочевидной и всеобщей. Рядом с правами гражданина стоит в демократии лишь народоправство, как производное от воли и правосознания народа, или избирателей. К проверке именно этого устоя, как правило, обращаются во время очередного кризиса демократии.

Такой кризис остро ощущался после первой мировой войны, вскоре после того, как демократия победным маршем проследовала едва ли не по всей Европе. В 20-ых годах 19-го столетия насчитывали всего три республики на всем земном шаре (Швейцария, Соединенные Штаты, Гаити) и, кроме скандинавских, всего три конституционных монархии (Англия, Франция, Нидерланды). За этими исключениями всюду господствовал абсолютизм. После первой мировой войны, в 20-х годах текущего столетия, сохранились всего три абсолютных монархии (Афганистан, Сиам, Эфиопия). Пали вековые троны Габсбургов, Романовых, Гогенцоллернов. Исчез с лица земли и «сын неба» в Китае. Вместе с султанатом был упразднен в Турции и калифат, возглавление падишахом ислама. В сохранившихся конституционных монархиях парламентский кон-

троль за управлением в большинстве случаев осуществлялся так же действенно, как в республиках.

Однако, прошло немного времени, и в ряде государств былой или новый демократический режим сменился авторитарным, а то и откровенно диктаторским. Можно было провести линию, отделявшую отсталые, аграрные страны южной и юго-восточной Европы, где водворился авторитарный или диктаторский режим (Португалия, Испания, Италия, Австрия, государство Сербов-Кроатов-Словенцев, Греция, Турция, Болгария, Румыния, Венгрия, Польша, Литва, Латвия), от промышленных стран центральной и северной Европы, где сохранился демократический строй. Но эта схема рухнула с возникновением тоталитарного режима на севере Европы, в промышленной и политически развитой Германии.

Аналогичный процесс произошел и после второй мировой войны. Демократия провозглашена была повсеместно, не исключая самых отсталых, экономически, культурно, политически, стран Азии и Африки. Почти всюду была принята парламентарная система, даже там, где население пребывало в состоянии близком к племенному быту, нищенствовало и едва ли не поголовно было безграмотно. В ряде этих стран демократия не удержалась и к числу привычных к диктатуре стран латинской Америки (Куба, Доминиканская республика, Парагвай, Сальвадор, Венецуэла, Аргентина) сейчас прибавились страны недавней и недолгой демократии, — Индонезия, Пакистан, Сиам, Бирма, Ирак, Малайя, Цейлон, Гана, Судан.

Этому повторному явлению ищут и находят объяснение там же, где искали и находили его после первой войны. В августе 1928 г. в Берлине собралась конференция международного межпарламентского объединения. В ней участвовали и теоретики-государствоведы, но подавляющее большинство состояло из представителей 35 законодательных учреждений разных партий. Обсуждению подверглась «Новейшая эволюция парламентского режима». А двумя месяцами позже собралась в Париже очередная сессия международного Института публичного права, поставившая перед собой вопрос — «Кризис представительной демократии», тот самый, который волнует современность. Здесь участвовали выдающиеся ученые, и доклады были представлены знаменитым Лоуэлем из Харварда, Ласки из Лондона и Жозеф-Бартелеми из Парижа. Тот же Ласки, швейцарец Боржо, итальянец Моска, немец Бонн и француз Ларнод напечатали и ответы на соответственную анкету.

И тогда, как и сейчас, причины затяжных кризисов демократии видели в социально-политических условиях страны и психологии населения.

С эпохи, когда сложился классический парламентаризм, чрезвычайно увеличился численный состав избирателей, изменился и тип, и характер избирателя. Новые социальные слои пришли не только к урнам, они вошли в самый парламент, сели на скамьи депутатов и сенаторов и постепенно поднялись выше: заняли кресла товарищей председателя и председателей законодательных учреждений, стали входить в состав правительств. Все это произошло за очень короткий период времени, тогда как в прошлом развитие демократических учреждений протекало очень медленно. Так на наших глазах закончился процесс, начавшийся в Англии в 1832-м году с уничтожения так называемых «гнилых местечек». Только в 1918 году допущены были к выборам англичанки и лишь в 1928 году они были уравнены в возрастном цензе с мужчинами. Во Франции женщины получили доступ к урнам лишь в 1945-м году, а в Швейцарии они и сейчас лишены этого права. На февраль 1959 г. назначен по этому вопросу референдум по всей стране, но никто не может предсказать результат.

И в США, когда возникли демократические учреждения, шестеро из семи взрослых первоначально лишены были избирательного права в силу разного рода ограничений — ценза, оседлости, собственности, пола, регистрации. Большинство индейцев, живущих в специально отведенных для них местах, не имели права голосования до 1924 г., а в штатах Аризоны и Новой Мексики они получили избирательное право только в прошлом году.

Новые люди, новые социальные пласты принесли с собой и новую психологию. Творцы и отцы демократии интересовались вопросами веротерпимости, личной неприкосновенности, местного самоуправления. Дебаты в парламентах шли об общих принципах. В нынешних парламентах конкретные вопросы и технические трудности изменили характер прений, затягивают решения, отвлекают внимание от парламента, понижают авторитет парламентариев. Парламентская процедура вызывает осуждение с разных сторон. Архиепископ Кентерберийский, д-р Фишер, как и известный юрист, член парламента «трудовик» Шоукросс рекомендовали в конце прошлого года передать «семи мудрецам» (Фишер) или «комитету из десяти различных лиц» решение вопросов, не терпящих отлагательства и все откладываемых палатой. А передовик

лондонского «Таймс» добавил: «Многие из людей думающих чувствуют облегчение, когда занятия парламента приостановлены. Столь неприятная правда не есть атака на демократию, а первый шаг к ее сохранению» (23. XII. 57).

С другой стороны, для тех миллионов, которые представлены в нынешних народно-представительных учреждениях, и общие, и специальные дебаты несравненно менее доступны, нежели былые дебаты для прежних, сравнительно менее многочисленных, но более подготовленных избирателей. Чтобы привлечь их внимание и преодолеть безразличие и апатию, избирателей надо задеть за живое, за то, что им доступно, близко и дорого. В этом смысле экономика, более элементарная и доступная, имеет явное преимущество перед политикой.

И исторически демократию отвергали не одни реставраторы и реакционеры справа, но и радикалы и революционеры. В ценности демократических учреждений усомнились и разочаровались бабувисты, чартисты, анархисты, синдикалисты, коммунисты — последователи не Макиавелли, Бисмарка и Наполеонов, а Бакунина, Прудона, Маркса, Сореля, Ленина. Классовая борьба неизменно оборачивалась и борьбой против «демо-либерализма», «формальной» демократии, «буржуазного» парламентаризма. Жорес расценивал марксизм, как сочетание гениальной интуиции с младенческой наивностью, прибавляя правильное и, на мой взгляд, глубокое замечание: Маркс проглядел за борьбой классов борьбу партий в пределах класса и борьбу лиц в пределах той же партии.

Так было после первой мировой войны. Это повторилось и после второй. И сейчас неудачу и провал демократии, в частности в Азии, объясняют тем, что массы мало интересуются политикой и во всех свободах видят лишь средство и путь для обеспечения себя материальными благами. Это было бы только естественно, и более чем законно, если бы рядом не существовало партий, которые в своих интересах используют отталкивание масс от демократии.

В интересной статье в «Нью Лидер» вернувшийся после объезда почти всей Азии Джон Скотт бросает правильное замечание: «коммунистическим партиям нужно победить на выборах всего раз для того, чтобы выборы стали последними», — или, по советскому образцу, стали бы карикатурой. Автор устанавливает минимум материальных и культурных благ, который обязателен, по его мнению, для «недоразвитых» стран, если они пытаются освоить демократический строй. Этот минимум, — конечно, условный, — 200 долларов годового до-

хода на душу населения и 50% грамотности взрослого населения. Не достигшие такого двойного минимума не могут осилить требований демократии. Эти страны — Бирма, Лаос, Индия (60 долларов годового дохода на человека и 20% грамотности), Индонезия, Камбоджа, Сиам, Южная Корея, Вьет Нам. Скотт приводит слова президента Вьет Нама: свободные выборы — роскошь, которую он не может себе позволить.

Дж. Скотт с этим соглашается и приходит к заключению, что для недоразвитых стран в указанных им условиях диктатура, как форма политической организации, более уместна и действенна, чем демократия. «Если не возьмет верх не-коммунистическая диктатура, верх возьмут коммунистические диктаторы». Такова единственно-реальная альтернатива, по мнению автора, рекомендующего тщательный выбор не-коммунистического диктатора, как необходимое, но меньшее зло по сравнению с диктатором-коммунистом. Если это так, то в таком случае отпадает вопрос о демократии и ее кризисе, но возникает другой: относится ли азиатский «закон» Скотта и к европейским странам, в частности к Испании и Португалии, где диктатуры — явно политического происхождения, несмотря на отсталую экономику и просвещение?

Говоря о кризисе демократии, нельзя пройти мимо тех факторов, в каждом из которых иногда видят чуть ли не главную причину кризиса, тогда как в действительности все они являются лишь ему сопутствующими или от него производными явлениями. Я имею в виду многопартийность и пропорциональную систему.

На недавней конференции, устроенной Конгрессом для защиты культуры и свободы на острове Родосе, обсуждался вопрос о «Представительном правлении и публичных свободах». Известный Игнацио Силоне выступил с заявлением, что демократия переживает кризис потому, что она выродилась в «партиократию», которая опирается на массы, разочаровавшиеся в политике, «деполитизированные» и интересующиеся лишь обеспечением своего существования. Приобщение к политике диктуется сейчас не идеологическими соображениями, как в былое время, а поисками защиты у влиятельных лиц и групп. Отсюда и изменение всей структуры нынешних партий, превратившихся в бюрократические и бездушные механизмы.

Мнение Силоне не лишено оснований, как фактическое описание, но в нем смещены причина и следствие. «Партио-

кратия» не причина кризиса демократии, а его проявление. Партии в наше время перестали быть тем, чем были когда-то, отчасти потому, что, перестав быть немногочисленной «элитой», они превратились в массовые и действенные, иногда могущественные организации. Это можно осуждать, но этого нельзя отменить, ибо партии в демократии выполняют ту же роль рычага, приводящего в движение весь государственный механизм, которую в прежнее время выполнял абсолютный монарх, а потом сословия, «король в совете», «король в парламенте». Без партий демократия не может жить, и кризис демократии не может не выразиться и в кризисе партий.

Против пропорциональной системы выборов выдвигаются возражения во время едва ли не каждого кризиса демократии. В ней многие видят причину крушения демократии в России 1917 г. и в Германии 1933 г. Это совершенно не соответствует ни реальным фактам, ни существу пропорциональной системы, чуждой столь грандиозных возможностей.

Надо напомнить прежде всего, что в ряде демократий пропорциональная система отлично действует, — не только не вызывает нареканий, а признается более справедливой чем система мажоритарная. Все скандинавские демократии, Финляндия, Швейцария, Австрия, Бельгия, Голландия, Ирландия, Израиль, Люксембург, былая Чехо-Словакия, — ввели у себя пропорциональное представительство и не обнаружили желания отказаться от него. В Западной Германии пропорциональная система комбинирована с мажоритарной. А во Франции IV-ой республики пропорциональные выборы применялись лишь как исключение — в зоне парижских предместий — со специальной целью — сократить число коммунистических депутатов за счет увеличения числа их противников.

И вообще пропорциональная система во Франции — «политический эксперимент» сравнительно недавнего происхождения и кратковременный. Она действовала лишь с 1919 по 1927 г. и с 1945 по 1951. Как правило же, там действовала мажоритарная система по спискам, т. е. с выборами не одного депутата от небольшого округа, а нескольких от департамента. Так происходили выборы для легислатуры 1871-75, 1885-89 и с 1928 по 1940 г. Увеличение избирательных округов было продиктовано желанием сделать народное представительство выразителем более широких интересов страны, отдалить депутата от чрезмерной связи со своей «колокольней», преодолеть «la politique du clocher».

Пропорциональной системе вменяется в вину «смерть

многих европейских демократий» — оттого, что она «разбила на атомы избирателей» («Таймс» от 8. X. 58) и увеличила число партий. Сторонники пропорциональной системы это отрицают. Благодаря увеличению численности партий устраняется опасность образования двух могущественных блоков, подавляющих несогласные мнения и рискующих физически столкнуться друг с другом. Наличность многих партий способствует не только более справедливому представительству разных мнений и интересов, но и возможности сговора и достижения компромисса. Пропорциональная система предоставляет партийному руководству влиять и даже определять кандидатов в депутаты, что́, конечно, создает злоупотребления и может разойтись с намерениями избирателей. Но то же имеет место и при мажоритарной системе, когда выборы происходят по спискам, которые составляют партийные верхи. С другой стороны, усиление полномочий партийных лидеров способствует большей дисциплинированности и тем самым лучшей организации парламентской и вообще политической работы.

За время существования III республики мажоритарная система с перебаллотировкой, применявшаяся 13 раз из 16 общих выборов, тоже способствовала увеличению численности группировок и вела к противоестественным соглашениям разных групп перед перебаллотировкой. На выборах 1946 пропорциональная система привела как раз к уменьшению числа соперничающих партий, которые были сведены в несколько блоков, получивших ряд преимуществ. А на последних выборах, при мажоритарной системе с перебаллотировкой и не по спискам, а выборами от каждого округа по одному депутату имеются кандидаты от 6 крупных партий, не считая дюжины мелких.

Можно одобрять или осуждать пропорциональную систему. Не следует, однако, преувеличивать ее значение, приписывать ей вне ее лежащие последствия, вроде облегчения прихода к власти Ленина или Гитлера, и видеть в ней причину кризиса демократического строя. Система выборов имеет второстепенное значение, и, при отсутствии совершенной системы, существуют лишь более или менее несовершенные. Пропорциональная система при всех ее недостатках, на мой взгляд, все же предпочтительнее мажоритарной. Тем не менее она представляет второстепенную ценность и играет подчиненную роль в общей системе демократии.

**
*

Если резюмировать то, к чему, мне представляется, следует придти на основании, в частности, и того, что было сказано, это резюмэ свелось бы к следующему:

Необходимо прежде всего откинуть мифы и фикции, которыми питалась и жила демократия с конца 18-го века. Что́ власть в демократии устанавливается и существует «с согласия подвластных» (управляемых); что́ демократией управляет «закон» или «право», а не люди со всеми их изъянами и произвольными оценками; и, наконец, что́ принцип демократии — признанный ст. 2 французской конституции принципом V-ой республики, — правительство народа, для народа и через народ, — это всё благочестивые постулаты, если хотите, императивы, но отнюдь не реальности.

Неотделимы от демократии права гражданина и народоправство. В числе прав гражданина неотъемлемо и право его участвовать в политической жизни страны и в ее управлении путем избрания своего представителя, — как это предусмотрено ст. 21 Универсальной декларации прав человека, принятой и провозглашенной Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1948 г.[4]

Форма организации государственной власти — президентская система или парламентарная (в обоих вариантах: английском и швейцарском) — не определяет судьбы демократии. Решающим и необходимым для современной демократии является наличность сильной или концентрированной власти в руках главы государства или премьера.

Тем меньше значения имеет система выборов в народнопредставительные учреждения: мажоритарная или пропорциональная система в их разновидностях или сочетание той и другой.

Как ни оправдана критика партийных нравов, снизивших

---

[4] Соединенные Штаты Америки этой декларации не ратифицировали, но в предложенном ими проекте декларации ст. 8 почти в тех же словах утверждали то же. Весьма далекий от радикализма Монтескье писал в свое время, что лицо, лишенное права подать свой голос, — не свободно.

морально-политический авторитет демократии, партии остаются совершенно необходимым и незаменимым инструментом управления в демократии. Без партий и вне партий демократия немыслима и неосуществима.[5]

При организации народного представительства всеобщность и равенство избирательных прав неотъемлемы в демократии. Тайное же и прямое голосование имеют прикладную или техническую ценность: первое для обеспечения свободы избирателя от воздействия со стороны,[6] а второе для установления более непосредственной связи между избирателями и их представителями.

Демократия это режим большинства, логически и политически предполагающий наличность меньшинства — оппозиции, групп и лиц, права коих защищают декларация прав и пропорциональная система там, где она существует. Демократия, по формуле Ганса Кельсена, это режим большинства-меньшинства. И мерой свободы, предоставленной меньшинству, определяется в нормальное время уровень демократии. Вне правил демократии ставят себя современные последователи политики иезуита Луи Вейо, требовавшего для себя и своих единомышленников личной неприкосновенности и свободы слова, печати, собраний и т. д. на основании враждебных ему принципов демократии и заранее отказывав-

---

[5] При всех своих «ересях» В. А. Маклаков признает положительное значение политических партий. Он видит их специальное «назначение» в том, что «они должны представлять интересы не отдельных людей и групп, а нужды и потребности **всего государства, государственной власти»**, — как подчеркивает автор.

[6] Когда большевики предпочитали цинизм лицемерию, они проводили свои выборы открыто. С первой по счету советской конституции 1918 г. и вплоть до 1938 года в Советы и на Съезды Советов представители избирались открытым голосованием. Это было официально подтверждено Инструкцией ВЦИК 13 октября 1925 г. Это удостоверяет и главный советский законовед А. Вышинский: «Как правило, на практике выборы Советов всегда проводились путем открытого голосования». («Советское Государственное Право», 1938 г., стр. 624).

шегося на основании **своих** принципов предоставить эти свободы другим.

М. Вишняк

18. XI. 58.

P.S. Выборы в первое Национальное Собрание Пятой республики 23 и 30 ноября прошли по мажоритарной системе с допущением перебаллотировки, то есть так, как они проходили в большинстве случаев в Третьей республике. Итоги выборов лишний раз показали недостатки этой системы. Получившие 3.882.204 голоса (18,9%) коммунисты провели 10 депутатов, тогда как социалисты, собравшие 3.167.354 голоса (15,5%), представлены 42 депутатами, а, так называемые, независимые Пинэ, получив 19,5%, имеют 132 места в то время как на долю последователей де-Голля, при 17,6% общего числа поданных за них голосов, пришлось 188 депутатов. Можно считать отрадным, что подрывавшие французскую демократию коммунисты из наиболее многочисленной парламентской фракции (149 депутатов) превратились в численно ничтожную. Но не было бы проще — и, главное, достойнее — вообще лишить коммунистов избирательных прав, по примеру Западной Германии, чем добиться их устранения из Национального Собрания при посредстве порочной системы выборов. Вольтер говорил, что божество в неизреченной своей мудрости предпочитает тех, кто его отрицают, тем, кто его компрометируют. То же можно сказать и о демократии.

М. В.

СМОЛЕНСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

В июле 1941 года немецкое наступление дошло до Смоленска. В этом районе оно было так стремительно, что местные власти еле успели эвакуироваться. В спешном отступлении они не успели уничтожить в Смоленске архив областного комитета партии, находившийся в особом здании.

В Смоленске немцы захватили этот архив, содержавший около 200 тысяч страниц документов. Со свойственной им аккуратностью, они сложили эти документы в 500 папок и отправили в Германию на предмет изучения. Когда же после победы над Германией союзники оккупировали Западную Германию, они захватили обширные немецкие архивы, в том числе и смоленские документы. Часть их была отправлена в Вашингтон, часть — в Лондон.

Таким образом впервые за сорок лет стали доступны для исследования внутренние документы компартии и правительства. А так как обком партии это высшая местная власть, то в его документах отразились все стороны советской власти. Среди документов есть инструкции из Москвы и доклады из Смоленска в центр, протоколы партийных и комсомольских комитетов, копии писем партсекретарей от первичных до областной организации. Есть копии докладов ЧК, прокуратуры, милиции, судов, профсоюзов. Есть материалы об армии, народном образовании, религии, цензуре. Эти документы относятся к периоду с 1917 до 1939 г., но среди них есть значительные пробелы: часть документов утеряна. На основании этого архива профессор Харвардского университета Мерл Файнсод недавно опубликовал обширное исследование, представляющее собой чрезвычайный интерес как по использованному им материалу, так и по анализу этого материала. Автору этой статьи пришлось одному из первых ознакомиться со смоленским архивом, однако, некоторые из приведенных ниже фактов взяты из книги проф. Файнсода.

---

* *Merle Fainsod. Smolensk Under Soviet Rule.* Harvard University Press, 1958, pp. 484.

Смоленские документы, как отмечает проф. Файнсод, представляют собою отнюдь не только исторический интерес. Их громадная ценность в том, что они дают документальное подтверждение многим явлениям советской жизни, о которых было известно из вторых рук и которые тщательно скрываются или отрицаются в советской печати.

С этим связана одна, на первый взгляд странная, особенность смоленских документов: на очень многих из них есть пометка — «секретно» или «строго секретно» или «снятие копий строго воспрещается». Засекреченными часто оказываются события, которым в западной печати отведено было бы место в отделе хроники или происшествий. Тут не просто бюрократическое извращение: секретность, предписанная сверху, имеет целью скрывать деятельность административного и особенно партийного аппарата как от внешнего мира, так и от собственного населения. Эта система создает один из внутренних железных занавесов, дающих возможность оградить себя от населения, которому о внутренних делах партии много знать не полагается.

Коммунистическая партия

Давно известный факт, что ВКП никогда не была просто политической партией и что власти советов в СССР никогда не было, находит подтверждение в смоленских документах на каждом шагу. Вся власть в Смоленске принадлежала Обкому партии, точнее — его бюро. Об этом свидетельствует самая организация Обкома. Из его семи отделов только два были заняты чисто партийными делами; остальные ведали хозяйственными делами, народным образованием, печатью, культурной деятельностью и пр. Между тремя секретарями Обкома функции были распределены так, что в своей совокупности они охватывали все отрасли государственного управления. Исключение составляли только местный военный комиссариат и ОГПУ-НКВД, которые подчинялись в первую очередь своим собственным высшим инстанциям. Исполком совета находился в прямом подчинении Обкома, которому начальники отделов Исполкома делали регулярные доклады. Связь между высшими партийными и советскими органами поддерживалась посредством личной унии: председатель Исполкома совета обычно был членом бюро парткома. Все назначения на ответственные советские должности «согласовывались» с парткомами. Благодаря этому парткомы могли крепко держать в руках советскую администрацию.

Внутри партии господствует жесткий режим. Ни свободы выборов, ни доверия к рядовым членам партии нет. Еще в 1936 году секретарь Обкома в циркуляре райкомам разносил их за то, что партийные собрания иногда проводят выборы, не согласовав их предварительно с Обкомом, «ставя Обком перед совершившимся фактом». На этой почве нередко происходили столкновения, так как районные секретари стремились отстоять свою независимость и создать вокруг себя клику из зависимых от них назначенцев, как это делали секретари более высоких партийных органов по отношению к своему начальству. Это не могло не способствовать интригам, кумовству и злоупотреблениям властью.

Неудивительно, что в этих условиях в партаппарате уже давно процветало то «бытовое разложение», о котором советские газеты так много пишут еще и теперь. Из большого числа таких фактов приведем лишь несколько примеров. ЦК партии издал секретный циркуляр, сохранившийся в смоленском архиве, в котором сказано: «Обнаруживается значительное количество случаев растраты коммунистами сумм тех государственных, кооперативных, профсоюзных и других организаций, во главе которых они стоят. Нередки случаи взяточничества. Господствует чрезвычайно легкое отношение к государственным интересам и кошельку». В «закрытом письме» райкомам Обком жалуется: «По линии потребительской кооперации нашей области в 1933 году было растрат и хищений на сумму в 4.793.000 руб., что составляет 35% к собранным паям; в первом квартале 1934 года — на 1.160.00 руб. или 50% к собранным паевым взносам». Другой документ сообщает, что председатель колхоза Романов «считает себя хозяином всех жен колхозников», и на этой почве происходят постоянные скандалы. Но самой большой бедой было уже тогда пьянство, которое свирепствовало среди партийцев, особенно чекистов. Например, при обследовании областной парторганизации один свидетель сказал: «Все в партийной организации пьют — сверху до низу. Губернские партийные конференции превращаются в одну большую пьянку». Факты этого рода повторяются без конца, жалобы на них не прекращаются, но напрасно. Это уже не просто пристрастие к алкоголю, а сплошное, массовое пьянство.

В этом «бытовом разложении» сказывалось духовное обнищание партии. Высшие партийные инстанции — ЦК и Оргбюро — ополчались на эти элементы разложения, но в то же

время ревностно охраняли привилегии партийцев, как господствующего класса, оберегая их даже от уголовной ответственности. Уже в 1921 г. приказом ВЧК было предписано комендантам тюрем «отделить буржуазию и духовенство от рабочих и крестьян. Для коммунистов и ответственных работников выделить более приличную камеру». В 1931 году Центральная Контрольная Комиссия партии приняла постановление, отмечающее, что местные Контрольные Комиссии механически исключают из партии лиц, осужденных судом: «В результате такого формально-механического подхода партия сплошь и рядом лишается ценных работников». В виду этого «в тех случаях, когда КК при ознакомлении с делом признает неправильным привлечение членов партии к следствию или суду или необоснованным приговор, а также нецелесообразным (!) применение судом мер репрессии, КК ставит перед соответствующими местными органами прокуратуры, суда и ОГПУ вопрос об исправлении допущенных ошибок». На практике это означало, что при хороших связях членам партии гарантирована безнаказанность, ибо вряд ли кто-нибудь мог решиться пойти против КК. С другой стороны, центр требовал беспощадных мер против нарушителей «коммунистической морали». Эта двойственность характерна для многих актов советской власти. Благодаря ей центр рядился в тогу добрых намерений, а ответственность за беззакония и насилия перелагал на местные власти, которые метались из стороны в сторону, не зная какой приказ выполнить и как бы самим не попасть в беду.

Несмотря на все привилегии, жизнь партийцев не всегда была праздником. У них в руках — громадная власть, но они несут и ответственность перед требовательным центром. Москва погоняла местные власти с необычайной и бесчеловечной энергией, ставя им, казалось бы, совершенно невыполнимые требования, не давая ни отдыха, ни срока — и часто добивалась своего. Есть в документах, например, такой случай. Из-за плохого урожая Смоленская область недовыполнила предписанной поставки зерна. Из Москвы пришел нагоняй: если норма не будет выполнена, не сданное количество зерна будет считаться оставленным в области для собственного потребления и снабжение из центра на это количество будет уменьшено. Обком всполошился и ответил центру, что в таком случае хлеба не хватит не то что до нового урожая, но даже до лета. Это не помогло. Секретарь Обкома бросился хлопотать в Москву. Напрасно. Тогда Обком выслал в об-

ласть уполномоченных, чтобы конфисковать «излишки», т. е. зерно, оставшееся у крестьян для собственного потребления и посева. Население голодало, но Москва получила то, чего хотела.

С другой стороны перерегистрации и чистки вечно трепали партию. Как происходили большие чистки 30-х годов, хорошо известно. Смоленские документы дают картину того времени с откровенностью, которую можно найти только во внутрипартийных документах.

После убийства Кирова в декабре 1934 года ЦК разослал секретный циркуляр о партийных «уклонах» с предложением тщательно «проработать» его во всех ячейках. ЦК распорядился, чтобы все поставленные при «проработке» вопросы были запротоколированы и сообщены в ЦК с указанием, кто ставит вопросы и «какие меры приняты». В ячейках началась усиленная «критика и самокритика», сводившаяся к сплошным доносам. Из протоколов ячеек видно, как напуганные коммунисты, в лихорадочном стремлении доказать свою преданность и бдительность, топили своих же друзей в выступлениях, больше похожих на спазмы, чем на человеческую речь. Люди, еще вчера ни в чем не подозреваемые, вдруг оказывались не только уклонистами, но заодно и ворами, мошенниками, шпионами, диверсантами и, конечно, пьяницами. Что было верно в этих доносах и что выдумано — судить невозможно. В попытке доказать свою сверхпреданность на собрании ячейки Тумановского НКВД в разгар чистки энкаведисты жаловались: «Мы всё еще бьем врага по хвосту, а не в сердце»; в другой ячейке жаловались, что чистят слишком лениво; в третьей говорили: «у нас еще много имеется лиц, у которых много прошлого». Читая смоленские документы удивляешься, до какого позорного морального уровня дошла «правящая партия» через два десятилетия своей власти.

Есть, однако, в донесениях того времени указания и на другой ход мысли, особенно среди учащейся молодежи. Например, в 9-й смоленской школе одна ученица говорила о казнях, последоваших за убийством Кирова: «Как это так, за одного убитого расстреливают многих, а комсомол ничего не делает». В этой же школе на портреты советских вождей были наклеены «фашистские знаки». Один студент смоленского техникума говорил друзьям: «Дух у нас сталинский, а режим гитлеровский». Другой студент сказал: «Ленин ходил в ботинках, а Сталин в сапогах, потому что теперь грязно». НКВД объясняет эти разговоры тем, что среди студентов есть «не-

проверенные» и что «условия жизни в студенческих общежитиях очень плохие». Причины, конечно, лежат гораздо глубже.

ВЧК-ОГПУ-НКВД

Советские органы безопасности всегда были верным орудием в руках высших партийных инстанций, не пытаясь соперничать с первенствующей ролью партии. Но на местах особые функции органов безопасности создавали некоторую двойственность. Они обязаны были делать доклады парткомам и назначения чекистов делались по рекомендации партии и после «согласования» с нею. Но в основном, в своей оперативной работе, они были независимы от местных парткомов и подлежали контролю по линии своей собственной чекистской иерархии.

Об отношениях между партийными и чекистскими органами на местах свидетельствуют протоколы заседаний партячеек, имеющиеся в смоленском архиве. Обком циркулярно предписал в 1926 г., что «доклады представителя ОГПУ в бюро уездного парткома не должны быть занесены в протоколы бюро». Партячейки ОГПУ, в отличие от ячеек в других учреждениях, редко занимались вопросами, хотя бы отдаленно связанными с делами своего учреждения. В ячейке при полномочном представителе ОГПУ в Западной области было указано в 1929 г.: «В ГПУ есть вопросы, которые не подлежат обсуждению, но есть много экономических и организационных вопросов», которыми партийная ячейка может заниматься. Поэтому, судя по этим документам, заседания ячеек в органах безопасности отличались чрезвычайной бесцветностью и монотонностью. Оживление начиналось только в острые периоды, когда «критика и самокритика» взрывала привычный ход жизни. Так, на заседании ячейки Дорогобужского НКВД в 1935 году один чекист сказал: «Казалось бы на первый взгляд, организация НКВД должна быть самая бдительная, между тем в аппарате нашей организации более чем где-нибудь разложившихся. Например, Кирьяков, Кирпиченков, Антоненков, Теплоухов — всё это разложившиеся пьяницы. Смирнов — вор, производил хищения из государственных складов. Комиссаров взяточник». На другом заседании той же ячейки было сказано: «Общая грамотность наших сотрудников низка, что значительно отражается на нашей работе». Характерно, что обвинения никогда не касаются работы, а идут по линии «бытового разложения» и недостаточной преданности партии. Так, на собраниях ячейки Тумановского НКВД один оратор заявил: «Партийная дисциплина у нас (в ячей-

ке **С. В.**) слаба, наличествует зазнайство, что было с тов. Максимовым, который за то, что ему было сказано явиться на партсобрание, счел это за хулиганство, также со стороны Меренкова было сорвано партсобрание, который не явился с порученным ему докладом».

Смоленский архив впервые дает некоторые документальные данные о работе судебной коллегии при ЧК и ОГПУ (впоследствии Особое Совещание, существовавшее до 1953 г.), выносившей административные приговоры. Имеющиеся протоколы таких «судебных» заседаний за февраль-апрель 1921 г. состоят из двух граф. В главе «слушали» дается краткое содержание обвинения, выработанного следователем; в графе «постановили» — приговор, повидимому тоже по предложению следователя. Нет указаний ни на доказательства вины, ни на законное основание приговоров: наличие вины и меры наказания определяются «революционным правосудием» судей-чекистов. В ряде случаев было постановлено, тоже без видимого основания, передать дело в суд. Таким образом ЧК сама определяла сферу своей судебной компетенции. Вот несколько примеров из работы судебной коллегии.

В феврале 1921 г. коллегия смоленской Губчека «слушала» дело Яблоновских, раньше приговоренных к трем годам концлагеря и «постановила»: «В виду того, что Яблоновские Алекс. Алекс. и Елена Мих. обвинялись по подозрению (!) в контрреволюции как граждане польской национальности, но по собранным документам они оказались гражданами Литовской Республики, постановили: Яблоновских из концлагеря освободить».

Из протоколов видно как в результате «классового подхода» за более мелкие преступления часто выносили более строгие приговоры, чем за крупные. Например: «В виду того, что спекуляция напильниками доказана (кем? как? **С. В.**) заключить гражданина Сохина в концентрационный лагерь на один год». Или: «Принимая во внимание, что факт анти-советской агитации гр. Москалевым доказан, а кроме того он, как бывший торговец, человек легкой наживы и эксплоататор чужого труда, является сознательным врагом рабочих и крестьян: заключить гр. Москалева в концентрационный лагерь на два года».

В частности, крестьяне тогда получали сравнительно легкие приговоры: «В виду того, что Добролюбов Пимен не признает декретов сов. власти и считает ее грабительской, о чем агитирует среди несознательных масс, постановили: изолировать его, заключив в концентрационный лагерь на шесть

месяцев». Или: «За анти-советскую агитацию и за попытку срыва съезда сельских советов Космачева Осипа заключить в концентрационный лагерь на шесть месяцев». Иногда коллегия ЧК занималась мелкими делами, в которых она, очевидно, видела политическую подоплеку, напр.: — «Ходатайство гр. Андрюкова Трофима удовлетворить и жеребца гнедой масти, отобранного у него в июне 1920 г., возвратить».

Иногда коллегия занималась, правда, без излишней строгости, и преступлениями чекистов. Нескольким чекистам был вынесен приговор: «за самовольное производство обыска и присвоение вещей заключить в концентрационный лагерь на один год», т. е. так же, как за продажу напильников. Такому же наказанию была подвергнута группа чекистов за избиение арестованных. Но по делу военкома Тарасова, в виду того, что он «за криминируемое (вместо инкриминируемое **С. В.**) ему обвинение в избиении наказан переводом из членов в кандидаты (партии **С. В.**) постановили: от вторичного наказания его освободить».

Так как «контр-революцию» можно было найти во всех сферах советской жизни, интересы органов безопасности были крайне разнообразны. В донесениях этих органов есть детальные указания на работу всех других, в частности, хозяйственных учреждений, сообщения об их недочетах, ошибках, злоупотреблениях. В периодических «сводках» ОГПУ-НКВД можно найти откровенные, дельно и грамотно написанные обзоры положения в области, включая настроения в деревне, жалобы рабочих, положение в промышленности, виды на урожай, работу религиозных сект и т. п. Тогда, как и теперь, функции органов безопасности были так же всеобъемлющи, как функции опирающегося на них тоталитарного государства.

Коллективизация

Крестьянский погром, произведенный в первый период коллективизации, тоже получил отражение в смоленских документах: значительное число их говорит о крестьянских делах. Характерно при этом, что несмотря на несомненные усилия властей придать коллективизации добровольный характер, в этих внутренних, не подлежавших опубликованию документах очень мало конкретных данных о добровольности коллективизации. Наоборот, о хорошо известных методах, посредством которых, коллективизация была проведена, есть обильные материалы. Приведем лишь несколько примеров.

Сводка ОГПУ о политнастроениях в деревне на 28 февраля 1929 г. говорит о «перегибах»: «В ряде рапортов Ржевского, Вяземского и Сухинического округов отдельные рабочие бригады и работники низового партийно-советского аппарата подводили под раскулачивание середняков, изымали у кулаков разные мелкие вещи, вплоть до горшков и ухватов, снимали с плеч теплое белье, срывали у детей с голов шапки и забирали их; производили дележку между собой изъятого имущества, забирали яйца, мед и здесь же на месте съедали, пьянствовали». С крестьян срывали даже очки, «конфисковывали» горячую кашу и либо съедали ее тут же, либо вымазывали ею иконы.

Официально кампания была направлена против кулаков; фактически жертвами ее стали все слои деревни, которых при нужде подводили под категорию «идеологических кулаков». При высылке «кулаков» господствовал полный произвол: грабили их имущество и разбивали их семьи. ОГПУ доносило: «семьи высылаемых разбиваются... матери (оказываются) в одном вагоне, отцы и дети в другом. Матери впадают в истерику, рвут на себе волосы». Наблюдая такую высылку одна комсомолка громко сказала: «Мы уже не люди, а звери».

Эти факты давно известны. Менее точно известны многочисленные попытки сопротивления со стороны крестьян, сведения о чем мы находим в ряде смоленских документов. В делах ОГПУ нередко упоминаются «террористические акты» против партийных и советских уполномоченных, избиение председателей колхозов и селькоров, убийство партсекретарей, поджоги сельсоветов и т. п. Членов партии, работавших в деревенских учреждениях, начальство предупреждало «не стоять у окон», чтобы не попасть под пулю. В течение одного лишь октября 1929 г. в области было 10 покушений на председателей, 8 — на секретарей сельсоветов и 21 — на «активистов».

Иногда «кулаки» находили защиту у судей, а некоторые члены партии, несмотря на риск, выдавали им положительные удостоверения. Многие бедняки и середняки отказывались голосовать за высылку кулаков, а «активисты» иногда затягивали высылку, чтобы дать ее жертвам время спастись. Среди смоленских документов есть целая папка неопубликованных писем в редакцию местной газеты «Наша Деревня», в которых крестьяне протестовали против того, что происходило в деревне.

Но с течением времени террор начал оказывать свое дей-

ствие. Безнадежность сопротивления подтачивала волю крестьян и оппозиция их слабела. Атмосфера паники и безнадежности сгущалась. Секретный доклад ОГПУ приводит следующее, полученное им, показание: «Люди дошли до границы полной пассивности; что бы с ними ни делали, им уже все равно; раньше арестованного вели два милиционера, теперь один милиционер может вести целую группу, а они спокойно идут и никто не бежит». Успех коллективизации теперь был обеспечен: на 1 окт. 1928 г. колхозы в Западной области составляли 0.8% всех хозяйств; через год, на 1-е окт. 1929 г. эта цифра выросла только до 2.5%, а еще через полгода, 1-го марта 1930 г., колхозы составляли уже 38.8% всех бывших батрацких, бедняцких и середняцких хозяйств. Что касается председателей колхозов, их фактически назначали райкомы партии и после этого их автоматически «выбирали» на колхозных собраниях.

В Москве обо всем этом, конечно, хорошо знали. Было ясно, что продолжение гражданской войны с крестьянством приведет не только к политической неустойчивости, но и к большому голоду, что, как известно, и случилось. Поэтому в марте 1930 г. Сталин опубликовал статью «Головокружение от успехов», в которой он осуждал «перегибы» при коллективизации. За этой статьей последовало несколько секретных циркуляров ЦК, решительно осуждавших практику коллективизации, сохранившихся в смоленском архиве. Самым значительным из этих документов и одним из самых важных в смоленском архиве была «Инструкция всем партийно-советским работникам и всем органам ОГПУ и прокуратуры». Инструкция была издана 8-го мая 1933 г. и была подписана генсеком Сталиным и председателем Совнаркома Молотовым. В ней говорится: «Подводя итоги, мы можем сказать, что позиции единоличного хозяйства уже преодолены во всех основных районах СССР, колхозы стали повсеместной господствующей формой хозяйства в деревне, колхозное движение прочно, полная победа колхозного строя в деревне обеспечена».

Инструкция описывает, как партия работала в деревне, несмотря на этот успех и после четырех лет коллективизации: «Из ряда областей все еще продолжают поступать требования о массовом выселении из деревни и применении острых форм репрессий. В ЦК и СНК имеются заявки на немедленное выселение из областей и краев около ста тысяч семей. В ЦК и СНК имеются сведения, из которых видно, что массовые беспорядочные аресты в деревне все еще продолжают суще-

ствовать в практике наших работников. Арестовывают председатели колхозов и члены правлений колхозов. Арестовывают председатели сельсоветов и секретари ячеек. Арестовывают районные и краевые уполномоченные. Арестовывают все, кому только не лень и кто, собственно говоря, не имеет никакого права арестовывать... Органы ОГПУ и особенно милиция теряют чувство меры и зачастую производят аресты, действуя по правилу: сначала арестовать, а потом разобраться».

Почему это плохо? Потому что «метод массовых и беспорядочных арестов, если только можно считать его методом, в условиях новой обстановки дает лишь минусы, роняющие авторитет советской власти». Другими словами, раньше этот метод был хорош, а после достигнутого успеха он стал не нужен, даже вреден.

Значит ли это, что насилие в деревне должно было быть прекращено? Отнюдь нет. Здесь еще раз сказывается двойственность советской политики, отмеченная выше. Можно ли себе представить, что местные власти во всем СССР были такими рьяными сторонниками коллективизации, что они продолжали террор вопреки статье Сталина и приказаниям ЦК? Конечно, нет. Они не могли действовать в таком важном деле без предписаний из Москвы. И действительно, та же Инструкция, с одной стороны осуждая террор, с другой стороны приказывает: «Было бы неправильно думать, что наличие новой обстановки и необходимость перехода к новым методам работы означают ликвидацию или хотя бы ослабление классовой борьбы в деревне. Наоборот, классовая борьба в деревне будет неизбежно обостряться... Наша борьба должна быть всемерно усилена, наша бдительность всемерно заострена... Речь идет, стало быть, о том чтобы улучшить старые способы борьбы, рационализировать их и сделать наши удары более меткими и организованными».

Для местных властей это должно было быть ясно: речь идет не о том, чтобы прекратить террор, а о том, чтобы его рационализировать, т. е. несколько смягчить его так, чтобы не слишком раздражать массу крестьянства. С этой целью Инструкция предписала ряд мер, среди них: «Выселение допускать только в индивидуальном и частичном порядке и в отношении только тех хозяйств, главы которых ведут активную борьбу против колхозов... Аресты могут быть (производимы) только органами прокуратуры, ОГПУ и начальниками милиции... Приступить к разгрузке мест заключения и довести в двухмесячный срок общее число лишенных свободы с 800 ты-

сяч фактически заключенных до 400 тысяч». Последняя мера не касается «лагерей и колоний», куда можно было переводить людей из других мест заключения, так что число «фактически заключенных» могло даже расти.

Почему же инструкция о некотором ослаблении террора была издана в «секретном» порядке? Причина этого ясна. Инструкция содержит официальное опровержение легенды о добровольной коллективизации; она признает, что коллективизация — это террор и что без террора коллективизации быть не может; кроме того, объявление о смягчении насилия могло вызвать новый взрыв сопротивления крестьян.

Цензура

Есть в советской администрации одна отрасль, о которой смоленский архив содержит много интересных и новых материалов, до сих пор не потерявших своей злободневности. Эта отрасль — цензура печатных произведений, лекций и радиопередач.

Высшим органом цензуры был и остается отдел печати секретариата ЦК партии. Непосредственное управление цензурой находилось в руках Главлита (Главное управление по делам литературы и издательств при Наркомпросе) и его губернских или областных отделов. (В настоящее время министерство культуры СССР управляет центральными издательствами и типографиями, книгоиздательством и книжной торговлей). В таком деле участвовала, конечно, и ЧК. Уже в марте 1921 г., на основании телеграммы ВЧК, было приказано все материалы советского телеграфного агентства РОСТА, публикуемые в местной газете, «в копиях ежедневно поставлять в Смолгубчека Уполномоченному по информации и осведомлению».

Цензура производилась на основании «перечня» запрещенных тем, часто пересматриваемого и дополняемого. Сообщение сведений, имеющих хотя бы отдаленное отношение к военным делам, строго запрещалось. Циркуляр относительно ОСОавиахима, теперь именуемого ДОСААФ, якобы добровольной и гражданской организации, предписывал, что «всякие сведения об ОСОавиахиме, как вполне вооруженной и тщательно обученной организации воспрещаются», что следует подчеркивать «добровольный характер» этой организации и вычеркивать всякие намеки на ее связь с Красной армией.

В области экономической запрещено было сообщение не только абсолютных, но и относительных цифр об урожае

(кроме опубликованных в «Правде» или «Известиях»), о постройке железных дорог в некоторых местностях, об эпидемиях среди скота, о потерях при экспорте, об изъятии населением денег из сберегательных касс и т. п.

Запрещено было сообщение подробных данных о преступности, судебных процессах и, конечно, операциях ОГПУ. Особое внимание должно было быть направлено на изъятие «искаженных» портретов Ленина и Сталина. Цензоры должны были осторожно следить за тем, чтобы не было слишком много сообщено о «кулацком терроре», поджогах, покушениях на советских служащих, чтобы не было создано впечатление о силе анти-советских элементов и слабости органов в борьбе с ними. Тезисы или конспекты всех лекций, за исключением лекций, организованных парткомами или исполкомами, должны были быть одобрены цензурой. Всякое отступление от текста радиопередач, утвержденного цензурой, грозило административными или судебными последствиями.

Политическая функция руководства периодической печатью принадлежала отделу печати ЦК, который давал точные указания, что писать и как освещать опубликованные факты. Так, после убийства Кирова отдел печати указал, что сообщить об убийстве и какими словами характеризовать убитого. Запретительная функция, обязанность, по выражению Щедрина, «тащить и не пущать» лежала на цензорах. Нельзя было, однако, превратить газеты в монотонные и серые листки, похожие на официальные бюллетени. Поэтому цензоры все время работали между двух огней: перестарается — нехорошо, недосмотрит — опасно. Они, по выражению одного документа, старались «перестраховаться», т. е. предпочитали согрешить в сторону запрещения, а не разрешения.

Работа цензуры была сильно затруднена недостатком интеллигентных и надежных кадров. В 1934 году смоленский Обком требовал усиления цензуры на местах и для этого приказал: «В тех случаях, когда работа военного цензора выполняется лицом, имеющим больше, чем одну службу, считать эту работу основным партийным поручением с освобождением от всех других партийных поручений... Обком предупреждает, что заместители секретарей райкомов будут нести личную ответственность перед партией и законом за нарушение государственных секретов в печати». Знаменательно, что педагоги, вероятно, благодаря их большей интеллигентности, оказались плохими цензорами. «Опыт показал, что они самые плохие элементы для такой работы. У них не хватает

дисциплины, они просто ставят печать цензора на документ и пропускают его». Многие из цензоров были заведующими отделов парткомов, служащими исполкомов и офицерами армии.

Большие трудности возникали у цензоров и в их отношениях с редакторами и партсекретарями. Многие редактора стремились отстоять свою независимость и естественно не любили цензоров, которые вычеркивали, дополняли, исправляли, калечили их материалы. Между ними нередко возникали серьезные конфликты. В Муромском районе одно время работал не в меру ретивый цензор. Редактор местной газеты распорядился не впускать его в редакцию. Когда редактор отказался подчиниться одному распоряжению цензора, последний обратился в «специальные органы», и нашел там «большое сотрудничество», после чего редактор смирился. Что касается партсекретарей, то они часто требовали, чтобы цензор не пропускал материала, порочащего партаппарат.

Иногда у цензоров возникали недоразумения даже с типографиями. Среди смоленских документов имеется жалоба одного московского районного цензора на саботаж печатников. В газете был ряд «искажений»: об одном коммунисте было напечатано, что он сын «урядника» вместо «ударника»; о другом, что он «предатель» вместо «председатель»; об одном лидере оппозиции было сказано, что он «славный» вместо «главный» лидер. Было ли это действительно саботажем печатников или это были простые опечатки — неизвестно.

Острое положение создалось при конфискации книг в библиотеках во время сталинских чисток. Конфискация шла наростающими волнами. В июле 1934 года секретный приказ Главлита со списком 46-ти авторов гласил: «все издания всех работ, написанных поименованными авторами, подлежат немедленной конфискации». В марте и июне 1935 г. были присланы новые списки запрещенных авторов. Их работы должны были быть запечатаны и переданы в НКВД. В длинный список запрещенных книг попали технические, агрономические и другие работы, плохой перевод Сталина на китайский язык, учебники, в которых был упомянут Троцкий, даже ноты и географические карты.

Центру легко было приказывать, но выполнить эти приказы было гораздо труднее. В феврале 1935 г. директор смоленской библиотеки имени Ленина срочно запросил Отдел народного образования, что ответить на многочисленные запросы местных библиотек, например следующего рода: что де-

лать с речами Каменева, Зиновьева, Бухарина и др. на партийных съездах, съездах советов, в Коминтерне? Что делать со сборниками о марксизме со статьями Ленина, Адоратского и др.? Как поступать с сочинениями Ленина, изданными под редакцией Каменева? Что делать с воспоминаниями о Ленине Каменева и Бухарина? Как быть с номером органа Коминтерна, в котором есть статья Троцкого?

При проведении чисток в библиотеках уполномоченные по чистке сообразили, что на этом деле можно заработать. Книги начали исчезать из библиотек. Что это не было редким явлением видно из того, что в дело вынужден был вмешаться Главлит РСФСР, который указал в «строго секретном» циркуляре: «При изъятии троцкистско-зиновьевской литературы из библиотек одновременно происходит никем не контролируемая и не направляемая «чистка», в результате которой происходит разграбление и повреждение книжных резервов».

Среди мер, предписанных в этом циркуляре, имеется «сотрудничество с районными уполномоченными НКВД». Из других документов видно, что от этого сотрудничества положение не улучшилось.

***

Смоленские документы содержат данные и о многих других отраслях советской жизни. По этим документам можно проследить на примере одной области как развивался громадный исторический процесс, происходивший в СССР в течение первых двух десятилетий его существования: хаос, экономическая разруха, голод, бандитизм, забастовки рабочих, волнения крестьян в первый период; заметное улучшение и успокоение в период НЭПа; новая реакция во время коллективизации, индустриализации и чисток; укрепление государства и власти, сумевшей преодолеть первоначальные, казалось бы непреодолимые, трудности; перерождение партии и образование нового правящего слоя; и человеческие жертвы, которыми население должно было платить за успехи власти.

Как раз об этой человеческой стороне большого исторического процесса смоленские документы дают важную информацию. По мнению проф. Файнсода, в них «отчетливо чувствуется» стремление населения к лучшей жизни, к свободной инициативе, к большей политической свободе, хотя, может быть, не в западном смысле этого слова. «Как ни подавлены были эти стремления в течение сталинской эры,

смоленские документы обнаруживают их брожение за сталинским фасадом вынужденного единомыслия». Эти стремления никогда не умирали. «Поэтому, — пишет проф. Файнсод, — может быть главное значение смоленских документов состоит не в том, что они раскрыли в прошлом, а в указаниях на те будущие преобразования в советском обществе, которые они предвещают».

С. Волин

БАКУНИН, НЕЧАЕВ И ЛЕНИН

I

Известно, что Достоевский долго не переиздавался в Советской России. Его романы «Бесы», «Братья Карамазовы», как и все публицистические произведения, считались контрреволюционными и были изъяты из библиотек. После смерти Сталина Достоевского отчасти реабилитировали, и Госиздат приступил к изданию его художественных произведений. Публицистические статьи Достоевского до сих пор остаются под запретом. Считавшийся наиболее контрреволюционным роман «Бесы» вышел в прошлом году, без сокращений, но с обширными редакционными примечаниями. В примечаниях сказано:

«Сюжет 'Бесов' тесно связан с конкретным фактом — с происшедшим 21-го ноября 1869 года под Москвой убийством слушателя Петровской земледельческой академии Иванова, члена тайного общества 'Народная расправа', С. Г. Нечаевым, при участии членов ее — П. Успенского, А. Кузнецова, И. Прыжова, Н. Николаева».

Далее о Нечаеве говорится:

«Нечаев — вольнослушатель Петербургского университета, один из активных деятелей студенческого движения в Петербурге. Весной 1869 года, бежав заграницу, он сблизился в Женеве с Михаилом Бакуниным и усвоил его анархистскую заговорщическую тактику. Вернувшись в Россию, Нечаев в сентябре 1869 года явился в Москву с планами создания подпольной противоправительственной организации, имея при себе подписанный Бакуниным мандат «Русского отдела всемирного революционного союза». Нечаеву удалось организовать ряд подпольных кружков («пятерок»), которые и составили так называемую «Народную расправу».

О знаменитом «Катехизисе революционера» в «Примечаниях» говорится, что его автором был Бакунин. «В своем 'Катехизисе' — пишут авторы «Примечаний» — Бакунин требовал, чтобы революционер 'задавил' в себе 'единой холодной страстью революционного дела' даже чувство чести. Провозглашая необходимость террора, 'Катехизис' рекомен-

довал временно даровать 'некоторым представителям господствующей верхушки жизнь' — 'чтобы они рядом зверских поступков довели народ до неотвратимого бунта'. Других обладателей власти и богатства предлагалось 'опутать', сбить с толку и, овладев по возможности их грязными тайнами, сделать их своими рабами. Те же приемы шантажа и провокации Бакунин навязывал своим последователям и в отношении либералов, 'государственных честолюбцев', женщин из господствующих классов. Революционерам предлагалось 'соединиться с лихим разбойничьим миром'. В одном из пунктов 'Катехизиса' говорилось: 'Наше дело — страшное, полное, повсеместное и беспощадное разрушение'».

Далее о Нечаеве и его деятельности в «Примечаниях» сказано следующее:

«Нечаев действовал авантюристическими методами. Он прибегал к обману, рассказывая членам создаваемых кружков о якобы уже имеющейся в России широко разветвленной подпольной сети; практиковал угрозы и запугивания, прикрывая свои действия авторитетом таинственного (не существовавшего в действительности) центра противоправительственной организации... Нечаев исходил из того, что цель оправдывает средства, и поэтому можно не считаться с какими бы то ни было моральными нормами: можно и даже должно использовать уголовные элементы, применять метод провокации и т. д. Иванов отказал Нечаеву в повиновении и заявил о своем выходе, о намерении выйти из подпольного общества, что и послужило причиной убийства Иванова. Действуя методами демагогии, обмана и запугивания, Нечаев заставил группу членов «Народной расправы» принять участие в убийстве Иванова, ссылаясь на то, что Иванов якобы может выдать тайную организацию властям».

В «Примечаниях» также указано, что Маркс и Энгельс и Международное товарищество рабочих, то есть Первый Социалистический Интернационал, во главе которого стоял Маркс, в 1873 году, «сурово и беспощадно осудили 'нечаевщину'». Авторы «Примечаний» пишут:

«Эту накипь революционного движения Достоевский в своем романе стремится представить чем-то характерным для освободительной борьбы против царизма... Провокационные авантюристические приемы Нечаева представлены Достоевским с его антиреволюционными убеждениями, как что-то типическое для революционной среды... Применение методов, подобных нечаевским, противоречило самой природе освободитель-

ного движения. Поэтому тактика Нечаева вызвала решительный отпор со стороны ряда участников революционного движения уже во время организации им 'Народной расправы'».

Так пишут о Нечаеве и «нечаевщине» авторы «Примечаний» к роману «Бесы». Совершенно верно, что Маркс, Энгельс и Интернационал «сурово и беспощадно осудили 'нечаевщину'»; больше того, тактика Нечаева вызвала решительный отпор и со стороны ряда участников революционного движения уже во время организации им «Народной расправы»; верно, и то что «применение методов, подобных нечаевским, противоречило самой природе освободительного движения», но неверно, что, якобы, Бакунин «развратил» Нечаева.

Такой знаток истории русского революционного движения, как Л. Г. Дейч, в 1924 году в статье «Был ли Нечаев гениален?» писал:

«Из несомненного факта, что Бакунин был автором 'Катехизиса революционера', мне кажется, не следует делать вывод, будто на Нечаева и принятую им тактику главным образом оказал влияние апостол всеобщего разрушения (Бакунин): Нечаев совершенно самостоятельно, ввиду собственного склада ума и характера, пришел к убеждению о необходимости действовать путем лжи, мистификации, насилия. Да и ни в каких других отношениях на него решительно никто не мог оказать влияния».[1]

Из письма Бакунина к его другу Таландье видно, что Бакунин вовсе не разделял всей тактики Нечаева, а, наоборот, ее осуждал. 24-го июля 1870 года Бакунин писал:

«Нечаев один из деятельнейших и энергичнейших людей, каких я когда-либо встречал. Когда надо служить тому, что он называет делом, он не колеблется и не останавливается ни перед чем и показывается так же беспощадным к себе, как и ко всем другим. Вот главное качество, которое привлекло меня и долго побуждало меня искать его сообщества... Это фанатик, преданный, но в то же время фанатик очень опасный и сообщничество с которым может быть только гибелью для всех... способ действия его отвратительный. Живо пораженный катастрофой, которая разрушила тайную организацию в России, он пришел мало по малу к убеждению, что для того, чтобы создать общество серьезное и неразрушимое, надо взять за основу политику Макиавелли и вполне усвоить

---

[1] «Группа Освобождение Труда». Сборник № 2, Москва, 1924 г., стр. 76.

систему иезуитов: — для тела одно насилие, для души — ложь.

Истина, взаимное доверие, солидарность серьезная и строгая — существуют только между десятком лиц, которые образуют внутреннее святилище общества. Все остальное должно служить слепым орудием и как бы материей для пользования в руках этого десятка людей, действительно солидарных. Дозволительно и даже простительно их обманывать, компрометировать, обкрадывать и, по нужде, даже губить их; это мясо для заговоров... во имя дела он должен завладеть вашей личностью, без вашего ведома. Для этого он будет вас шпионить и постарается овладеть всеми вашими секретами и для этого, в вашем отсутствии, оставшись один в вашей комнате, он откроет все ваши ящики, прочитает всю вашу корреспонденцию, и когда какое письмо покажется ему интересным, т. е. компрометирующим с какой бы то ни было точки, для вас или одного из ваших друзей, он его украдет и спрячет старательно, как документ против вас или вашего друга. Он это делал с О., со мною, с Татою[2] и с другими друзьями, — и когда, собравшись вместе, мы его уличили, он осмелился сказать нам: 'Ну да! это наша система, — мы считаем как бы врагами и мы ставим себе в обязанность обманывать, компрометировать всех, кто не идет с нами вполне', — т. е. всех тех, кто не убежден в прелести этой системы и не обещали прилагать ее, как и сами эти господа. Если вы его представите вашему приятелю, первою его заботою станет посеять между вами несогласие, дрязги, интриги, — словом, поссорить вас. Если ваш приятель имеет жену, дочь, — он постарается ее соблазнить, сделать ей дитя, чтобы вырвать ее из пределов официальной морали и чтобы бросить ее в вынужденный революционный протест против общества... Увидев, что маска с него сброшена, этот бедный Нечаев был столько наивен, был настолько дитя, несмотря на свою систематическую испорченность, что считал возможным обратить меня; он дошел даже до того, что упрашивал меня изложить эту теорию в русском журнале, который он предлагал мне основать. Он обманул доверенность всех нас, он покрал наши письма, он страшно скомпрометировал нас, — словом, вел себя, как плут. Единственное ему извинение это его фанатизм! Он страшный честолюбец, сам того не зная, потому что он кончил тем, что отождествовал свое революционное дело с своею собственной

---

[2] Т. е. с Н. П. Огаревым и дочерью А. И. Герцена Натальей.

персоной; — но это не эгоист в банальном смысле слова, потому что он страшно рискует и ведет мученическую жизнь лишений и неслыханного труда. Это фанатик, а фанатизм его увлекает быть совершенным иезуитом. Большая часть его лжей шиты белыми нитками. Он играет в иезуитизм, как другие играют в революцию. Несмотря на эту относительную наивность, он очень опасен, так он совершает ежедневно поступки нарушения доверия, измены, от которых тем труднее уберечься, что едва можно подозревать их возможность. Вместе с этим Нечаев — сила, потому что это огромная энергия. ...Последний замысел его был ни больше, ни меньше, как образовать банду воров и разбойников в Швейцарии, натурально с целью составить революционный капитал...

...Разве они не осмелились признаться мне откровенно, в присутствии свидетеля, что доносить тайной полиции на члена, не преданного обществу, или преданного наполовину, — один из способов, употребление которого они признают законным и полезным иногда? Овладевать секретами лица, семьи, чтоб держать ее в своих руках, — это их главное средство...»[3]

Бакунин, правда, тоже не прочь был воспользоваться мистификациями, и, несомненно, что «Катехизис» написан Бакуниным. «Катехизис» содержит много хорошо знакомых бакунинских мыслей и революционных фраз, но также несомненно, что многие «правила» «Катехизиса», вошедшие в понятие «нечаевщины», были продиктованы Бакунину Нечаевым, как это видно из вышеприведенного письма Бакунина к Таландье. Это подтверждает и Ю. Стеклов в своей четырехтомной биографии Бакунина. «Мысль об издании 'революционного катехизиса', устанавливающего правила для членов организации, — пишет Стеклов, — возникла в **России до встречи Нечаева с Бакуниным.** Встреча Нечаева с Бакуниным состоялась в конце марта 1869 г. в Женеве... Нечаев увлек Бакунина своим темпераментом, непреклонностью своей воли и преданностью революционному делу... Нечаев одно время овладел волей рыхлого и, несмотря на свою революционную фразеологию, благодушного Бакунина... Нечаев явился к Бакунину с основательными задатками авантюриста и мистификатора».[4]

---

[3] Письма М. А. Бакунина, под ред. и с объяснительными примечаниями М. П. Драгоманова. Женева, 1896 г., стр. 291-294.

[4] Ю. Стеклов. М. Бакунин. Его жизнь и деятельность. Том третий. Москва 1927 г., стр. 430, 436, 474.

«У самого Нечаева, — пишет далее Стеклов, мы определенных анархических заявлений нигде не встречаем. Возможно, впрочем, что после своего знакомства с Бакуниным Нечаев стал временно поддаваться анархическому учению, но если это и было так, то во всяком случае, это увлечение анархическими воззрениями не было у него глубоким и оказалось скоропреходящим».[5]

Согласно Стеклову, Нечаев, по существу, был бланкистом. Бланкистом был и Ленин. Еще в 1906 г. Г. В. Плеханов писал: «Ленин с самого начала был скорее бланкистом, чем марксистом. Свою бланкистскую контрабанду он проносил под флагом самой строгой марксистской ортодоксии».[6] Ленин не только ценил Нечаева и считал его «титаном революции», но многое воспринял от Нечаева в вопросах тактики и методов борьбы с противниками. Он действовал по рецепту и примеру Нечаева, как мы увидим ниже.

II

В 1926 г. в Москве, в издательстве «Московский рабочий» вышла книга Александра Гамбарова: «В спорах о Нечаеве». В ней большевистский историк пишет: «О Нечаеве слишком много писали. Но все, что писалось о нем, это сплошной поток мемуарной хулы, а нередко и злобы его классово-политических противников, сознательно искажавших подлинный облик исторического Нечаева (стр. 3). Не поняли Нечаева и современные ему революционеры, в то время народнического толка, не говоря об их позднейших 'эпигонах'. В силу своей мелкобуржуазной сущности народники не могли принять Нечаева. В борьбе с Нечаевым или в борьбе с 'нечаевщиной' народническая интеллигенция не останавливалась ни перед какими средствами. Возмущаясь нечаевским лозунгом 'во имя революции и борьбы с самодержавием цель оправдывает средства', они сами нередко прибегали к далеко не безупречным средствам — к злобной хуле и явному искажению исторической сущности нечаевского движения».

Никаких доказательств этому большевистский историк не приводит, но интересно его заявление, что Нечаев был одним из самых крупных предшественников большевизма и Октябрьского переворота 1917-1918 гг.

---

[5] Там же, стр. 426.

[6] Г. Плеханов. Заметки публициста. «Современная жизнь». (Москва), декабрь 1906 г.

«Между современным движением большевизма и тем, что дано было в нечаевском движении, гораздо более точек соприкосновения, — пишет Гамбаров, — чем между другими этапами революционной борьбы» (стр. 107).

«К торжеству социальной революции Нечаев шел верными средствами, и то, что в свое время не удалось ему, то удалось через много лет большевикам, сумевшим **воплотить в жизнь не одно тактическое положение, впервые выдвинутое Нечаевым».** (стр. 123, курсив мой).

Далее Гамбаров пишет: «В лице Нечаева история имела первого и при том крупного партийного организатора». (Стр. 116).

По мнению Гамбарова, Нечаев был не только большевиком, но и **«ленинцем».** Установив, в чем заключается нечаевский «ленинизм», Гамбаров пишет: «Революция одинаково освящает все средства в политической борьбе. За эту основную максиму на Нечаева набрасывались все его политические враги и противники от Каткова до народников и целой плеяды буржуазных историков, считая 'отвратительным' присущий Нечаеву 'макиавеллизм'. Предвидя это, Нечаев неоднократно заявлял о своем 'презрении к общественному мнению' и даже гордился подобными выпадами против него. Отсюда положение, служившее Нечаеву девизом: **'Кто не за нас, тот против нас'** (курсив подлинника). А разве, — спрашивает Гамбаров, — не этим девизом руководились массы в октябре 1917 года, когда они шли против твердыни капитала, против вчерашних лжедрузей революции?» (Стр. 121).

Не массы, конечно, а большевистские вожди.

В результате своих сопоставлений Гамбаров нашел у Нечаева все основные положения, которыми характеризуется большевистский коммунизм. В своей известной брошюре «Что делать», вышедшей в 1902 г., Ленин писал: «Дайте нам организацию революционеров и мы перевернем Россию». Гамбаров утверждает, что это «нечаевская максима».

По этому поводу противники Гамбарова (Стеклов и др.) указывают, что Ленин в своей брошюре нигде не упоминает Нечаева. Он неоднократно высказывает пожелание, чтобы у русской социал-демократии явились свои **Желябовы,** но нигде не говорит, что желает ей своих социал-демократических **Нечаевых.** Следовательно, не Нечаев, а народовольцы — идеал «профессиональных революционеров» в брошюре Ленина. Но, как известно, Ленин часто публично говорил и пи-

сал одно, а думал другое. Ленин прекрасно знал, как дискредитирован был Нечаев, а главное «нечаевщина» в глазах русской революционной общественности, и он не хотел открыто брать на себя ответственность за его взгляды и за его тактические приемы, вообще за то, что связано с «нечаевщиной». Но в кругу его ближайших соратников он восторгался Нечаевым, называя его «титаном революции» и проповедывал чисто нечаевские идеи.

Владимир Бонч-Бруевич, один из ближайших соратников Ленина со дня основания большевистской партии, заведывавший в 1904-1905 тг. архивом и библиотекой большевистского ЦК в Женеве, в 1917 году активный участник октябрьского переворота, а потом управляющий делами Совнаркома, в 1934 г. писал в московском журнале «Тридцать дней» следующее:

«До сих пор не изучен нами Нечаев, над листовками которого Владимир Ильич часто задумывался, и когда в то время слова 'нечаевщина' и 'нечаевцы' даже среди эмиграции были почти бранными словами, когда этот термин хотели навязать тем, кто стремился к пропаганде захвата власти пролетариатом, к вооруженному восстанию и к непременному стремлению к диктатуре пролетариата, когда Нечаева называли, как будто бы это особенно плохо, 'русским бланкистом', — Владимир Ильич нередко заявлял о том, что какой ловкий трюк проделали реакционеры с Нечаевым с легкой руки Достоевского и его омерзительного, но гениального романа «Бесы», когда даже революционная среда стала относиться отрицательно к Нечаеву, совершенно забывая, что этот титан революции обладал такой силой воли, таким энтузиазмом, что и в Петропавловской крепости, сидя в невероятных условиях, сумел повлиять даже на окружающих его солдат таким образом, что они всецело ему подчинялись. Владимир Ильич говорил:

'Совершенно забывают, что Нечаев обладал особым талантом организатора, умением всюду устанавливать особые навыки конспиративной работы, умел свои мысли облачать в такие потрясающие формулировки, которые оставались памятны на всю жизнь. Достаточно вспомнить его ответ в одной листовке, когда на вопрос 'кого же надо уничтожить из царствующего дома?' Нечаев дает точный ответ: 'всю большую ектению'. Ведь это сформулировано так просто и ясно, что понятно для каждого человека, жившего в то время в России, когда православие господствовало, когда огромное большинство так или

иначе, по тем или другим причинам, бывали в церквах и все знали, что на великой, на большой ектении вспоминается весь царствующий дом Романовых. Кого же уничтожить из них? — спросит себя самый простой читатель. Да весь дом Романовых! — должен он был дать себе ответ. Ведь это просто до гениальности. Нечаев должен быть весь издан. Необходимо изучить, дознаться, что он писал, где он писал, расшифровать все его псевдонимы, собрать воедино и все напечатать'. Так неоднократно говорил Владимир Ильич».[7]

III

На публичных собраниях и в партийной печати Ленин выступал, как правоверный социал-демократ и противник террора и всяких «вспышко-пускательств», а в конспиративном письме из Женевы к членам Боевого комитета большевиков в Петербурге от 3 (16) октября 1905 г. он писал:

«Я с ужасом, ей-Богу, с ужасом вижу, что о бомбах говорят больше полгода и ни одной не сделали!.. Идите к молодежи. Основывайте **тотчас** боевые дружины везде и повсюду и у студентов и у рабочих особенно и т. д. Пусть тотчас же вооружаются они сами, кто как может, кто револьвером, кто ножем, кто тряпкой с керосином для поджога и т. д. ...Не требуйте никаких формальностей, наплюйте, Христа ради, на все схемы, пошлите вы, Бога ради, все 'функции, права́ и привилегии' ко всем чертям... Отряды должны **тотчас** же начать военное обучение на немедленных операциях, тотчас же. Одни сейчас же предпримут убийство шпика, взрыв полицейского участка, другие — нападение на банк для конфискации средств для восстания... Пусть каждый отряд сам учится хотя бы на избиении городовых: десятки жертв окупятся с лихвой тем, что дадут сотни опытных борцов, которые **завтра поведут за собой сотни тысяч»**.[8]

В октябре девятьсот шестого года Ленин писал:

«Когда я вижу социал-демократов, горделиво и самодовольно заявляющих: мы не анархисты, не воры, не грабители, мы выше этого, мы отвергаем партизанскую войну, тогда я спрашиваю себя: понимают ли эти люди, что они говорят? ...Когда я вижу у теоретика или публициста горделивое самодовольное и нарцисско-восхищенное повторение заученных в ранней молодости фраз об анархизме, бланкизме, терро-

---

[7] Вл. Бонч-Бруевич. Ленин о художественной литературе. «Тридцать дней» (Москва), январь 1934 г., стр. 18.

[8] Сочинения Ленина. Изд. 1929 г. Том 8, стр. 326.

ризме, тогда мне становится обидно за унижение самой революционной в мире доктрины».[9]

В 1907 г. среди деятелей петербургского нелегального Совета безработных, в котором преобладали анархисты и большевики, возникла мысль бросить бомбу в заседание петербургской Городской Думы с расчетом, чтобы взорвать и перебить главных врагов общественных работ на глазах остальных гласных. У Владимира Войтинского, бывшего в то время видным большевиком и членом Исполнительного комитета Совета безработных, были большие сомнения насчет допустимости такой тактики, и он решил обратиться за разъяснением этих сомнений к Ленину. «Поехал к нему в Куокала, — пишет в своих воспоминаниях Войтинский, — и рассказал о настроениях среди безработных, о 'мстителях', о их намерении бросить бомбу в заседание Городской Думы. Ленин слушал чрезвычайно внимательно, вставляя время от времени: 'Вот как? Это крайне интересно!' Затем начал расспрашивать:

— Вы думаете, люди у них найдутся?

— Несомненно.

— Надежные?

— Вполне.

Тогда Ленин сказал раздумчиво:

— А может быть, это было бы недурно. Встряхнуло бы'...[10]

Любимой темой агитации в тесном товарищеском кругу была для Ленина — рассказывает Войтинский, — борьба с предрассудками, остатками 'либеральных благоглупостей', которые он подозревал у новичков. ...Это была неуклонная, чрезвычайно ловкая, талантливая проповедь революционного нигилизма», — пишет Войтинский. «Это смешно! — говорил Ленин. — Если на эту точку зрения становиться, то мы должны все бежать в полицию и заявить: мы, мол, такие-то, арестуйте нас, дайте нам пострадать за народное дело!.. Революция дело тяжелое. В беленьких перчатках, чистенькими ручками ее не сделаешь... Партия не пансион для благородных девиц. Нельзя к оценке партийных работников подходить с узенькой меркой мещанской морали. Иной мерзавец может быть для нас именно тем полезен, что он мерзавец».

---

[9] Сочинения Ленина. 2-ое издание. Том 10, стр. 86.

[10] Вл. Войтинский. Годы побед и поражений. Книга вторая. Берлин 1924 г., стр. 227.

Когда при Ленине подымался разговор о том, что такой-то большевик ведет себя недопустимым образом, — рассказывает Войтинский, — он иронически замечал: — «У нас хозяйство большое, а в большом хозяйстве всякая дрянь пригодится».

Проф. историк Николай Рожков, бывший в те годы одним из лидеров большевистской фракции, рассказывал, что однажды он обратил внимание Ленина на подвиги московского большевика Виктора (Таратуты), которого характеризовал, как прожженного негодяя. Ленин ему ответил со смехом: «Тем-то он и хорош, что ни перед чем не остановится. Вот вы, скажите прямо, могли бы за деньги пойти на содержание к богатой купчихе? Нет? И я не пошел бы, не мог бы себя пересилить, а Виктор пошел. Это человек незаменимый».

«Ленин, — пишет Войтинский, — был снисходителен не только к таким 'слабостям', как пьянство, разврат, но и к уголовщине. Не только в 'идейных' экспроприаторах, но и в обыкновенных уголовных преступниках он видел революционный элемент».[11]

Другой бывший видный большевистский деятель, Станислав Вольский (А. В. Соколов) в 1907 г. делегат от Москвы на Лондонском съезде РСДРП, выразил Ленину свое недоумение по поводу того, что Ленин предложил в будущий ЦК партии кандидатуру некоего Х. (Виктора), который по словам Вольского, имел очень плохую репутацию. Ленин ему ответил: «Очень просто! Центральный Комитет для того, чтобы быть работоспособным, должен состоять из талантливых журналистов, способных организаторов и нескольких интеллигентных негодяев. Я рекомендовал т. Х, как интеллигентного негодяя».[12]

Летом 1905 г. в своей брошюре «Две тактики» Ленин писал:

«Удастся решительная победа революции, тогда мы разделаемся с царизмом по-якобински, или, если хотите, 'по-плебейски'... Якобинцы современной социал-демократии — большевики хотят, чтобы народ, т. е. пролетариат и крестьянство, разделался с монархией и аристократией 'по-плебейски', беспощадно уничтожая врагов свободы, подавляя силой их со-

---

[11] Вл. Войтинский. Годы побед и поражений. Часть вторая. Берлин 1924 г., стр. 102-103.

[12] Volsky Stanislav. Dans le Royaume de la Famine et de la Haine. La Russie Bolcheviste. Paris, 1920, p. 26.

противление, не делая никаких уступок проклятому наследию крепостничества, азиатчины, надругательству над человеком».[13]

А в декабре 1911 г. Ленин писал в газете «Социал-демократ»:

«Если в такой культурной стране, как Англия, не знавшей никогда ни монгольского ига, ни гнета бюрократии, ни разгула военщины, — если в такой стране понадобилось отрубить голову одному коронованному разбойнику, чтобы обучить королей быть 'конституционными' монархами, то в России надо отрубить головы по меньшей мере сотне Романовых, чтобы отучить их преемников от организации черносотенных убийств и еврейских погромов».[14] Что Ленин, согласно заветам Нечаева, в 1918 г. и осуществил, уничтожив самым зверским образом не только всех членов дома Романовых, но также множество лиц, их окружавших.

Известный социолог К. М. Тахтарев, в девяностых годах принимавший участие в социал-демократическом движении и друживший с Лениным, после его смерти рассказал о разговоре, который у него был с Лениным еще в эпоху «Искры». Разговор этот был о П. Б. Струве. Ленин тогда в «Искре» называл Струве «изменником» и «ренегатом».

«Я не считал это название подходящим для определения Струве, — пишет Тахтарев. — ...Я обратил внимание Владимира Ильича на возможные последствия подобного клеймения Струве. Я сказал ему: — А что если кто-либо из рабочих, фанатически преданных делу, под влиянием травли Струве на страницах «Искры», вдруг решится расправиться с ним или даже убьет его как изменника и ренегата?» «Его и надо убить», — ответил мне Владимир Ильич».[15]

Невозможно себе представить, чтобы какой-либо другой выдающийся деятель русской социалистической или революционной партии, кроме Нечаева, мог сказать, что того или другого его политического противника «надо убить», как сказал Ленин о Струве, который, кстати сказать, был тогда одним из главных идеологов либерально-демократического движения в России.

---

[13] Сочинения Ленина. Второе издание. Том. 8, стр. 64.

[14] Сочинения Ленина. Издание 1929 г. Том 15, стр. 285.

[15] К. Тахтарев. Ленин и социал-демократическое движение (по личным воспоминаниям). «Былое». (Ленинград) № 24, 1924 г., стр. 22.

«Морали в политике нет. Есть только целесообразность», поучал Ленин своих учеников.

В начале 1907 г. ЦК Российской Социал-Демократической Рабочей партии привлек Ленина к партийному суду за то, что он в брошюре «Выборы в СПБ и лицемерие 31 меньшевика» обвинял меньшевиков, что они вступили в переговоры с кадетской партией «для продажи кадетам голосов рабочих». На суде Ленин в своей речи сказал:

«То, что недопустимо между членами единой партии, то допустимо и обязательно между частями расколовшейся партии. Нельзя писать про товарищей по партии таким языком, который систематически сеет в рабочих ненависть, отвращение, презрение и т. п. к несогласномыслящим. **Можно и должно** писать именно таким языком про отколовшуюся организацию.

Почему должно? Потому что раскол обязывает **вырывать** массы из-под руководства отколовшихся. Мне говорят: вы вносите смуту в ряды пролетариата. Я отвечаю: я умышленно и рассчитанно вносил смуту в ряды той части петербургского пролетариата, которая шла за отколовшимися накануне выборов меньшевиками, **и я всегда буду** поступать таким образом **при расколе.** (Курсив Ленина).

Своими резкими оскорбительными нападками на меньшевиков накануне выборов в СПБ, я действительно заставил дрогнуть ряды **верящего им и идущего за ними** пролетариата. Это была моя цель. Это был мой долг, как члена с.-петербургской с.-д. организации, проводящей кампанию левого блока. Ибо **после раскола** для проведения этой кампании **надо было** разбить ряды меньшевиков, ведших пролетариат за кадетами, **надо было** внести смятение в их ряды, надо было возбудить в массе ненависть, отвращение, презрение к этим людям, которые **перестали** быть членами единой партии, которые стали политическими врагами, ставящими нашей с.-д. организации подножку в ее выборной кампании. По отношению к **таким** политическим врагам я вел тогда — и в случае повторения и развития раскола **буду вести всегда** — борьбу **истребительную».**[16]

Восторгаясь произведением прусского генерала Клаузевица, Ленин тут же в заметках на полях книги высказал свою собственную мысль: **«Хороший вождь и... недоверие к людям».**

---

[16] Сочинения Ленина. Второе издание. Том 11, стр. 221.

Своими главными союзниками Ленин считал не сознательный пролетариат, а, подобно Нечаеву, людское отчаяние и озверение. Подстрекая к дерзанию членов своего ЦК, не веривших в успех восстания, он накануне Октября писал им: «За нами **верная победа,** ибо народ уже близок к **отчаянию и 'озверению'».** (Подчеркнуто и кавычки в подлиннике).

Г. В. Плеханов был совершенно прав, когда он в своей последней статье, написанной им в январе 1918 г. вскоре после разгона Учредительного Собрания, писал:

«Тактика большевиков есть тактика Бакунина, а во многих случаях просто-напросто тактика Нечаева. Курьезное совпадение. По свидетельству М. П. Драгоманова, который сам пережил эпоху нечаевщины, Нечаев распространял среди учащейся молодежи весть, что в Западной Европе 2 миллиона интернационалистов готовы восстать и поддержать революцию в России. Читателю известно, что теперь у нас распространяется в рабочей среде столь же мало основательная весть о готовности западно-европейского пролетариата поддержать русскую социальную революцию. Это все та же метода, только применяемая в гораздо более широких размерах».[17]

IV

Ленин дорожил своей персоной. Всякий раз, когда ему грозил арест, он оставлял Россию и уезжал заграницу. За все 17 лет, от 1900 г. до февральской революции 1917, он в России был только полтора-два года, с ноября 1905 до осени 1907 г. Остальные годы он прожил заграницей и ни разу нелегально не поехал в Россию, как это делали многие другие революционеры.

Накануне Циммервальдской конференции в Берне состоялось совещание группы делегатов. Как впоследствии рассказал Мергейм, один из французских левых социалистов, участвовавших в этом совещании, Ленин тогда требовал, чтобы конференция выпустила воззвание к рабочим массам и солдатам всех стран, чтобы они объявили всеобщую забастовку против войны. Мергейм тогда указал Ленину, что такое воззвание не будет иметь никакого влияния при том настроении, которое господствует среди народных масс во всех странах. Ленин и его друзья, однако, продолжали настаивать на своем. Дискуссия по этому вопросу длилась целых восемь часов. Та же сцена повторилась после и в резолюционной комиссии

---

[17] Г. В. Плеханов. Год на родине. Париж 1921. Т. 2-й, стр. 267.

Циммервальдской конференции. Там произошло резкое столкновение между представителем крайне левых социалистов Германии Георгом Ледебуром и Лениным. Подобно Мергейму, Ледебур также указал Ленину, что его предложение бесцельно, к тому же, он прибавил, для делегатов, которые должны после конференции вернуться в свои страны, принятие такого рода резолюции было бы бесцельным самопожертвованием, ибо по возвращении домой они немедленно были бы преданы военному суду, были бы расстреляны и своей смертью фактически ничего не достигли бы. «Ленин, который за все время этой дискуссии сидел, развалившись на мягком диване, — пишет Мергейм, — не обнаружил ни малейшего интереса к аргументам его противников. Каждый раз, когда он отвечал на речь его противника, он говорил все более оскорбительным и саркастическим тоном, и если бы не вмешательство болгаро-румынского социалиста Раковского, Циммервальдская конференция вовсе не состоялась бы, ибо как французские, так и германские делегаты решительно отказались принять безумный план Ленина. Принята была компромиссная резолюция. Но Ленин, как в резолюционной комисси, так и на самой конференции, голосовал против этой резолюции.

В разгар словесной битвы между Лениным и Ледебуром последний, отвечая на саркастическое замечание Ленина, воскликнул, что он, Ледебур, не требует от Ленина, чтобы он после конференции поехал в Россию и выступал там в духе предложенной им резолюции, ибо это означало бы верную смерть через расстрел. Ленин же требует от него, чтобы он, Ледебур, пожертвовал своей жизнью в то время, как он, Ленин, останется спокойно жить в Швейцарии».

Приведя эту цитату из воспоминаний Мергейма, знаменитый германский социалист Эдуард Бернштейн в 1921 г. писал: «Ленин действительно остался в Швейцарии и вернулся в Россию вместе со своими единомышленниками лишь после того, как революция окончательно победила».[18]

В 1917 г. после подавления июльского восстания, когда Временное Правительство обвинило Ленина в получении немецких денег и в государственной измене и издало приказ о его аресте, Ленин сказал Троцкому: Теперь они нас перестреляют. Теперь для них самый подходящий момент»,[19] и он

---

[18] Eduard Bernstein. *Ein dunkles Kapitel. Vorwärts,* Berlin Januar 14, 1921.

[19] Л. Троцкий. О Ленине. Москва 1924 г., стр. 58.

скоро бежал в Финляндию. Когда в 1907 г. лидеры соц.-демократической фракции во второй Государственной Думе И. Г. Церетели и его товарищи были обвинены правительством Столыпина в преступлении, которого они не совершили, они не скрылись от царского суда. Ленин же боялся предстать даже перед судом революционных социалистов.

Ленин не был «нечаевцем», он был **вторым Нечаевым.** От первого Нечаева он отличался не только своей образованностью и интеллектуальным превосходством. Сергей Нечаев был совершенно искренний, отчаяннейший фанатик. Он готов был ради торжества своей идеи поджечь мир, но согласен был в любой момент и сам сгореть, что он доказал своим мужественным поведением на суде, а потом за все годы своего заключения в Алексеевском равелине Петропавловской крепости. О Ленине этого нельзя сказать, хотя фанатик он был, может быть не меньший, чем Нечаев. То, о чем мечтал Нечаев, Ленин провел в жизнь. Но пожертвовать своей собственной жизнью ради торжества своей идеи он не был способен.

В ноябре 1872 г. под влиянием вести об аресте в Цюрихе Нечаева и выдачи его русскому правительству, Бакунин писал Н. П. Огареву:

«Несчастного Нечаева республика выдала. Что грустнее всего, это то, что по этому случаю наше правительство, без сомнения, возобновит Нечаевский процесс и будут новые жертвы. Впрочем, какой-то внутренний голос мне говорит, что Нечаев, который погиб безвозвратно и без сомнения знает, что он погиб, на этот раз вызовет из глубины своего существа, запутавшегося, загрязнившегося, но далеко не пошлого, всю свою первобытную энергию и доблесть. Он погибнет героем и на этот раз ничему и никому не изменит. Такова моя вера! Увидим скоро, прав ли я».[20]

Бакунин оказался прав. Нечаев ничему не изменил. История, по замечанию Е. Е. Колосова, «реабилитировала Нечаева ценой **дискредитации** 'нечаевщины'». Ленина же и его ближайших соратников в 1917 г. история никогда не реабилитирует.

Д. Шуб

---

[20] Письма Бакунина, стр. 443-444.

ИЗ ИСТОРИИ ФАЛЬСИФИКАЦИЙ В СССР

КАК СТАЛИН ПРОВОЗГЛАСИЛ СЕБЯ ПОЛКОВОДЦЕМ

1925-му году принадлежит исключительная роль в возвышении Сталина. Как известно, после смерти Ленина равного ему по влиянию и престижу единоличного диктатора в коммунистической партии не нашлось, и был учрежден временный триумвират в составе Зиновьева, Каменева и Сталина. Внутри правящей тройки происходила ожесточенная борьба. Для удержания равновесия членам триумвирата приходилось делать уступки друг другу. Именно в порядке таких взаимных уступок Сталину удалось добиться 10 апреля 1925 года переименования Царицына в Сталинград и таким образом положить начало мифу о военных заслугах и полководческом гении Сталина в гражданскую войну. Впрочем, в первые годы революции закрепление имен вождей за учреждениями, фабриками, улицами, деревнями и городами было в моде. Не только за Лениным после его смерти был закреплен город, созданный Петром, но и Зиновьевском стал Елизаветград, а вскоре Молотовым — стала Пермь, Ворошиловградом — Луганск и т. д.

Но равновесие в правящей тройке становилось все труднее сохранять, и Сталин, генеральный секретарь партии, весь 1925-ый год тщательно использовал для того, чтобы прибрать к рукам весь партийный аппарат, посадив везде верных и преданных ему людей. К моменту созыва 14 съезда ВКП в декабре 1925 года Сталиным было исподволь уже всё подготовлено для единоличного возвышения. Оттеснив Зиновьева и Каменева, он впервые на этом съезде выступил с политическим отчетом от имени Ц. К. Стенографический отчет съезда, большинство которого уже состояло из ставленников генерального секретаря, отмечает, что появление Сталина на трибуне было встречено «бурными продолжительными аплодисментами, переходящими в овацию. Все встают». А по окончании доклада Сталина сцена повторяется в еще более приподнятом темпе: «Бурные, долго несмолкающие аплодисменты. Овация. Все встают. Интернационал». Современники отмечают, что такого рода оваций не удо-

ставался и Ленин. К этому времени относится происхождение анекдота, приписываемого Радеку, о смене родовых форм: раньше был матриархат, затем — патриархат, а потом надолго упрочился — секретариат...

Острая внутрипартийная борьба с левой оппозицией, с Троцким, разыгрывание друг против друга различных фракций, в чем Сталин обнаружил свои способности интригана, постепенная ликвидация НЭП-а, всё это мешало новому хозяину войти в роль, всё это еще вынуждало его к оглядке, к сдержанности. Потом он присвоит себе всё наследство Ленина, припишет себе, — отняв у Троцкого — авторские права на Октябрьскую революцию, поставит себя в ряд с Марксом в качестве «теоретика», похитит лавры победителя в гражданской войне и т. д.

Во всяком случае, когда Ив. Товстуха из сталинского секретариата опубликовал в 1927 году краткую биографию Сталина, там очень скромно и сжато упоминалось о роли его в гражданской войне: «Период гражданской войны Сталин провел по преимуществу на фронтах. 1918-ый год (весну и лето) Сталин работает на Царицынском фронте, организуя *совместно с Ворошиловым и Мининым* оборону Царицына от войск Краснова». (стр. 13). Спустя три года в Малой Советской Энциклопедии (т. 8, 1930) в кратком сообщении о событиях в районе Царицына мы читаем: «Упорные бои за город шли в 1918-19 г.г.; ряд атак белых был отбит красными частями под командой К. Е. Ворошилова. 30 июня 1919 г. Сталинград был занят деникинцами; разгром белых на Южном фронте освободил Сталинград 25 декабря 1919 года». И только в биографии Сталина в той же Малой Советской Энциклопедии за тот же 1930 год мы встречаемся с попыткой связать с именем Сталина «ряд блестящих побед Советской республики в борьбе с контр-революцией и иностранной интервенцией», но с существенным добавлением, что «в период гражданской войны Сталин был *одним из руководителей* Красной армии».

Два человека вскоре поставили себе задачей исправить эту историческую несправедливость, допущенную в отношении военного гения Сталина: его соратник Ворошилов и «рабоче-крестьянский граф» Алексей Н. Толстой.

Это было в 1937 году, во время московских процессов, на которых шла уже беспощадная расправа со всей большевистской старой гвардией. Сталин к этому времени уже достиг высшей, диктаторской, единодержавной власти, и приближенный к нему Клим Ворошилов, и обласканный им писатель Алексей Н. Тол-

стой, выдвинувшийся в качестве придворного льстеца, взялись за дело, чтобы создать миф о Сталине — выдающемся полководце.

В своей книжке «Сталин и Красная армия» Ворошилов, дослужившийся тогда уже до звания наркома обороны, довольно откровенно отметил, что «значение Сталина, как одного из самых выдающихся организаторов побед гражданской войны, *было до некоторой степени заслонено и не получило еще должной оценки*». Восполнить этот «пробел» и попытался Ворошилов в своей «исторической» книге. Ту же задачу иными художественными, средствами пытался в том же 1937 году разрешить Алексей Толстой — в своем романе «Хлеб», где главным героем выступает Сталин, который то и дело сносится с Лениным во время обороны Царицына, борется против распоряжений Троцкого и разоблачает его козни и является душой и руководителем военных действий. «Сталин не выходил из окопов, руководя оттуда посылкой резервов, подвозом огнеприпасов, отправкой нового бронепоезда, вооруженного только что отбитыми пушками». Так в 1937 году изображается роль Сталина на военном поприще.

Но лиха беда — начало. Прошло 10 лет, и картина возвеличения военного гения Сталина принимает уже подлинно гомерические размеры. Миф о Сталине-полководце укореняется, — более того, становится обязательным для советской историографии. Это — неудивительно. За это время прошла вторая мировая война, в которой Сталин разделил лавры победы над нацистской Германией вместе с вождями мировой демократии, Рузвельтом и Черчилем. Легенда о гениальности советского диктатора, и в частности, о его полководческих данных, перешагнув за пределы СССР, стала достоянием всего подлунного мира. 24 июня 1945 г., после победы, Сталин, как Верховный Главнокомандующий, принимал парад победы на Красной площади в Москве. 26 июня маршал Сталин получил ряд орденов и медалей и звание героя Советского Союза, а 27 июня ему было присвоено высшее воинское звание — генералиссимуса. Коллектив из шести советских писателей, составивших биографию Сталина в разгар его славы и величия, отвел в ней много места выяснению огромного вклада Сталина в военную науку и в военное искусство и, не моргнув глазом, отметил сталинский гений, оплодотворивший *«творческое своеобразие, оригинальность замысла боевых операций»*, проведенных под руководством Сталина (стр. 222, 232 и др.).

Совершенно естественно, что после окончания второй мировой войны придворные льстецы и подхалимы почувствовали

необходимость совершенно по иному восполнить «пробел» в части биографии Сталина, относящейся ко времени гражданской войны, — о чем говорил Ворошилов еще в 1937 году. Но теперь, в 1946-47 г.г., смутные намеки Ворошилова о том, что в гражданскую войну кто-то мог позволить себе «заслонить» военный гений Сталина (не Троцкий ли?) или злостно недооценить его военные заслуги, — звучали уже совершенно неуместно и некстати.

«Историческое» исследование Ворошилова немилосердно отставало от требований текущего момента. С победой в мировой войне для генералиссимуса открывалась возможность не только установить, что Советская республика именно ему обязана была победой еще в гражданскую войну, что *оборону Царицына организовал именно сталинский военный гений,* что его полководческие таланты полностью уже обнаружились в 1918-19 годах, но и открывалась возможность окончательно доказать, что не Троцкий, имя которого тесно связывалось с именем Ленина, — а Сталин был единственным, бесспорным соратником и наследником Ленина.

В «Кратком курсе» Сталин уже узурпировал Октябрьскую революцию 1917 года, вычеркнув имя Троцкого. Московские процессы должны были показать, что Троцкий, как и другие наиболее видные коммунисты, впоследствии стали иностранными шпионами и фашистами. В коллективной биографии Сталина и в ряде других «исторических» исследований, вышедших после второй мировой войны, задним числом устанавливается, что уже в 1918-19 г.г. организатор Красной армии был изменником и предателем и что только гений Сталина спас Царицын и победил в гражданской войне, действуя не только против Краснова и Деникина, но и против Троцкого и его ставленников. На широком фронте исторической науки, литературы и искусства эта почтенная задача фальсификации в интересах прославления диктатора была осуществлена по мановению руки Сталина. Присмотримся ближе к некоторым аспектам этой фальсификации.

Биографы Сталина в следующих выражениях отметили заслуги его в обороне Царицына. «Соединение в одном лице *прозорливости политического вождя и таланта полководца* позволило Сталину разгадать роль Царицына, как места главного удара со стороны контр-революции... Очистив железной рукой город от белогвардейских заговорщиков, беспощадно ломая сопротивление контр-революционных специалистов, посланных и

поддержанных Троцким, Сталин быстрыми и решительными мерами реорганизовал разрозненные отряды, ускорил прибытие частей Ворошилова... *Железная воля и гениальная прозорливость* Сталина отстояли Царицын, не дали белым прорваться в Москву» (стр. 72-73).

Большая Советская Энциклопедия (том, где говорится об обороне Царицына, вышел в 1947 г.) почти исключительно занята разоблачением антагониста Сталина, Троцкого. «К лету 1918 года положение Царицына стало еще более серьезным. *Предательская работа* посаженных Троцким в военном штабе «своих» людей уже явно давала себя чувствовать. Учитывая громадное значение Царицына, партия направила туда И. В. Сталина. Засевшие в продовольственных органах эсэры, меньшевики и троцкисты саботировали. До приезда Сталина Царицын мало чем напоминал советский город; в нем находили приют шпионы и диверсанты. В штабе Северо-Кавказского военного округа сидели *враги народа, ставленники предателя Троцкого*... Во время наибольшей опасности для Царицына *предатель Троцкий* пытался дезорганизовать налаженное Сталиным и Ворошиловым руководство фронтом. Он посылал в Царицын своих агентов вроде Алексеева, который был своевременно разоблачен Сталиным и расстрелян. Офицер Молдавский пытался в сентябре поднять в Царицыне мятеж. Однако подготовка мятежа была своевременно раскрыта и пресечена Сталиным».

И там же подчеркивается значение деятельности Сталина и помимо борьбы с «предателем» Троцким. Методы работы Сталина превратили Царицын в неприступный «Красный Верден». Под руководством Сталина в Царицыне развернулась работа по созданию Красной армии. 20-го октября Сталин уехал в Москву. Но и *из Москвы* по прямому проводу *не переставал руководить обороной Царицына*» (стр. 628-631, БСЭ, первое издание).

К делу возвеличения Сталина, — в порядке восстановления исторической правды об обороне Царицына, — была привлечена и советская художественная литература. На этот раз эта почтенная задача была возложена на Константина Федина, и, конечно, не могло быть и речи об отказе от предложенной ему чести. В романе «Необыкновенное лето» (впервые печатался в 1947 г. в журнале «Новый Мир», отдельным изданием вышел в 1949 г.) К. Федин нашел, в соответствии с требованиями культа Сталина, слова полновесные и выразительные для прославления военного гения Сталина в гражданскую войну. «Москва признала

Царицын важнейшим советским военно-стратегическим центром. С июля его оборону *возглавил* Сталин. Казаков остановила не только отвага защитников революции. Атаманы и батьки впервые столкнулись здесь *с новым искусством военного маневра* и огня. *Рождение революционного полководческого искусства* в приволжских степях *отметила история,* нарекая Царицын именем Сталина» (Стр. 281-82). Эту поэтическую патетику Федин сопроводил в другом месте и энергической прозаической оценкой: «Сталин не только разработал и выдвинул стратегический план этой борьбы, не только добился его принятия. Он с начала до конца руководил его осуществлением и довел борьбу до победы» (стр. 651). Но эта победа вышла за пределы обороны Царицына, и Федин эту мысль выражает в следующем заключительном аккорде: «Немного больше года назад Сталин разбил казаков Краснова под Царицыным. Но теперь *слово Сталин — прозвучало* на всех фронтах и *приобрело* особое — *полководческое* — содержание» (стр. 712).

Когда в конце 1951 года в Большой Советской Энциклопедии (во втором издании) появилось описание обороны Царицына в статье «Ворошиловский поход 1918 г.», оно было выдержано в общем в тех же тонах возвеличения Сталина. «По предложению В. И. Ленина для организации продовольственного снабжения в Царицын был послан И. В. Сталин, который возглавил оборону Царицына, от успеха которой зависела оборона Советской республики... К. Е. Ворошилов привел в Царицын к И. В. Сталину закаленную и сплоченную в боях армию... Войска, совершившие героический поход, составили основу новой 10-ой армии, на которую была возложена почетная историческая задача героической обороны Царицына под руководством И. В. Сталина и К. Е. Ворошилова».

Этой, по сравнению с приведенными раньше образцами, довольно скромной заметке о военном гении Сталина, проявленном еще в 1918-1919 г.г., суждено было стать последней. К тому же спустя 15 месяцев диктатор умер, а затем, как известно, в результате усилий его наследников, началось развенчание Сталина. Это *развенчание коснулось и военных заслуг Сталина,* его полководческого гения, его «вклада» в военную науку и искусство. Надо думать, что работа по развенчанию благочестивых мифов о Сталине раньше или позже еще будет продолжена, несмотря на наблюдающееся в последнее время сомнение о полезности «десталинизации». Во всяком случае, роль и значение Сталина в царицынской обороне и в гражданской войне, раз-

дутые подхалимами и льстецами особенно в 40-х г.г., сейчас уже подвергнуты ревизии в СССР. Одной фальсификацией как будто стало меньше, и на этом следует остановиться.

Как известно, на 20-м съезде компартии в Москве в феврале 1956 г. Хрущев своей секретной речью открыл первую главу десталинизации и, в частности, жестоко высмеял *миф о военном гении и полководческом искусстве Сталина* во второй мировой войне. С сарказмом Хрущев говорил о советских романах, фильмах и «научных» исторических исследованиях, прославлявших Сталина за то, что он всё предвидел, всё предусмотрел и разработал стратегический план «активной защиты» — план, который на деле привел немецкую армию к Москве и Ленинграду. Хрущев не забыл рассказать о том, как этот «гениальный стратег» истребил заранее весь генералитет и весь руководящий офицерский корпус Красной армии в 30-х г.г. и обезглавил армию накануне второй мировой войны. Не менее красочно было повествование Хрущева о том, как Сталин допустил гибель сотен тысяч людей во время войны только потому, что не хотел подняться с кресла и подойти к телефону, чтобы выслушать доклад о критическом положении на фронте.

Вот каков был на деле этот военный гений и прославленный полководец! И как не вспомнить рассказ Хрущева о том, что генералиссимус тщеславия ради отправил после победы в почетную ссылку маршала Жукова, взявшего Берлин, одного из действительных героев войны. Правда, в этом пункте как раз Хрущев просчитался, не предусмотрев, что ему самому при восхождении к власти придется, в подражание Сталину, опасаясь популярности Жукова в армии и стране, сместить маршала ловким маневром интригана с поста министра обороны и повергнуть его в политическое небытие...

Но как бы то ни было, удар по военному престижу Сталина во второй мировой войне был нанесен. Отсюда один только шаг до развенчания военных и полководческих заслуг диктатора и в гражданскую войну, и в исходном пункте его военной карьеры — во время обороны Царицына. Этот шаг не заставил себя долго ждать. В т. 46 Большой Советской Энциклопедии (второе издание), сданном в печать в феврале 1957 г. — ровно через год после секретной речи Хрущева (кстати, до сих пор не опубликованной в СССР) дано совершенно новое, ничего общего не имеющее со всеми предшествующими версиями, изображение обороны Царицына, в котором не только *нет упоминания о полководческих заслугах Сталина,* но о нем вообще говорится

почти вскользь, без всяких указаний на якобы сыгранную им значительную роль в то время.

Любопытно, что в этом, последнем по времени, варианте совершенно отсутствует всякое упоминание о Троцком, о его кознях, ставленниках и предательстве и в то же время выдвигается роль Ворошилова в деле обороны Царицына и руководства ею. Если у Сталина в бытность его в Царицыне и были какие-нибудь особенные заслуги, то их, повидимому, надо отнести за счет его расстрельной деятельности в органах Чека. В заметке за 1957 год об этом дважды говорится. В августе 1918 г. «советские органы раскрыли и ликвидировали контр-революционный заговор», и «в ночь с 7 на 8 сентября была ликвидирована новая попытка врага организовать контр-революционное восстание». Более чем вероятно руководящее участие именно в этих делах присланного из Москвы Сталина.

Царицынская оборона, по сообщению Большой Советской Энциклопедии, продолжалась с июля 1918 по июнь 1919. «К 16 июля 1918 выступили бело-казачьи части восставшего войска Донского под начальством ген. Краснова. Советские отряды не могли долго сдерживать натиска казачьих войск, так как в этих отрядах не было еще должной организованности, дисциплины, единого командования. В самом Царицыне подняла голову контр-революция... Решающий перелом в обороне произошел после прибытия в район Царицына в начале июля 1918 года группы тов. Ворошилова. По указанию Ц. К. партии был создан Военный Совет Сев.-Кавказского Военного округа, куда вошли И. В. Сталин (находившийся в Царицыне с 6 июня по заданию Ц. К. партии в качестве чрезвычайного комиссара по продовольствию) и К. Е. Ворошилов».

Далее дается обзор хода военных событий, никак не свидетельствующий о военной роли в них Сталина. К концу июля армии Краснова и Деникина нанесли удар советским войскам. 30 июля Военный Совет начал наступление, которое однако в начале августа было прекращено казаками Фицхелаурова, а 8 августа подошли близко к Царицыну войска Мамонтова. Бои продолжались до 20 августа, а 21-го советские войска перешли в наступление. «17 сентября 1918 был образован южный фронт, в Военный Совет которого вошли И. В. Сталин и К. Е. Ворошилов — командующий войсками фронта. 3 октября войска были объединены в 10 армию, командующим которой был назначен К. Е. Ворошилов». К 19 октября войска белых отступили с потерями, и — «по решению Ц. К. партии *И. В. Сталин в 20-х*

числах октября выехал в Москву. Руководителем всей обороны Царицына остался К. Е. Ворошилов».

Не входя в дальнейшие детали боевой обстановки (ведь бои продолжались еще ряд месяцев, и еще 30 июня 1919 года советские войска вынуждены были оставить Царицын под давлением армий Деникина), мы можем считать совершенно точно установленной и официально подтвержденной версию обороны Царицына, — при которой *Сталин во всяком случае никакой военной роли не играл.* Одно время он узурпировал лавры Ворошилова, а затем бесцеремонно подал события в явно-фальсифицированном виде,

У К. Федина в романе «Необыкновенное лето», на который мы выше сослались, есть персонаж-резонер в горьковском стиле, Тарабукин, который в объяснение того, почему они кампанией уничтожают книги исторического содержания, говорит: — «Потому это *бывшая история,* которой больше не будет. Отмененная история» — и добавляет для вящей убедительности: «У нас в науке разбираются».

«Разбираются ли в науке» при Хрущеве, как разбирались при Сталине, — еще не вполне ясно. Но по крайней мере сейчас *миф о гениальном полководце Сталине можно считать развенчанным.* Легенду о том, как Сталин оборонял Царицын в 1918 году мы по всей справедливости должны отнести к «бывшей», к «отмененной» истории, и все страницы, посвященные прославлению военного гения Сталина, можно без сожаления употребить на курево в Советском Союзе.

Г. Аронсон

БИБЛИОГРАФИЯ

С. Л. ФРАНК. ЭТЮДЫ О ПУШКИНЕ. Мюнхен, 1957 г.

Как всё, написанное покойным С. Л. Франком, эта небольшая книга, вышедшая уже после его смерти, заслуживает самого пристального внимания. В нее вошли его статьи о Пушкине, первоначально напечатанные в разных эмигрантских периодических изданиях в 1933-1949 годах. Вот перечень этих статей: «Религиозность Пушкина», «Пушкин как политический мыслитель», «О задачах познания Пушкина», «Пушкин об отношениях между Россией и Европой» и «Светлая печаль».

Для С. Л. Франка Пушкин был не только величайший русский поэт и, как таковой, «самое яркое и показательное выражение народной души в ее субстанциональной основе» (формула, невольно вызывающая в памяти немецкий романтизм и русских идеалистов 30-х годов), но и «великий мудрец», «великий мыслитель». В третьей из вышеперечисленных статей, носящей программный характер, С. Л. Франк выражает свою неудовлетворенность состоянием русского пушкиноведения (каким оно было в 1937 г.) и подчеркивает необходимость заняться исследованием «духовного содержания творчества и личности Пушкина». Разным сторонам пушкинского «жизнепонимания» и посвящены все собранные в этом сборнике статьи. «По образцу 'поэтического хозяйства Пушкина', недавно так интересно прослеженного Ходасевичем, — писал С. Л. Франк, — можно и должно исследовать то, что можно было бы назвать его 'духовным хозяйством'» — т. е. те основные «духовные темы и идеи», которые мы находим в творчестве Пушкина. В качестве подготовительной работы к такому изучению он выдвигал проект составления «толкового философского словаря отдельных, излюбленных и значительных по смыслу, терминов пушкинского языка».

С. Л. Франк несомненно отдавал себе отчет в сложности задачи изучения пушкинского жизнепонимания. Он настаивал на «многослойности» духовного мира Пушкина и считал обреченными на бесплодность «все попытки приписать Пушкину какое-то однозначное... отношение к проблемам жизни, отыскать у него миросозерцание, основанное на каком-либо одном принципе...» Понимал он и то, что духовный мир поэта не может быть раскрыт путем разбора отвле-

ченного «содержания» (мысли, идеи) его художественных произведений, в каждом из которых всегда приходится иметь дело с органическим целым неразрывного «формо-содержания». Эта методологическая осторожность помогла С. Л. Франку подойти к пушкинскому жизнепониманию без излишнего схематизма и вместе с тем с достаточной объективностью. На страницах его книги можно найти очень много ценных и интересных мыслей о творчестве Пушкина.

Но есть в ней и несколько важных пунктов, которые на мой взгляд нуждаются в дальнейшем выяснении и на которых поэтому я хотел бы остановиться. Начну с вопроса о религиозности Пушкина. При обсуждении этого вопроса С. Л. Франк сбрасывает со счета «многочисленные кощунства» молодого Пушкина, так как для него «*совершенно бесспорно*» (курсив здесь и дальше мой — *М. К.*), что они были только «юродством», «маской напускного озорства», скрывавшей за собой «чистейшие и глубочайшие переживания». «С другой стороны, — пишет он, — мы имеем *все основания* при уяснении религиозности Пушкина принимать в расчет, как *автобиографический* материал, все серьезные произведения Пушкина». Меня смущает категоричность этих утверждений и, признаюсь, они не убедили меня в том, что проблема пушкинской религиозности может быть разрешена так просто. Неубедительными показались мне и некоторые из приводимых С. Л. Франком примеров религиозной поэзии Пушкина. Можно ли видеть в таких стихотворениях как «Заклинание» и «Для берегов отчизны дальной» выражение «чувства трансцендентального, потустороннего» и «соприкасание мирам иным»? На мой слух они звучат скорее как предельное выражение земной страсти.

В превосходном этюде о политических взглядах Пушкина удивляет утверждение С. Л. Франка, что в зрелый период своей жизни Пушкин, «хотя и с существенными оговорками... был в общем скорее сторонником самодержавной монархии». Оговорки, которые С. Л. Франк имеет в виду, кажутся мне настолько существенными, что наличие их не позволяет видеть в Пушкине сторонника самодержавия. Пушкин, конечно, был монархистом, но ему было хорошо известно то различие между деспотией и подлинной, основанной на законе, монархией, на котором настаивал Монтескьё и мысль о котором была воспринята в России задолго до Пушкина. «Самовластье» оставалось для Пушкина понятием отрицательным, а в языке того времени слово это было синонимом самодержавия. По справедливому указанию С. Л. Франка, в то, что можно было бы назвать политической программой Пушкина, входили требования прочного правопорядка, личной независимости и свободы культурного и духовного творчества. Но ведь на основании своего личного опыта

Пушкин едва ли мог ожидать осуществления этих требований в рамках самодержавного режима. Да и отмеченную С. Л. Франком идею Пушкина о наследственном дворянстве, как «твердыне, ограждающей начала духовной независимости в государственно-общественной жизни», тоже трудно было бы совместить с поддержкой самодержавия.

Главное мое сомнение, однако, связано с трактовкой С. Л. Франком вопроса об автобиографичности поэзии Пушкина. Он принимает мысль Гершензона о «необычайной правдивости» Пушкина, не позволявшей ему что-либо «выдумывать» в своем поэтическом творчестве, но предостерегает против истолкования этой «правдивости» в буквальном автобиографическом смысле. «Надо условиться, — пишет он, — что надлежит разуметь под 'автобиографизмом' поэзии вообще». И отвечает на этот вопрос следующим образом: «В основе художественного творчества лежит, правда, не эмпирический опыт творца, но всё же всегда его духовный опыт». В более конкретной форме он указывает, что Шекспир не должен был «сам быть преступным честолюбцем по образу Макбета, сам *пережить* (курсив здесь и ниже мой — *М. К.*) любовь Ромео к Джульете... или совершить злодейство Ричарда III (стр. 71). И однако на следующей же странице мы читаем про Пушкина, что «выдумывать мысли и чувства, которых он сам не *пережил,* которые были чужды его духовному опыту, он просто не мог...» Повидимому, надо условиться и о том, что понимать под «духовным опытом». У самого же С. Л. Франка есть указание на своеобразие *поэтического* духовного опыта. Он говорит: «Дар поэтического воображения прямо предполагает, что поэт обладает способностью 'выдумки', т. е. ...способен духовно-эстетически переживать и воплощать мотивы, которых он конкретно не переживал в своей эмпирической судьбе». Но если это так, то надо провести ясную разграничительную линию между переживаниями поэта, воспринимаемыми им как его личный духовный опыт, и теми «переживаниями» эстетического свойства, которые рождаются в его воображении и связаны с его способностью «вчувствоваться» даже в лично ему чуждые мысли, чувства и стремления. Впрочем, несмотря на разницу в их происхождении, обе эти категории переживаний в настоящем художественном произведении сливаются в одну: личный опыт поэта становится поэтическим «вымыслом», а «выдуманные» им чувства приобретают подлинность. В обоих случаях применим один и тот же критерий — художественной убедительности. Это и есть «правдивость» в искусстве.

М. Карпович

С. Н. ПЛАУТИН. СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ. ИСПРАВЛЕННЫЙ И НЕИСПРАВЛЕННЫЙ ТЕКСТЫ. Перевод и примечания. Париж 1958.

Нельзя сказать, чтобы заглавие этой книги было особенно удачным. Назвать текст мусин-пушкинского издания «неисправленным» — нехорошо; в этом какая-то погрешность против научно-литературного тона. А противопоставить ему другой, «исправленный» — претенциозность. «Перевод и примечания» обозначенные, как второстепенный элемент книги, представляют, на самом деле, главный ее интерес. Автору вряд ли следовало торопиться с опубликованием «исправленного» текста и отнимать драгоценные страницы от примечаний. По имеющимся сведениям, он и после выхода книги продолжает, как подобает истинному исследователю, вносить исправления в чтение «Слова»; некоторые из них устраняют, либо видоизменяют ранее предложенные чтения. Значит, «исправленный» текст далеко еще не является таковым. Зная, как трудно в эмиграции издавать ученые труды, нельзя не пожалеть, что добрая половина рецензируемой книжки заполнена этими текстами, а примечаниям отведено всего 30 страниц. Было бы большей заслугой посвятить все 62 страницы одним комментариям.

С. Н. Плаутин принадлежит, по всей видимости, к категории людей отдавшихся целиком одному узко-специальному сюжету, в данном случае, — изучению одного произведения. Такие однолюбы бывают иногда равнодушны к широким задачам науки, но зато в избранной узкой сфере приобретают исключительную эрудицию. Они кажутся больше знатоками-любителями, чем учеными академического склада, что не мешает им делать интереснейшие наблюдения и открытия. Такими наблюдениями полны «примечания» нашего автора к «Слову о полку Игореве». О них уже писали, и на них обратят, несомненно, внимание историки древней русской литературы.

Наш автор не мало потрудился, прежде всего, над прояснением отдельных мест «Слова» ставших совершенно непонятными из-за искажений переписчиков. Ни простому читателю, ни исследователю, до сих пор не удалось расшифровать таких, например, слов: «утрь же воззни стрикусы оттвори врата Нову-граду, разшибе славу Ярославу». Р. О. Якобсон видит в этом «три куса» чего-то, вроде удачи. По крайней мере, Анри Грегуар, конечно, с одобрения г. Якобсона, перевел это по-французски как: «Jusqu'à trois fois il lui fut donné de saisir sa part de chance!». Вряд ли это проясняет что-либо в загадочном тексте. Объяснения Плаутина подкупают своей убедительностью. «Стрикусы», по его мнению, не что иное, как

искаженное «остры кусы», под каковыми надлежит разуметь заостренные на концах бревна, употреблявшиеся для разбивания и взламывания крепостных ворот. Слово же «воззни» надо читать, как «вонзи». «Во внутрь вонзил острозубцы, отворил ворота Новгорода, расшиб славу Ярослава» — так переводит он это темное место. Столь же убедительно толкуются слова и выражения, хоть и не искаженные перепиской, но утратившие свой смысл для современного читателя. Что например значит: «а Владимир по вся утра уши закладаше в Чернигове»? «Уши», оказывается, — проушины в городских стенах, а вовсе не анатомический термин. Владимир Мономах чинил городские стены, готовясь к нападению Олега Святославича, а не собственные уши затыкал, чтобы не слышать «звона» княжеской усобицы разжигавшейся Олегом. Совершенно по-новому и очень свежо предстает в трактовке С. Н. Плаутина знаменитый «мутный сон» Святослава. Благодаря превращению непонятных и замысловато толкуемых слов «дебрь Кисаню» в «дебрьские сани» — древний погребальный экипаж, «сон» приобретает законченный характер символики смерти. Правда, версия «дебрьских саней» высказывалась в литературе, но она отодвинута в тень позднейшими комментариями. Воскрешение ее — несомненная заслуга.

Наш автор посягнул и на другой устоявшийся взгляд, — на «время Бусово», как на рассказанный Иорданом эпизод о славянском князе Босе, побежденном готским конунгом Винитаром в 375 г. н. э. и распятом вместе с семьюдесятью его приближенными. «Время бусово», в понимании Плаутина, — вечерние, либо предутренние сумерки, — время в которое готские девы распевали свои песни. Трактовка этих двух слов, взятых из контекста, звучит убедительно, но степень этой убедительности снижается, как только дело доходит до толкования всего отрывка. «Се бо готские красные девы вспеше на брезе синему морю. Звоня русским златом, поют время Бусово, лелеют месть Шароканю». Автор увлекся мыслью показать, что песнь готских красавиц означала не злорадство по поводу гибели русских полков, а наоборот, выражала симпатию Игорю. Звон русского золота он понимает не буквально, а аллегорически; золото — это благо принесенное Игорем в половецкие степи. Звонить русским золотом значит воспевать русских. Соблазнила его на такое заключение, кажется, та строка поэмы, где говорится о немцах, венецианцах, греках и мораве, которые «кають Князя Игоря, иже погрузи жир во дне Каялы реки Половецкия, Рускаго злата насыпаша». Сомнительно, чтобы такое, безрассудно погубленное русское «злато» (благо) могло сделаться предметом воспевания; его можно было только оплакивать. Самое же главное свидетельство антирусских настроений готских дев заключается в словах: «лелеют

месть Шароканю». С. Н. Плаутин хочет «Шароканю» представить, как имя собственное в дательном падеже, и полагает, что в данном случае воспевается («лелеется») победа русских над ханом Шаруканом, дедом Кончака, одержанная почти за 80 лет до игорева похода. Но такое объяснение слишком натянуто. Русские тогда не мстили Шарукану, а отражали его нападение. Месть мог затаить сам Шарукан и завещать ее потомству — сыну Отроку и внуку Кончаку, что, повидимому, и имело место. В 1185 году мстил Шарукан (давно уже покойный) через своего внука.

К числу таких неудачных толкований «Слова» надо отнести и строку следующую непосредственно за шаруковой местью: «А мы уже дружина жадни веселия». Совершенно непонятно, почему г. Плаутин не хочет принять чтения предложенного Д. С. Лихачевым и настаивает на традиционном: «жаждущие веселия»? Слово «жадни» — слишком ясное и определенное, чтобы могло быть оправдано превращение его в «жаждущие». В польском, в чешском и в древнерусском языках оно имеет смысл «никакой». Автор поэмы указывал на печаль, а не на жажду веселия. И эта печаль русских логично и литературно-убедительно противопоставляется веселию готских дев.

Следует поблагодарить г. Плаутина за защиту одного из лучших образов поэмы: «растекашется мыслью по древу». В столетнем споре о «мысли» и «мыси» (белке), он взял сторону первой. Сделано это на основе филологических выкладок, но могло бы иметь и другой, чисто литературный стимул. Имею в виду поэтический гений автора «Слова». Проф. Г. В. Вернадский, лет десять тому назад, очень удачно напомнил его оценку данную Пушкиным, и поставил вопрос о включении его безвестного имени в пантеон российской литературы. В самом деле, пора начать относиться к нему, как к одному из величайших русских поэтов, и пора его дарование сделать критерием при разборе отдельных мест поэмы. Исследователи должны чаще спрашивать себя, — достойно ли это автора «Слова», мог ли он так написать? Можно смело утверждать, что он не допустил бы «мысью (белкой) растекаться по древу». Иначе не был бы тем тонким поэтом, каким выступает в других частях поэмы.

К сожалению, г. Плаутин, как и большинство исследователей, — филолог-анатом и филолог-археолог, предпочитающий для удобства изучения иметь дело с трупом, а не с живой поэзией.

Не вкладываю в эти слова ничего плохого, выражаю только сожаление, что при всей своей смелости, он не решается иной раз посягать на устоявшиеся суждения, требующие пересмотра, и не решается как раз в силу своего филологического подхода. Как на

пример, можно указать на знаменитый рефрен «О русская земле! Уже за шеломенем еси!» В создании лирической тональности поэмы этой фразе принадлежит первое место. Между тем, ни один комментатор не подходил к ней с точки зрения поэтики. Заглянув в соответствующие словари и установив, что слова «шоломя» и «шеломень» означают холм, курган, возвышенность, — ученые мужи спокойно оставляли русскую землю за холмом. Некоторые занялись поисками конкретной возвышенности. К. В. Кудряшов высказал уверенность, что это — Изюмский курган возле Северского Донца. Их исследовательскую совесть не тревожила мысль об ущербе наносимом таким толкованием драгоценной строке произведения. Курган сам кажется точкой в степи, стоит от него немного отъехать и он сливается с равниной; за ним ли скрыться русской земле? Даже гряда холмов не годится для этой цели. Оправданной была бы разве горная цепь. Между тем, грусть о русской земле, которая «уже за шеломянем еси», вызвана чувством дальности и невозвратности родины. Самое слово «уже» взято из формы плача и служит выражением безнадежности утраты: «Уже нам своих милых лад ни мыслию смыслити, ни думою сдумати», «Уже бо солнце наше зайде ны и во обиде всем стахом». Трудно допустить, чтобы такой безупречный поэт, как автор «Слова», мог лишить внутренней силы и убедительности образ Руси, отступившей в недосягаемую даль. А это было бы неизбежно, и ностальгия его восклицания сделалась бы фальшью, если бы выражением степени удаленности игорева войска от родины был курган. Поэт имел в виду нечто более значительное.

У архангельских и олонецких поморов существует слово «голомя» или «голомень», означающее открытое море, морскую ширь, пространство. И в словаре И. И. Срезневского «голомень» встречается в значении плоскости, широкого места. Существует большой соблазн принять выражение «за шеломянем», как испорченное переписчиками «за голомянем». Тогда это означало бы, — за степными далями, за необозримой равниной, отчего образ сразу же становится полновесным и полнозвучным. Но есть и другой соблазн — допустить, что «шеломя», «шеломень», кроме холма и возвышенности означали также ширь, плоскость и далекие расстояния. На это наводит существование слова «шеломя́т», в значении ладони и гладкого тока на котором молотят, а также выражения, записанного Далем: «Он на десятом шеломе», т. е. Бог весть как далеко. На таком или за таким шеломем осталась русская земля. Нельзя быть уверенным также, что слова «шеломень» и «голомень» суть не одно и то же. По крайней мере, тексты Ипатьевской летописи, приводимые, обычно, в подтверждение «шеломени», как холма, оказываются при ближайшем рассмотрении вовсе не столь уж убедительными.

Про отрывок, приведенный под 1151 годом, можно это сказать с полным основанием. Изучение обстановки военных действий, при которых «пойде Гюрги за шоломя с полкы своими» свидетельствует, что речь здесь идет не о холме, а о чем-то другом. Много сомнений вызывает и «шоломя» упомянутое под 1184 годом. Привожу эти соображения не как окончательное разрешение вопроса, но как материал для решения.

С. Н. Плаутин оказал плохую услугу своему труду полным пренебрежением к приемам и технике научного изложения; он не любит ссылаться на источники, не дает историографических справок, по каковой причине трудно бывает проверять его изыскания и констатировать то новое, что сказано им по сравнению с прежними учеными. Непонятно также, зачем повторять иные, давно высказанные истины, вместо того, чтобы сослаться на соответствующую статью или книгу? Вообще, не полагалось бы скрывать от посторонних взоров свою исследовательскую кухню и делать тайной способ приготовления тех блюд, которые оттуда выносятся.

Тем не менее, «примечаниям» г. Плаутина суждено остаться в поле зрения науки. Некоторые высказанные им суждения будут приняты, другие расчистят путь для будущих изысканий. Обратит на себя внимание и его опыт реконструкции текста поэмы. Такие реконструкции предпринимаются не впервые. Последняя, наиболее значительная попытка в этом роде была предпринята Р. О. Якобсоном, проявившим большую сдержанность и осторожность в обращении с текстом памятника. У Плаутина такой осторожности гораздо меньше, он смел, и вероятно будет осужден за свою смелость. Но как знать, не окажется ли она, в длинной цепи исследовательских усилий, самопожертвованием того воина, что стремительно бросается на врага? Он гибнет, но сбивает неприятельские ряды и обеспечивает своим победу.

Н. Ульянов

GEORG VON RAUCH: A HISTORY OF SOVIET RUSSIA. Frederick A. Praeger: New York, 1957, pp. VIII & 493, $ 5.50.

Марбургский профессор фон Раух, автор ряда трудов по истории Восточной Европы, стремится в своей новой книге не только дать хорошо подобранную информацию об эволюции России за последние сорок лет, но и выяснить причины приведшие большевиков к победе. На один из самых сложных вопросов, явился ли приход Ленина и его соратников к власти неизбежным развитием русской истории, фон Раух без колебания дает отрицательный ответ. Он

резко и решительно отвергает теорию Бердяева, что большевицкая революция была чисто русским, и при этом неизбежным, явлением. «Этот детерминистический взгляд — говорит автор — содержит в себе опасность обвинения русского народа в том, что он предрасположен к такой — т. е. коммунистической системе существования. Нет сомнения, что история Советского Союза не может быть истолкована только в категориях марксистских теорий или только в свете русского прошлого. Марксистская идеология несомненно подверглась сильному влиянию русской среды. Сталинская эра ясно свидетельствует о связи доктрины и среды. Но теория, что развитие России неизбежно вело ее к большевизму, является несправедливым истолкованием возможностей тех сил, которые развивались в России. Даже не обращаясь к предыдущим эпохам, уже одно изучение 19-го века показывает, что в России (помимо большевизма) были и другие широкие возможности для решения государственных и социальных проблем. Конечно, и большевизм явился одной из таких возможностей — в этом нет сомнений. Однако сорок лет существования большевизма в России убеждают нас в том, что другие решения были бы не только более счастливыми, но и более подходящими для России».

Этой теории «многочисленных возможностей» фон Раух придерживается и в дальнейшем изложении событий советской эры. По его мнению, и в 1917 году, и в годы гражданской войны в России были на лицо предпосылки, которые, казалось, указывали на совсем другое развитие ее судеб. В своем изложении он большей частью объективен и беспристрастен. Он не обвиняет ни Керенского, ни Корнилова в том трагическом конфликте между этими двумя наиболее видными представителями анти-большевицких сил в 1917 году, который открыл Ленину дорогу к власти. По его мнению, в процессе развития революционных событий всегда возможны самые трагические недоразумения и невольные конфликты. Оценивая поведение обеих борющихся сторон во время гражданской войны, он, несмотря на свою принципиальную и бескомпромиссную антисоветскую позицию, сурово критикует вождей белого движения. Полное непонимание ими политических проблем, их неумелая крестьянская политика, ненужный и неуместный в критические моменты централизм и непримиримый национализм склонили чашу весов в пользу уже почти что проигравших войну красных.

Не менее объективно изображает автор постепенное продвижение Сталина к власти. Всё же на страницах, посвященных 1930-ым годам фон Рауху иногда изменяет его обычное историко-критическое чутье. Порой он принимает за непреложную истину весьма фантастические рассказы бывших советских сановников,

которые, спасая свою жизнь, порвали с режимом. Некоторые детали разгрома Сталиным оппозиции, изложенные по мемуарам этих раскаявшихся «Савлов», носят несколько не гармонирующий с общим тоном книги характер сенсационных анекдотов закулисных разоблачителей. Нам кажется также, что государственные таланты Л. Троцкого несколько преувеличены автором «Истории Советской России».

С большим достоинством анализирует фон Раух немецко-советские отношения. Для него нет никаких сомнений, что вина за немецко-советскую войну целиком падает на Гитлера, и он решительно опровергает заявления Вильгельмштрассе и нацистской пропаганды, что Советская Россия подготовляла превентивную войну против Германии. «Кто решился бы напасть на Гитлера в период его максимальных военных успехов, после блестящих побед над Францией и Балканского похода?» — спрашивает фон Раух. Автор подчеркивает, что у Гитлера была возможность приобрести союзников среди народов Советского Союза. Он мог твердо стать на путь расчленения России и сделать ставку на национальные сепаратизмы. С другой стороны, у него была возможность использовать анти-советские настроения среди русского народа и создать русское противобольшевицкое правительство. Вместо того Гитлер, охваченный безумной мечтой пангерманизма, решил превратить Россию в землю германской колонизации и обращаться с ней так же, как в его представлении англичане в течение столетий обращались с Индией. Книга Альсдорфа, описывавшего систему английского управления в Индии, стала настольной книгой основателя «тысячелетнего райха». По его указаниям, описанные в ней методы были усовершенствованы и доведены до крайней жестокости.

Излагая события последних лет сталинского режима, фон Раух приписывает известный «процесс врачей», который видимо предвещал возрождение великих чисток, не личной инициативе Сталина, а фракционной борьбе в высших сферах советской правящей группы. Ликвидация Берии, в изложении фон Рауха, объясняется честолюбием этого земляка Сталина, который в дни, последовавшие за смертью диктатора, будто бы держал Москву всецело под своим контролем. Автор полагает, что Берия действительно пытался упрочить свое положение, стараясь опереться не на русских, а на «национальных», меньшинственных коммунистов, преимущественно украинцев и кавказцев.

В книге фон Рауха не найдешь ни сенсационных исторических открытий, ни новых, «дерзновенных» интерпретаций процессов, происходивших в России в течение последних сорока лет. Но от

этого его истолкование этих процессов только выигрывает в правдоподобности.

Обилие данных, умеренный тон, объективность, отличное расположение материала, а главное широта рамок труда фон Рауха, охватывающего все годы советского режима, обещают его книге несомненный успех.

К сожалению, в книге есть редакционные недочеты. В хронологии событий 1917 г. автор дает даты и по старому и по новому стилю, но в ряде случаев соотношение между стилями указано неправильно. В результате, некоторые события отстают на несколько дней, а другие забегают вперед, что конечно ведет к неприятной путанице. Есть и неточности в переводе. К счастью, ошибок этих не так много, и они не слишком портят отличное впечатление, производимое этой в общем очень добросовестной и успешной работой, написанной «без гнева и страсти».

Сергей Зеньковский

АЛЕКСАНДР ГАЛИН. ИЗРАИЛЬ. ЕВРЕЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО.

Изд-во «Оманут». Тель-Авив. 1958 (200 стр.)

Мой старый друг Александр Галин написал эту книгу по-русски. Галин — израильтянин, то есть, гражданин Государства Израиль, и страстный сионист. Этой страстью-любовью к своему молодому государству, к стране «осуществляемой утопии», и вместе с тем — к своей древней родине, окрашена вся его книга. И это хорошо, ибо это авторское чувство захватывает читателя (и не еврея) и книга его читается с большим интересом. «Родина, в строгом историческом смысле, — говорит Галин, — это та страна, из которой происходит ваш народ, на земле которой он родился и с которой сохранил духовную связь. Этот последний момент является решающим... И именно потому, что родина так мала и бедна и так зависит от нашей любви, нет на земле другой такой страны, за которую бы так держались ее дети».

Книга представляет собой сжатую, но вполне достаточную для широкого читателя, информацию о том, что же такое Государство Израиль? Метод рассказа Галина это — диалог между девушкой Мириам из кибуца Шаар-Хаголан и неким молодым евреем из Австралии, Левенбергом, воображаемым внуком героя известного романа-утопии Теодора Герцля «Altneuland» (1902 г.), в котором Герцль пытался нарисовать будущее еврейское государство. Из этого диалога, написанного легко и интересно, читатель узнает об истории Государства Израиль, начиная с первого сионистского

конгресса в 1897 году; о процессе заселения Израиля с 1870-1896 г.г., когда были основаны первые еврейские земледельческие колонии, и по сей день, когда население Израиля доходит почти до двух миллионов; о борьбе Израиля с англичанами в 30-х и 40-х г.г. и в 1948-49 году с арабами; о многих героических участниках этой борьбы; о международно-правовом положении Израиля, границы которого всё еще не признаны ООН; о государственном строе этого «самого многопартийного государства в мире»; о его экономической структуре; о том, что такое Гистадрут (единая организация трудящихся) и о его заглавной общественно-политической роли в Израиле («Вы можете с полным правом называть сегодня Государство Израиля Государством Гистадрута»); о том, что такое кибуцы (коллективные хозяйства), как они создавались, развились и как живут сейчас; об израильском парламенте («самом молодом из парламентов средиземноморских стран») и его партиях; о флоре и фауне Изриаля; о его промышленности и торговле; об армии и флоте; о жизни крупных городов — Тель Авив, Иерусалим, Хайфа; о науке в Израиле — об университете в Новом Иерусалиме, политехническом институте в Хайфе и научно-исследовательском институте имени Х. Вейцмана в Реховот; о театральном искусстве в Израиле — об известном театре «Габима», начало которому было положено в 1918 году в Москве известным русским режиссером Вахтанговым, но театр этот в 1926 году выехал в заграничную поездку и назад уже не вернулся, оставшись в Тель-Авиве; об израильской литературе и издательствах; тут мы неожиданно узнаем, что «бестселлер» в Израиле, это «Басни Крылова» в переводе на иврит Ханании Райхман, что Ав. Шлионский блестяще перевел «Евгения Онегина», что на иврит переведены «Война и мир» Толстого, «Двенадцать» и «Скифы» А. Блока; узнаем и об израильских поэтах и прозаиках — об уроженцах Украины Ав. Шлионском и Хазазе, об уроженце Вятки — Рахель, «еврейской Ахматовой», об уроженке Ковно — Гольдберг, об уроженце Белоруссии — Шнеуре, о «неистовом» Ури Цви Гринберге, «пророке крайнего национализма, непримиримо враждебного европейской культуре», и наконец о русской поэтессе Елизавете Ивановне Жирковой, родившейся в Рязани, учившейся в Москве, но ушедшей в Израиль за любимым человеком, где, овладев иврит, она стала известной израильской поэтессой под именем Элишева. Увлекателен рассказ Галина о главном из «чудес» Израиля — о возрождении языка иврит и о роли в этом чуде «безумца» филолога, автора «Словаря языка иврит» Элиезера Бен-Иегуды, одержимого идеей тотальной «ивритизации» еврейской жизни.

Все эти разнообразные и интересные сведения о государстве

Израиль автором хорошо документированы. На страницах русского журнала хочется отметить, что влияние русских идей (народничество, толстовство), и евреев русской культуры, как в создании Государства Израиль, так и в его общественно-политической и литературной жизни занимает далеко не последнее место. Особенно красочны фигуры Иосифа Трумпельдора, «однорукого богатыря сионизма», за участие в русско-японской войне награжденного 4 Георгиевскими крестами, позднее бывшего одним из организаторов «Еврейского Легиона» и убитого арабами в 1920 году, и сибирского еврея Александра Зайда, основателя организации «Шомер» убитого в 1939 г. Как трагедию Израиля, автор подчеркивает факт, что после Декларации Бальфура, в момент создания Государства Израиль — 300.000 организованных сионистов в России оказались отрезанными от Израиля. Они и до сих пор остаются по ту сторону «железного занавеса», а множество из них погибло в советских тюрьмах и концлагерях.

Отмечу две неточности. Галин неверно цитирует строки из стихотворения Лермонтова «Спор»: «Вот у ног Ерусалима — *солнцем* сожжена» — не солнцем, а «Богом». Пьеса Ан-ского в русской транскрипции должна бы быть не «Гадибук», а «Дибук», как она и известна русскому читателю.

В целом книга Галина заслуживает большого внимания, в особенности сейчас, в связи с напряженным положением на Среднем Востоке. Она многосторонне показывает, что такое Государство Израиль и каковы движущие им идеи и силы.

Роман Гуль

VYACHESLAV ZAVALISHIN, **EARLY SOVIET WRITERS, Published for the Research Program on the U.S.S.R., Frederick A. Praeger Publishers, New York. 1958, p.p. 1-394+v-ix, цена $7.05.**

Название книги В. К. Завалишина, автора, специально занимающегося изучением советской литературы, с одной стороны у́же, а с другой — шире того материала, который он собрал в своей работе. У́же оно потому, что далеко не все выдающиеся советские писатели включены в обзор* (а только те, которые, по мнению автора, интересны для его изучения и выводов). Нет, напр., в книге страниц о Вс. Вишневском, Эд. Багрицком, Вл. Билле-Белоцерков-

* Следовало бы, между прочим, в название внести уточнение: *«русские советские писатели»*.

ском, И. Эренбурге, Ал. Н. Толстом, М. Шагинян, Ю. Тынянове, О. Форш, Вал. Катаеве, А. Караваевой, Б. Пастернаке (!) и о других, выступивших на литературной арене как раз в ранний советский период и заслуживающих не только беглого упоминания имени. Шире же название книги потому, что при ограничении изучаемого материала хронологическими рамками 1917-1930, автор всё-таки повествует о пути ряда «ранних» советских писателей вплоть до начала 50-х гг.

Книга — авторизованный английский перевод с русской рукописи. Две интересные главы появились в зарубежных русских повременных изданиях в оригинале (о Блоке в журн. «Грани», № 36, 1957, и об Артеме Веселом в «Новом Журнале», № 53, 1958), и сравнение их с такими же главами в книге даёт представление о том, какой невыгодной операции подвергся при переводе оригинальный текст: он сокращен, авторский стиль местами потерял свою индивидуальность, часть существенной аргументации выпала. Рождается законное подозрение, что и другие части рукописи не избегли подобной «хирургии».

Само собой разумеется, книга эта (по мысли самого автора) *не история* русской советской литературы, а только *ряд этюдов* о ней, что дает автору право сосредоточить внимание на тех именах и фактах, которые представляются ему особо интересными. К тому же, можно предположить, что, напр., пропущенные авторы должны стать предметом изучения в другой задуманной работе, — продолжении первой.

Принцип отбора в известной степени спорен, но в книге очерков вполне законен. Воскресают многие поэты и прозаики с небольшими именами и нарочито забываемые в советских историко-литературных пособиях, и оказывается, что они в самом деле заслуживают внимания: их судьба помогает западному читателю постичь «капризы» советской литературной политики, погубившей много талантливых людей.

Некоторое неудобство представляет собой группировка рассмотренных в книге писателей: часть из них упомянута в главах о литературных объединениях, и они же снова появляются в других отделах; впрочем, если книга может понадобиться в качестве справочника, то разысканию имен очень помогает тщательно составленный указатель.

В. К. Завалишин не склонен придерживаться какого-либо одного литературоведческого метода, а пользуется по мере надобности любым — и биографическим, и культурно-историческим, и так назыв. формальным (точнее — структурным); не боится он давать и эстетические и этические оценки со своей точки зрения.

По прочтении всего объемистого труда несомненно воссоздается сложная картина литературной жизни в первое десятилетие советского режима. Сделаны любопытные параллели (аргументация не всегда дана) между литературными явлениями и изобразительным искусством, затронуты вопросы кино-экранизации литературных произведений.

Автор книги явно заинтересован вопросом литературных влияний. Это увлекательно. Но вопрос влияний один из наиболее трудных в науке о литературе. Влияние не достаточно почувствовать, — его надо доказать, приведя текстуальные параллели или найдя соответствующие писательские признания, мемуарные данные, сведения из писем и т. п. Многое в интуитивном угадывании В. К. Завалишина кажется правдоподобным, но ряд догадок без аргументации остается висящим в воздухе; например, однородность *тематики* у далеких друг от друга по времени авторов может объясняться и совпадением. Например, две разные эпохи по различным общественным и бытовым условиям остро выдвигают сексуальный вопрос, — он волновал в свое время Арцыбашева, а затем тревожит, скажем, и Ф. Гладкова, но значит ли это, что второй несомненно находился под влиянием первого (см. в книге стр. 292)? Советских писателей и без арцыбашевского воздействия к таким вопросам приводила сама действительность, на некоторое время внесшая хаос в сферу психологии любви, брака, семьи. Особенно важны доказательства в том случае, когда писатели разрабатывают одинаковые так называемые «вечные проблемы», что в ряде случаев бывает и без литературных влияний.

Влияние приемов *композиции,* конечно, тоже возможно, но так ли убедительно суждение, что Ильф и Петров в структуре («12 стульев») — выученики Гоголя: мировая литература знает множество примеров «развертывания сюжета» при помощи путешествия героев, и Ильф и Петров использовали, может быть, независимо от Гоголя эту удобную схему. Что-то в таких пассажах не договорено. Но несомненно подобные, многократно (приведено более трех десятков случаев) оброненные замечания в книге (напр., влияния Гюго и Келлермана на Ляшко, или Уитмэна, Верхарна и Маринетти на А. Гастева, или клоуна В. Гущинского и Чарли Чаплина на... Зощенко) — при всей их неожиданности всё-таки оригинально-смелы и заставляют серьёзно задуматься над ними.

Обильно пользуясь цитатами из советских критиков и в иных случаях справедливо полемизируя с ними, В. К. Завалишин поскупился и не дал очень желательной отдельной главы-сводки по истории советской критики — так, как он это кратко сделал с рядом советских журналов; сведения о влиятельных критиках рассыпаны

по разным отделам книги, но они не сливаются в одну целостную картину.

Все сомнения, высказанные выше, не должны, однако, исказить общего и самого главного значения книги. Написанная, главным образом, для западного читателя, который знакомится зачастую с советской литературой в советской же интерпретации, книга эта освещена свободной мыслью и стремится сказать правду. Книга заставляет думать. В ней читатель найдет сведения о деятельности известных дореволюционных писателей, передавших традицию новым советским авторам, о трансформации дореволюционных футуристов в так назыаемый ЛЕФ, о возникновении группы имажинистов, об истинном лице «крестьянских» писателей, многие из которых советской партийной критикой были ошельмованы кличкой «кулаки» и «подкулачники». Узнáет читатель правду и об организациях «Пролеткульт», «Кузница», «Перевал», о смельчаках из объединения «Серапионовы братья», о гибели последних неоромантиков в русской литературе, о зарождении «социалистического реализма», который очень метко назван в книге «иллюзорным реализмом», узнáет и о многом другом.

В этом смысле книга несомненно полезна, она нужна в библиотеках и как дополнительное пособие для лиц, занимающихся современной «россикой». В заключение — одно замечание: цена $7.50. Многим ли она доступна? Неужели издательства, выпускающие с благой целью сочинения, говорящие правду о том, что делается за «железным занавесом», не понимают, как необходимо распространять их большими тиражами в дешевых изданиях, а не только на роскошной бумаге и в нарядных переплетах?

Петр Ершов

Н. ХОХЛОВ. ПРАВО НА СОВЕСТЬ. Изд-во «Посев». Франкфурт-на-Майне. 1957. 612 стр.

Книга Н. Хохлова — автобиография капитана государственной безопасности, прослужившего 13 лет в отделе, занимающемся террором и диверсиями за рубежом СССР. В лице Хохлова мы имеем дело с крупным советским разведчиком, одним из «элиты» тринадцати «нелегалов», специально обученных террору и диверсии. Его описания структуры органов безопасности, их возглавления, системы обучения и практической деятельности агентов, наконец, описание бесшумного оружия, «предназначенного для убийства Околовича» — всё это вполне убеждает в принадлежности автора к тайной советской службе.

Но во многом при чтении книги возникают сомнения. В особенности малоубедительно всё, касающееся эволюции автора от чекизма к высшим духовным ценностям. Уже на 16-ой странице читателю становится странным, что автор удивляется, почему его привлекают в агенты НКВД осенью 1941 года? Мысленно он отталкивается от этого — «карьера сотрудника НКВД меня совсем не привлекает». Но под флагом защиты родины от немцев, он «с восторгом» принимает назначение, говоря: «мы жили тогда в каком-то праздничном сознании неповторимости происходящего» и «миллионы были бы готовы занять наше место» (?!). Так Хохлов становится, как он говорит, «настоящим профессиональным разведчиком». Но... оказывается, его в течение всех тринадцати лет терзают сомнения в правильности «жизненного пути». По окончании партизанской войны в тылу немцев, в сентябре 1944 года он возвращается в Москву и тут обнаруживает в себе отвращение к советскому строю. Оказывается, он «запоздал с поступлением» в школу пробуждения советского народа. Посланный затем, под видом поляка Левандовского, с заданием в Румынию, Хохлов вдруг осознает «трагедию румынского народа». И 8 ноября 1946 г. во время антикоммунистической манифестации около королевского дворца — по его словам — присоединяется к манифестантам и вместе с ними кричит: «Да здравствует король!» «Процесс прозрения» развивается, «всё больше и больше холода» нарастает у автора в отношении к МГБ. Накануне возвращения из Румынии в Москву он *требует* от начальника Бюро № 1 ген. Судоплатова «немедленно вернуть меня в Советский Союз и от дальнейшей работы в разведке освободить». Это требование сопровождается неслыханно смелыми разговорами с начальством. После чего, с разрешения начальства, Хохлов поступает на журналистический факультет МГУ. Здесь, совместно с другими студентами, автор слушает передачи «Голоса Америки» и, конечно, не доносит на развязавших языки товарищей, «стосковавшихся по Свободе». Получив задание стать австрийским гражданином Хофбауэром для выполнения секретных миссий в Западной Европе, Хохлов решает «сорвать задание в ближайшее время». На границе Швейцарии и Австрии он «проваливается». Хофбауэр, как разведчик, гибнет, и Хохлов еще смелее стремится порвать связи «с группой людей, мешающих мне жить и толкающих меня на преступную дорогу». Тут в первый раз он «использовал свой опыт разведчика против разведки своей страны». Предложение генерала от МГБ Судоплатова выехать в Париж для убийства одного русского эмигранта (почему автор не указывает — кого?) он решительно отклоняет, несмотря на нависшую угрозу высылки в «дальние края». Странно, что вместо высылки в Сибирь Хохлов

получает назначение в «инспекцию» МГБ в Карлсхорсте. Затем его готовят к роли резидента в Швейцарии «не для сбора всякой кисло-сладкой информации, а для боевой работы. Б-о-е-в-о-й.» Наконец, ему поручают организовать убийство одного из лидеров НТС, Околовича. Хохлов опять колеблется, хочет уйти от задания, прибегает к уловкам. Но это странное его поведение не вызывает у генералов и полковников МГБ никаких подозрений. Они и не стремятся подавить «бунт» Хохлова. Наоборот, всячески высказывают ему свое полное доверие, считают его отличным и опытным разведчиком и пекутся о его переводе из комсомольцев в кандидаты партии. Весной 1952 г. Хохлов становится кандидатом — «отказываться было уже нельзя. Не было ни причин, ни смысла». Испортив «листов десять» на «приемлемую форму заявления», в феврале 1953 г. Хохлов решением первичной организации зачисляется в члены партии. А когда ему выпадает задание убить Околовича, начальство спешит с его производством в капитаны. Еще до решения аттестационной комиссии, полковник МГБ Студников говорит Хохлову: «Пришпиливайте четвертую звездочку к погонам».

Дальше всё складывается чрезвычайно странно. Хохлов отказывается от убийства Околовича, потому что его жена, Янина Адамовна, как несколько раз говорит автор, «решила отменить приказ ЦК КПСС», как аморальный и антихристианский акт. Янина религиозна, она — враг коммунистической системы. Она решительным образом влияет на образ мыслей и чувств Хохлова. Атеист начинает читать Евангелие, следует религиозным обычаям и обрядам. Когда у них появляется ребенок, они крестят его в сербской церкви, и повидимому МГБ не знает об этом. Жене Хохлов поведал и о новом задании. Они вместе решают ни в коем случае не допустить убийства честного эмигранта, любящего родину и борющегося с коммунизмом. Они придумывают различные варианты провала этого дела. Янина так и говорит Николаю в «полуподвале» (довольно странное место жительства для привилегированного разведчика!) дома № 5 в Кривоникольском переулке: «Лучше уж Колыма, чем концлагерь собственной совести».

И вот Хохлов приехал в Германию, идет к Околовичу и рассказывает о готовящемся покушении. Он излагает и план срыва. Но сам хочет обязательно уйти обратно к семье в СССР. Взамен этого, Околович предлагает Хохлову политическое убежище. И вдруг получается так, что Околович передает Хохлова в руки американской разведки. Хохлов не протестует: «Что же теперь поделаешь... Раз они уже здесь». Но он только требует от американцев мер к спасению его семьи. Тем временем, 13-го апреля 1954 года советские агенты похищают доктора А. Р. Трушновича, предста-

вителя Берлинского комитета помощи беглецам из СССР. Американцы требуют от Хохлова выступить на пресс-конференции с рассказом о себе. Хохлов то собирается бежать в СССР, то соглашается, но при условии спасения его семьи. 22-го апреля он выступает на пресс-конференции в Бонне, но никаких вестей о спасении семьи не получает. Он возмущен, называет американцев «людоедами» за то, что в решительный момент никто к Яне в Москве не пошел. Непонятно, почему Хохлов, судя по книге, рассказавший американцам так много о делах МГБ, — не предупредил их о готовящемся похищения д-ра Трушновича. Ведь по его словам, уже весной 1953 года, ему было известно, что Берия отдал распоряжение о подготовке не только убийства Околовича, но и похищения видного члена НТС, жившего в Западном Берлине. До своего отъезда из Москвы Хохлов, как он говорит, изучал толстые папки с делом НТС. И ему должно было быть ясно, о каком «объекте» в Берлине идет речь. Но только 14 апреля Хохлов вспомнил, что это было то самое «второе дело», которое Берия поручил разведчикам из 1-го управления МВД.

Странно звучат свидетельства Хохлова и о его участии в убийстве Вильгельма Кубе. Будучи еще неопытным агентом, двадцатилетний Хохлов якобы получил задание *организовать* убийство гитлеровского гауляйтера. Прилетевший на самолете в партизанский район Белоруссии, он очень быстро находит пути к цели. Добивается встречи с *Галиной* Мазаник, подвергает ее шантажу и угрозам, требует от нее выполнения террористического акта. Он якобы доставляет ей мину. Но случилось так, что его розовый пакет с миной «был окончательно забыт», и Кубе погиб от другой, не его мины. Эти строки в книге не совпадают с первоначальной версией, которая была дана Хохловым немедленно после перехода его на сторону НТС. В заявлении Хохлова, напечатанном в «Посеве» от 25-го апреля 1954 г., говорится, что он убедил *Галину* в необходимости убить Кубе, и 19-го сентября 1943 г. гитлеровский гауляйтер взлетел на воздух. Даты таких дел, да еще в молодой голове, врезаются в память на всю жизнь. Между тем, на самом деле, Кубе был убит около 2 ч. утра 22-го сентября и не Галиной, а *Еленой* Мазаник, действовавшей в контакте с партизанскими отрядами, уже давно готовившими убийство Кубе. Хохлов неверно называет в книге еще двух участников подготовки этого убийства — Марию *Комарову* и Надю *Трайян*. В книге Ивана Золотаря «Записки десантника» подробно описана вся история: мина, взорвавшая Кубе, была доставлена Марией *Осиповой,* а Надя Троян несла другую мину из отряда «дяди Коли», которая осталась неиспользованной. 29 октября 1943 г. указом президума Верховного Совета СССР этим

трем женщинам, вывезенным на самолете в Москву, было присвоено звание Героя Советского Союза. В книге Золотаря места Хохлову не находится. Правда, в ней есть некий «Михаил», который пришел, как разведчик, из отряда Градова, но и это не мог быть Хохлов, так как последний говорит о своей принадлежности к отряду полковника Куцина.

Оказавшись заграницей, Хохлов примкнул к НТС, который, по его словам, привлек его к себе своей революционностью и созвучностью с советской действительностью. Об НТС Хохлов, как он говорит, узнал только весной 1952 г. из дошедших до него номеров журнала «Посев». Мысли «Посева» оказались его мыслями, и выступая в качестве борца против коммунизма, вместе с НТС, Хохлов свидетельствует, что его личный пример — не единичен, что большинство его сослуживцев по разведке — «честные люди». Дилемма «с властью или с народом», по словам Хохлова, у них возникает раньше, чем у рядового советского обывателя (стр. 304). Отсюда и подтверждение тезиса НТС о назревшей «революционной ситуации» в России со всеми вытекающими из него последствиями. Хохлов говорит, что НТС — опаснейшая организация и что МГБ и ЦК КПСС больше всего боятся ее подпольных когорт. К ней, для революционной борьбы с режимом, и присоединился Хохлов.

Никто, конечно, не смеет отказать Хохлову в праве на совесть. Но и читателям его книги никто не может отказать в праве на сомнения в подлинности целого ряда фактов, приведенных в книге.

Б. Прянишников

SOVIET ESPIONAGE. By *DAVID DALLIN*, Yale University Press, New Haven, 1955, p.p. 558.

Д. Ю. Далин известен как автор нескольких ценных работ о Советском Союзе, из которых заслуживают особенного внимания «Действительная Советская Россия» и «Принудительный труд в Советской России», написанная вместе с Б. Николаевским. Книга «Советский шпионаж» своею обоснованностью не уступает другим книгам автора. Она написана на основании огромного материала, сбор и обработка которого продолжались пять лет. Для этой цели автор посетил многие европейские столицы, изучал правительственные и частные документы, встречался со многими людьми. Среди них были лица и из правого, и из левого лагеря; демократические деятели, бывшие крупные деятели Коминтерна и коммунистических партий Европы и Америки, бывшие работники советской разведки, предста-

вители политической полиции в Париже, Женеве, Лозанне и министерства юстиции в Берне, бывшие сотрудники Германской контрразведки и прокуратуры 3-его Райха.

Достоинством книги является то, что она написана почти исключительно по недоступным читателю документам и лишь отчасти по литературным источникам, отобранным, однако, так, что их надежность не внушает сомненья. Книга читается с неослабевающим интересом. Автор не повторяет известных нашумевших шпионских дел последних и ранних лет, но касается их в той мере, в какой того требует поставленная им цель — точное описание методов советского шпионажа.

Десять вместительных разделов книги передают в хронологической последовательности действия советской шпионской машины от ее зарожденья до наших дней. Встречая в книге многие сотни имен советских кадровых агентов и среди них в новых ролях таких чиновников как Деканозов (б. посол в Германии), Семенов (б. советский верховный комиссар в Восточной Германии, затем зам. министра иностранных дел) и Кабулов (расстрелян вместе с Деканозовым), читатель видит, что весь советский персонал за границей во главе с дипломатическим корпусом должен прежде всего рассматриваться как легальная агентура советской шпионской сети.

В частности, читатель узнает из книги, что в апреле 1941 года чешский агент Г.Р.У.[1] Шквор подтвердил сведения о близком нападении Германии на Советский Союз, но что Сталин написал на его донесении: «Эти сведения — английская провокация. Выяснить, кто занимается провокациями и наказать». Но посланный с этой целью в Германию под видом корреспондента ТАСС Николаева начальник 4 отдела Г.Р.У. (шпионаж по новым видам вооружений) Ахмедов порвал с советской службой в Турции в 1942 году, и в октябре 1953 года о коммунистической работе заграницей дал показания в Internal Security Subcommittee Американского Сената.

Из организаций российского зарубежья, автор больше всего останавливается на НТС, как главном среди них объекте советской разведки после войны; и в частности, в связи с известным делом Хорунжего-Мюллера. Объективное изложение этого дела читатель найдет в книге. В деле Гузенко автор, минуя его драматизм, рассматривает, главным образом, его политическую сторону и последствия для советского шпионажа в целом. Две характерные черты этого дела подчеркнуты автором: стратегия советской стороны — ее наступательность и бесцеремонность — и поведение канадских властей — их страх прогневить союзника — типичные для климата

---

[1] Главное Разведывательное Управление.

демократий того времени. Тогда канадский премьер-министр Кинг чуть-чуть не поехал к Сталину в Москву, Кинг заверял Канадский Парламент — «насколько я его знаю, он не потерпит и не простит подобной (шпионской) деятельности одного из посольств его страны». Автор указывает, что подобный климат был тогда и в Соединенных Штатах, где бывший американский посланник в Москве Дэйвис, получивший от Сталина фотографию с собственноручной надписью, заявил в печати:[2] «Россия для самозащиты имеет моральное право добывать путем военного шпионажа секретные сведения об атомной бомбе, поскольку ее бывшие боевые союзники не дают ей доступа к ним».

О размахе советского шпионажа в США во время войны читатель может судить по данным такого сведущего лица как уже упомянутый полковник Ахмедов. Последний, исходя из функциональной структуры органов советской разведки, полагает, что в первый год войны в США должно было действовать минимум 25 независимых советских шпионских сеток.[3] Подробным изложеньем послевоенного дела Губичева-Каплан и сжатым очерком атомного шпионажа автор заканчивает разбор действий советской разведки в США.

В нынешней Западной Германии автор прослеживает работу по крайней мере 4-х шпионских машин: старой советской машины с центром в Потсдаме и Карлсхорсте; польской, действующей через официальных лиц в Восточном Берлине; чешской, действующей прямо из Праги; и новой советской машины в так называемой Германской Демократической Республике.

Характеризуя человеческий материал советской агентуры, автор указывает, что после войны тип советского агента, во всяком случае в Центральной Европе, существенно изменился: на смену исчезнувшему идеалисту, «служившему мировой революции», явился прозаический шпион, которым движут земные, чаще всего корыстные побуждения.

Характеризуя нынешнее положение советского шпионажа, автор говорит, что в последние годы, благодаря многочисленным мерам, обстановка во всем мире сделалась для него менее благоприятной; главные усилия, средства и лучшие кадры советского шпионажа сосредоточены теперь на США. Организация шпионажа здесь подверглась большой ломке, произведенной со свойственной Совет-

---

[2] «Тайм», март 1946 года, стр. 26.

[3] Т. к. каждый из 8-и отделов ГРУ в Москве должен был иметь по крайней мере одну «легальную» и одну «нелегальную» сеть, и 8-9 сеток имело, помимо того, НКВД.

скому правительству ни перед чем не останавливающейся крутостью.

Суммируя охваченный книгой огромный материал, автор дает следующую вполне убедительную оценку советской разведки, относящуюся и к странам-сателлитам: 1) Огромные размеры ,но относительно низкая эффективность по сравнению с затратами и усилиями; 2) Небольшой высококвалифицированный кадр, при огромной малоквалифицированной рядовой массе агентуры; 3) В случае крупного потрясения (война, крупный конфликт) шпионская машина быстро потеряет свою силу и эффективность; 4) В случае неудач и поражений крупные агенты будут склонны перебежать в лагерь победоносного противника.

Автор отмечает еще одну особенность советской шпионской машины, типичную для «общесоветского образца» — ее взгляд на людей и обращение с ними. Поскольку дело идет «об освобождении сотен миллионов», а борьба «жестока и кровава» и требует жертв «во имя высоких идеалов и светлого будущего», то человеческие жизни в настоящем ничего не стоят. И советская разведка, подобно сталинскому военному командованию, не считавшемуся с гибелью миллионов на фронте, в тылу и в плену, с тем же цинизмом относится к своим агентам, бросая их, в случае провала, на произвол судьбы.

Книга Далина предназначена для подготовленного читателя. Но всякий ее читатель узнает многое не только в специальной области шпионажа и разведки; ему откроется многое, без чего нельзя понять «советский феномен» как целое. Для подсоветского же, даже самого умудренного читателя книга будет большим откровением, ибо, как верно говорит ее автор, — «...если к вышеизложенному еще добавить, что правительство отказывает собственному населению в малейших сведениях об этой стороне своей деятельности, то заговорщицкий характер советского правления по отношению к собственному народу выступает лишний раз с совершенной очевидностью».

П. Шпилевой

СОФИЯ ПРЕГЕЛЬ. ВСТРЕЧА. Пятая книга стихов. «Новоселье». Париж. 1958.

То, что данная книга яляется пятой, указывает на пройденный поэтический путь, и не малый. Интервал между 4-й и 5-й книгами («Берега», 1953 г.) пять лет. Не помню кто именно, когда и где, указывал на то, что голос Прегель громок, что краски ее «намеренно-ярки». Однако, это не совсем так. Мир, предстающий перед глазами истинного художника, в особенности в период узнаванья, все-

гда изобилует яркими красками. Происходит «открытие мира». То же происходит с книгами стихов Прегель. В книге «Разговор с памятью» С. Прегель располагает палитрой импрессиониста. Ее краски бьют, сверкают, переливаются.

Вставало утро пламенной стеной,
От ветра разукрашено и сухо.
За стеклами сияющей мясной
Жужжала разъярившаяся муха
И улица походкой старика
С горы спускалась медленно и криво.
Под солнцем выцветали так лениво
Небесные тяжелые шелка.

Изменилась ли эта манера, изменились ли краски на протяжении двадцати трех лет? Краски со временем перешли в полутона, в сумеречные нюансы. Еще порой слышится прежний голос, еще временами блестят краски.

Двоился парус светло-синий
И в зыби прятался, дрожа,
И яхонтом вскипали дыни
На колыхавшихся баржах.

Стихи Софии Прегель можно узнать из тысячи рифмованных строк какого-нибудь альманаха. Открываю наугад книгу «Солнечный произвол» — вот заключительная строфа стихотворения «Ярмарка»:

Тучи шапкой мохнатой висели,
И сверкал неказистый лоток
Ядовито-цветной карамелью.
Были топот и звон, и веселье,
И заката крутой завиток,
И под ним балдахин карусели.

«Встреча» — это уже пристальное мастерство. Это встреча с собой, после пережитого, перечувствованного на протяжении двадцати трех лет. Мир конечно стал уже не тот. В книге «Встреча» — С. Прегель уже визионер. Уже зрелый мастер. Ее любимый прием лирический пейзаж, в который осторожно, без лишней навязчивости, вплетается личное, задушевное. Дневные краски предыдущих книг сменяются вечерними пастельными тонами:

Закат июльский, опаленный,
Растаял в золоте мостов,
Взошла луна в полнебосклона,
Огромная, и притомленно
Склонились призраки цветов.

С. Прегель не чужды и экстраверсированные, почти одические строфы, как например «Стихи о Пушкине», в этой пьесе Прегель отступает от характерных для нее ассонансов и находит точные, упруго звенящие рифмы. В отчетной книге звучат такие ноты:

Это крышка хлопнула в зале
И сорвалось верхнее ля —
Одиночество и так далее,
И зачем судьбу умолять!..
Вновь на поезд мы опоздали.

В книге «Встреча» С. Прегель как-бы подводит некие печальные итоги, разочарованье сквозит уже настойчивей. Образы Парижа, парижская осень, весна. И та-же ностальгия, облеченная в суровые строфы.

Юрий Трубецкой

КНИГИ ДЛЯ ОТЗЫВА

С. Н. ПЛАУТИН. *Слово о полку Игореве,* исправленный и неисправленный тексты. Издание русского научного института при русской академической группе в Париже, вып. № 1. Париж, 1958.

СОФИЯ ПРЕГЕЛЬ. *Встреча.* Пятая книга стихов. Изд-во Новоселье. Париж, 1958.

Е. А. ИВЧЕНКО. *По дорогам.* Стихи. Сборник 1-ый. Париж.

ИВ. ШМЕЛЕВ. *Куликово поле. Старый Валаам.* YMCA-Press. Париж, 1958.

НИКОЛАЙ ОЦУП. *Три царя.* Париж, 1958.

В. МЕРЦАЛОВ. *Закрепощенное хозяйство.* Сельскохозяйственная политика КПСС. Издание ЦОПЭ. Мюнхен, 1958.

Н. ОСИПОВ. *Клевета друзей.* Изд. ЦОПЭ. Мюнхен, 1958.

А. ФЕДОРОВ. *Реорганизация управления промышленностью в СССР.* Анализ причин и последствий реорганизации. Изд. ЦОПЭ. Мюнхен. 1958.

ГОВАРД ФАСТ. *Голый бог.* Перевод с англ. Изд. ЦОПЭ. Мюнхен, 1958.

Морские записки, том XVI, № 2 (47). Нью Иорк, 1958.

ПРОФ. ПОЛОНСЬКА-ВАСИЛЕНКО. *Українська Академія Наук* (Нарис історії), Частина II (1931-1941). Інститут для вивчення СССР. Мюнхен, 1958.

The Slavic and East European Journal. Spring 1958. Vol. XVI, No. 1 and Summer 1958, Vol. XVI, No. 2. Published by the American Association of Teachers of Slavic and East European Lauguages.

WLADIMIR BECHTEREW. *La réflexologie collective.* Traduit du russe, adapté et complété par N. Kostyleff. Edité par le traducteur. Neuchatel et Paris, 1957.

STANISLAW REMBEK. *W polu.* Opowieść. Institut Literacki. Paryż. 1958.

HOWARD FAST. *Król jest nagi.* Institut Literacki. Paryż. 1958.

The American Bibliography of Slavic and East European Studies for 1957, Edited by J. T. Shaw. Volume 10. Indiana University Publications. Bloomington. 1958.

VYACHESLAV ZAVALISHIN, EARLY SOVIET WRITERS. Published by Frederick A. Praeger, N. Y. 1958.

Памяти В. И. Лебедева. Сборник. Нью Иорк. 1958.

Forschungen zur Osteuropäischen Geschichte, Band. 6, Osteuropa-Institut, Berlin, 1958.

Etudes Slaves et Est-Europeennes, Vol. III, Part 2, Summer 1958, University of Montreal.

Modern Fiction Studies, Autumn 1958, Vol. 4, No. 3, Prude University.

The East Turkic Review, No. 1, 1958, Institute for the Study of the USSR, Munich, Germany.

Ukrainian Review, No. 6, Institute for the Study of the USSR, Munich, 1958.

Belorussian Review, No. 6, Institute for the Studies of the USSR, Munich, 1958.

Caucasian Review, No. 6, Institute for the Study of the USSR, Munich, 1958.

SIMONE WEIL, *Wybór Pism,* Instytut Literacki, Pariż, 1958.

PETER YERSHOV, *Comedy in the Soviet Theater,* Frederick A. Preger Publishers, New York, 1958.

BORIS NICOLSKY, *La Russie de Demain,* Editions de la Bakonnière, Neuchatel, 1958.

Letters of Gorky and Andreev (1899-1912), Edited by Peter Yershov, Columbia University Press, 1958.

ANDREW MALOZEMOFF, Russian Far Eastern Policy (1881-1904), Bibliographical Essay and Bibliography, University of California Press, 1958.

ГЕОРГИЙ ИВАНОВ

СТИХИ

1943–1958

Вступительная статья **Романа Гуля**

Издание «Нового Журнала» Цена 2 дол.

А. И. ГЕРЦЕН

НЕИЗДАННЫЕ ПИСЬМА

к Н. И. и Т. А. Астраковым

Приготовил к печати Л. Л. Домгер

Издание «Нового Журнала» Цена 1 д. 50 цен.

РОМАН ГУЛЬ

СКИФ В ЕВРОПЕ

(Бакунин и Николай 1-й)

Издательство «Мост» Цена 2 д. 50 цен.

Эти книги можно заказывать в редакции «Нового Журнала»

В редакции можно заказывать все ранее вышедшие книги «Нового Журнала» за исключением № 1 и № 3. До № 25 книги стоят 1 дол. (10 цент. пересылка), начиная с книги № 26 — 2 дол. (10 центов пересылка).

"НОВЫЙ ЖУРНАЛ"

под редакцией М. М. КАРПОВИЧА

СЕМНАДЦАТЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ

●

В 1958 году вышли ЧЕТЫРЕ КНИГИ

●

Подписная цена по 1 дол. 75 цент. за книгу,
т. е. 7 долларов за 4 книги с пересылкой.

Цена одной книги — 2 доллара

Во Франции — 400 франков, в Германии — 4 марки,
в Бразилии — 50 крузейро

●

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ «НОВОГО ЖУРНАЛА»:

The New Review, 2700 Broadway
New York 25, N. Y.

Телефон редакции и конторы: МО-6-1692.

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно, кроме праздников и суббот, от 4-х до 5-ти час. дня